

КНИГА IV

Как быстро мы проходим свое земное поприще! Первая четверть жизни протекла прежде, чем мы научились пользоваться жизнью; последняя четверть наступает уже после того, как мы перестали наслаждаться ею. Сначала мы не умеем жить, а вскоре затем — не в состоянии жить; в промежутке же, разделяющем эти два крайних периода, бесполезных для нас, три четверти времени уходит на сон, труд, горе, принуждение — на всякого рода страдания. Жизнь коротка не потому, что недолго продолжается, а потому, что из этого незначительного времени нам почти ничего не остается на наслаждение ею. Как бы ни был далек момент смерти от момента рождения, жизнь все-таки слишком коротка, если этим промежутком мы не сумели пользоваться.

Мы рождаемся, так сказать, два раза: раз — чтобы существовать, другой — чтобы жить; раз — как представители рода, другой — как представители пола. Кто на женщину смотрит как на несовершенно мужчину, тот, без сомнения, не прав; но внешняя аналогия говорит за него. До половой зрелости дети обоих полов ничем наружно не отличаются; то же лицо, та же фигура, тот же цвет кожи, тот же голос — все одинаково; и девочки — дети, и мальчики — дети; для существ столь сходных достаточно одного общего названия. Самцы, у которых дальнейшее половое развитие встретило задержку, на всю жизнь сохраняют это сходство: они навсегда остаются взрослыми детьми; и женщины, не теряющие этого сходства, во многих отношениях всегда кажутся теми же детьми.

Но человек вообще не для того создан, чтоб оставаться всегда в детстве. Он выходит из этого возраста в известное время, предписанное природой, и этот момент кризиса, хотя довольно краток, но имеет продолжительное влияние.

Как рев моря задолго предшествует буре, так и этот бурный пере-

ворот предвещается ропотом зарождающихся страстей; глухое брожение предупреждает о близости опасности. Перемена в нраве, частые вспышки, постоянное волнение духа делают ребенка почти не поддающимся дисциплине. Он становится глухим по отношению к голосу, который делал его послушным: это лев в лихорадочном возбуждении, он не признает руководителя и не хочет уже быть управляемым.

К моральным признакам изменения нрава присоединяются заметные перемены и в наружности. Физиономия его развивается и получает характерные черты: редкий и мягкий пушок, растущий внизу щек, темнеет и густеет. Голос его спадает или, скорее, пропадает: он уже не ребенок и не взрослый и не может взять тона ни того, ни другого. Глаза его, это органы души, доселе ничего не выражавшие, получают смысл и выражение; загорающийся огонь одушевляет их, и взор, ставший более живым, сохраняя еще святую невинность, не имеет уже прежней невыразительности: он уже чувствует, что взор этот может быть нескромным, приучается опускать его и краснеть; он делается чувствительным, не зная еще, что чувствует, и беспокойным, не имея еще повода к этому. Все это может прийти медленно и не застать их врасплох: но если его живость делается слишком нетерпеливою, если вспыльчивость переходит в бешенство, если он с минуты на минуту готов раздражиться и растрогаться, если он без причины льет слезы, если возле предметов, которые начинают быть для него опасными, пульс его ускоряется и взор воспаляется, если рука женщины, положенная на его руку, заставляет его трепетать, если он чувствует около нее смущение или робость, — тогда берегитесь, Улисс, мудрый Улисс! Мехи, которые закрывал ты с таким старанием, открыты; ветры вырвались уже из оков; не покидай ни на минуту руля — или все пропало! ¹

Вот где то второе рождение, о котором я говорил; вот когда человек воистину возрождается к жизни, и ничто человеческое ему не чуждо ². Доселе наши заботы были лишь детскими забавами; теперь только они получают истинное значение. В эту именно эпоху, когда обычное воспитание уже оканчивается, наше воспитание должно начинаться; но чтобы нагляднее изложить этот новый план, проследим с самого начала положение вещей, сюда относящихся.

Страсти наши суть главные орудия нашего самосохранения; поэтому желание истребить их настолько же тщетно, насколько смешно; это значило бы контролировать природу, преобразовывать созданное Творцом. Если бы Творец повелевал человеку уничтожать страсти, которыми его наделяет, то оказалось бы, что Он и желает и не желает; а это было бы противоречием самому себе. Никогда Он не давал людям

такого неразумного повеления; ничего подобного не начертано в человеческом сердце; а когда Творец объявляет человеку свою волю, Он не устами другого человека, а сам говорит ему. Он начертывает ее в глубине человеческого сердца.

Но и того, кто хотел бы помешать зарождению страстей, я считал бы почти столь же безумным, как того, кто хочет уничтожить их, и кто полагает, что таковы доселе были мои намерения, тот, конечно, очень дурно меня понял.

Но правильно ли рассуждают и те, которые из того обстоятельства, что обладать страстями — лежит в природе человека, заключают, что все страсти, которые мы чувствуем в себе и которые видим в других, естественны? Источник у них естественный — это правда; но его наводнила тысяча ручьев, чуждых для него: это большая река, которая беспрестанно увеличивается и в которой едва найдешь несколько капель ее первоначальных вод. Наши естественные страсти очень ограничены; они суть орудия нашей свободы, они имеют целью наше самосохранение. Все же те, которые поработщают нас и губят, приходят из другого места; природа нам их не давала — мы приобретаем их в ущерб ей.

Источником наших страстей, началом и основой всех прочих, единственною страстью, которая рождается вместе с человеком и никогда не покидает его, пока он жив, является любовь к себе; это страсть первоначальная, врожденная, предшествующая всякой другой: все другие являются в некотором смысле лишь ее видоизменениями. С этой стороны все страсти, если хотите, естественны. Но большая часть этих видоизменений вызывается причинами посторонними, без которых они и не появились бы; а самые эти видоизменения не только не полезны, но даже вредны нам: они изменяют основную цель и обращаются против своего начала: тут именно человек оказывается вне природы и становится в противоречие с самим собою.

Любовь к самому себе всегда пригодна и всегда в согласии с порядком вещей. Так как каждому вверено прежде всего его собственное самосохранение, то первую и самую важную из его забот является — и должна являться — именно эта постоянная забота о самосохранении; а как мы могли бы заботиться о нем, если бы не видели в этом своего главного интереса?

Следовательно, для нашего самосохранения нужно, чтобы мы любили себя, — нужно, чтобы мы любили себя более всего; а непосредственным последствием этого самого чувствования является и наша любовь к тому, что нас сохраняет. Всякий ребенок привязывается к своей кормилице; Ромул должен был привязаться к волчице, которая вскормила его молоком. Сначала эта привязанность бывает

чисто машинальной. Что благоприятствует благосостоянию пидивида, то привлекает его; что вредит ему, то отталкивает, — тут виден лишь слепой инстинкт. Обнаруженное намерение вредить нам или быть нам полезным — вот что инстинкт превращает в чувство, привязанность — в любовь, отвращение — в ненависть. Мы не получаем пристрастия к существам бесчувственным, которые следуют лишь данному им толчку, но существа, от которых мы ждем добра и зла, смотря по их внутреннему расположению и воле, которых мы видим свободно действующими за или против нас, внушают нам чувства, подобные тем, которые они обнаруживают по отношению к нам. Что приносит пользу нам, того мы ищем; но что *хочет* нам принести пользу, то мы любим; что вредит нам, того мы избегаем; но что *хочет* нам вредить, то мы ненавидим.

Первое чувство ребенка есть любовь к самому себе, а второе, вытекающее из первого, — любовь к тем, кто его окружает; ибо при том состоянии слабости, в котором он находится, он знакомится с другими лишь через помощь и уход, который получает. Сначала привязанность его к своей кормилице и гувернантке есть не что иное, как привычка. Он ищет их, потому что имеет нужду в них и потому что ему хорошо, что они есть у него; это скорее знакомство, чем расположение. Ему нужно много времени, чтобы понять, что они не только полезны ему, но и хотят быть полезными; вот тогда-то он начинает любить их.

Ребенок, значит, по природе расположен к доброте, потому что он видит, что все окружающее склонно ему помогать, и из этого наблюдения черпает привычку благожелательно относиться к себе подобным, но по мере того как расширяются его сношения, потребности, активная или пассивная зависимость, в нем пробуждается сознание его отношений к другим, ведущее к чувству долга и чувству предпочтения. Тогда ребенок делается высокомерным, ревнивым, лживым, мстительным. Если его принуждают к послушанию, он, не видя пользы в том, что ему приказывают, приписывает эти приказания капризу, желанию помучить его и упрямится. Если ему самому повинуются, он в первом же сопротивлении видит бунт, намеренное неповиновение; за непослушание он бьет и стул или стол. Любовь к себе, касающаяся лишь нас самих, удовлетворена, когда удовлетворены наши истинные потребности; но самолюбие, которое сравнивает себя, никогда не бывает и не может быть удовлетворено, потому что чувство это, заставляя нас предпочитать себя другим, требует, чтобы и другие предпочитали нас самим себе, — а это невозможно. Вот каким образом нежные и сердечные страсти рождаются из себялюбия. Итак, добрым делает человека то обстоятельство, что он имеет

мало потребностей и мало сравнивает себя с другими; а злым человеком делает главным образом обилие потребностей и излишнее уважение к людскому мнению. На основании этого принципа легко видеть, каким образом можно направлять к добру или злу все страсти детей и взрослых. Правда, что, раз они не имеют возможности жить всегда в одиночестве, им трудно будет оставаться всегда добрыми; трудность эта даже необходимо будет увеличиваться с расширением их сношений, и здесь особенно делаются неизбежными, в виду опасностей со стороны общества, наше искусство и заботы для предупреждения в человеческом сердце той развращенности, которая порождается новыми потребностями.

Приличным для человека изучением является изучение его отношений. Пока он знает себя лишь в качестве существа физического, он должен изучать себя в своих отношениях к вещам — это занятие для его детства; когда он начинает сознавать свое нравственное бытие, он должен изучать себя в своих отношениях к людям — это занятие для целой его жизни, начиная с того пункта, до которого мы теперь дошли.

Как скоро человеку нужна подруга, он уже не изолированное существо, его сердце уже не одиноко. Все его связи с человеческим родом, все душевные привязанности рождаются с этою первою страстью. Его первая страсть скоро вызывает брожение и всех прочих.

Инстинктивная склонность неопределенна. Один пол влечется к другому — вот движение природное. Выбор, предпочтение, личная привязанность суть дело знаний, предрассудков, привычки; чтобы сделаться способным полюбить, нужно время и познания: любовь является, когда составилось суждение; предпочтение бывает лишь результатом сравнения. Эти суждения составляют незаметным для нас образом, но тем не менее они действительны. Настоящая любовь, что бы там ни говорили, всегда будет в почете у людей; ибо хотя увлечения ее вводят в заблуждения, хотя она не исключает в любящем сердце гнусных свойств и даже порождает их, все-таки она всегда предполагает и качества, достойные уважения, без которых мы не были бы в состоянии и чувствовать ее. Выбор этот противопоставляют разуму, но он исходит именно от разума. Любовь сделали слепую, потому что она видит отношения, которых мы не можем заметить. Кто не имел бы никакого понятия о достоинстве и красоте, для того всякая женщина была бы одинаково хороша, и первая встречная всегда оказывалась бы самою милою. Любовь не только не происходит от природы, но она служит мерилom и уздой для природных склонностей; благодаря ей, за исключением любимого предмета, один пол перестает существовать для другого.

Оказывая предпочтение, мы желаем его и для себя: любовь должна быть взаимной. Чтобы быть любимым, нужно сделаться милым; чтобы заслужить предпочтение, нужно сделаться милее другого, милее всякого другого по крайней мере в глазах любимого существа. Отсюда — первые сравнения с ними, отсюда — соревнование, соперничество, ревность. Сердце, до краев переполненное чувством, любит изливания; из потребности иметь возлюбленную скоро рождается потребность в друге. Кто почувствует, как сладко быть любимым, тот захочет быть любимым всеми; а если все желают для себя предпочтения, то необходимо является много недовольных. Вместе с любовью и дружбой рождаются раздоры, неприязнь, ненависть. И вот я вижу, как из недр всех этих разнородных страстей людское мнение воздвигает себе несокрушимый трон, а глупые смертные, поработанные его владычеству, свое собственное существование основывают на суждениях другого.

Расширьте эти понятия, и вы увидите, откуда является у нашего самолюбия та форма, которую мы считаем естественной, и каким образом любовь к себе, переставая быть безотносительным чувствованием, становится в великих душах гордостью, в мелких душах тщеславием и во всех душах постоянно питается за счет ближнего. Этот род страстей, не имея источника в сердце детей, не может зародиться здесь сам собою; только мы сами и вносим их туда, по нашей вине они и пускают там корни; но не то бывает с сердцем юноши: здесь, что бы мы ни делали, они зародятся против нашей воли. Пора, следовательно, изменить методу.

Начнем с некоторых важных размышлений по поводу критического состояния, о котором идет здесь речь. Переход от детства к возмужалости не слишком точно определен природой, так что он разнообразится у отдельных лиц сообразно с темпераментами, у народов сообразно с климатами. Всякий знает разницу, наблюдаемую в этом отношении между странами жаркими и холодными, и каждый видит, что темпераменты пылкие развиваются скорее других: но можно ошибиться насчет причин, и часто физической причине можно приписывать то, что следует приписать нравственной: это одно из самых частых заблуждений философии нашего века. Внушения природы всегда медленны и запоздалы. внушения же людей почти всегда преждевременны. В первом случае чувства пробуждают воображение, во втором — воображение пробуждает чувства; оно дает им преждевременную деятельность, которая не может не обессиливать и расслабляет сначала отдельных лиц, а потом, с течением времени, даже целый род. Но и помимо действия климатов есть наблюдение еще более общее и верное, именно, что у образованных и благоустро-

енных народов возмужалость и половая способность наступают раньше, чем у народов невежественных и варварских *. Дети с замечательною проницательностью сквозь все увертки приличия подмечают безнравственность, им прикрываемую. Утонченная речь, к которой их приучают, уроки вежливости, которые им преподают, покров таинственности, который стараются раскинуть перед их глазами, — все это лишь новые средства для того, чтобы подстрекнуть их любопытство. Уже из того, как берутся за дело, видно, что притворное желание скрыть это имеет целью просветить детей насчет этого; а из всех наставлений, которыми наделяют их, это последнее более всего идет им впрок.

Обратитесь к опыту, и вы поймете, до какой степени эта неразумная метода ускоряет дело природы и губит темперамент. Здесь кроется одна из главных причин вырождения рас в городах. Молодые люди, рано истощенные, остаются малорослыми, слабыми, дурно сложенными; вместо того чтобы расти, они стареют, подобно тому, как виноградная лоза, которую заставили принести плод весною, чахнет и гибнет, не дожив до осени.

Нужно пожить среди грубого и простого населения, чтобы узнать, до какого возраста счастливое невежество способно продлить детскую невинность. Трогательно и вместе с тем смешно видеть, как там оба пола, огражденные спокойною уверенностью своих сердец, в цвете лет и красоты продолжают наивные игры детства и самую фамильярностью своей обнаруживают чистоту своих наслаждений. Когда, наконец, эта милая молодежь вступает в брак, оба супруга, наделяя друг друга первыми плодами своей зрелости, становятся дороже друг

* «В городах, — говорит Бюффон, — и у зажиточных людей дети, привыкшие к изобильной и сочной пище, скорее достигают этого состояния; в деревне же и у бедного населения дети медленнее развиваются, потому что их плохо и слишком мало кормят; им нужно на это развитие года два-три лишних» (Естественная история, т. IV, 238). Я согласен с наблюдением, но не согласен с объяснением, потому что в странах, где крестьянин питается очень хорошо и ест много, как, например, в Валэсэ³ или даже в некоторых горных округах Италии, например в Фриуле, пора возмужалости наступает у обоих полов точно так же позже, чем в городах, где, чтобы удовлетворить тщеславию, часто соблюдают в еде крайнюю экономию, где, как говорит пословица, «на брюхе шелк, а в брюхе щелк»⁴. Дивисься, когда видишь в этих городах рослых мальчуганов, сильных, как мужчины, но не утративших еще резкого голоса и не имеющих никакой растительности на подбородке, и рослых девушек, в остальном вполне сформировавшихся, но не имеющих еще периодического признака, характерного для их пола. Разница эта, мне кажется, происходит единственно оттого, что при простоте их нравов воображение, долее остающееся в мире и покое, позже вызывает в крови брожение и не слишком ускоряет развитие их темперамента.

другу; обилие детей, здоровых и крепких, является залогом неизменного единения и плодом благоразумия первых лет их жизни.

Если возраст, когда человек начнет сознавать свой пол, изменяется под влиянием как воспитания, так и природы, отсюда следует, что наступление этого возраста можно ускорять и замедлять, смотря по тому, как будут воспитывать детей; и если тело то приобретает, то теряет физическую устойчивость, смотря по тому, замедляем ли мы или ускоряем половое развитие, то отсюда также следует, что, чем старательнее мы замедляем его, тем больше молодой человек приобретает крепости и силы. Я говорю пока о чисто физических последствиях; скоро увидим, что дело не ограничивается этим.

Эти размышления ведут к решению вопроса, столь часто возбуждаемого: следует ли с ранних лет просвещать детей по поводу некоторых предметов, подстрекающих их любопытство, или лучше ввести их в обман путем скромной лжи? Я думаю, что нет нужды ни в том, ни в другом. Во-первых, любопытство это является у них лишь тогда, когда оно возбуждено. Значит, нужно так поступать, чтобы не возбуждать его. Во-вторых, когда никто нас не вынуждает давать ответ, то нет надобности и обманывать предполагающего вопрос: лучше уж принудить к молчанию, чем отвечать лживо. Ребенка не удивит это правило, если мы озаботились подчинить его этому правилу в вещах маловажных. Наконец, если решатся дать ответ, то пусть это сделают с возможною простотой, без таинственности, без замешательства, без улыбки. Гораздо безопаснее удовлетворить любопытство ребенка, чем его возбуждать.

Пусть ваши ответы будут всегда серьезны, кратки, решительны, без всяких признаков колебания. Я не считаю нужным добавлять, что они должны быть правдивы. Нельзя, научая детей, как опасно лгать перед взрослыми, не чувствовать в то же время, что еще более опасна ложь взрослых перед детьми. Одного случая доказанной лжи учителя перед учеником достаточно для того, чтобы погубить навсегда все плоды воспитания.

Абсолютное невежество в некоторых вещах, быть может, было бы приличнее всего для детей; но что невозможно скрывать от них всегда, об этом пусть они узнают заранее. Нужно, чтобы любопытство их или вовсе не пробуждалось, или удовлетворено было раньше того возраста, когда оно уже не безопасно. Ваше поведение по отношению к воспитаннику во многом зависит в этом случае от его личного положения, от окружающего его общества, от обстоятельств, в которых он может, по вашему предположению, очутиться, и т. д. Здесь важно ничего не предоставлять случаю; и если вы не уверены, что сумеете

оставить его до 16 лет в неведении относительно различия между полами, то позаботьтесь, чтобы он узнал о нем до 10 лет.

Не люблю я, когда с детьми говорят языком слишком грубым или когда, чтобы не называть вещей их собственными именами, пускаются в длинные околичности, замечаемые детьми. Добрая нравственность проявляет в этих предметах всегда большую простоту; но воображение, загрязненное пороком, делает ухо в высшей степени чувствительным и вынуждает нас беспрестанно утончать выражения. Грубые термины не ведут к последствиям; похотливые мысли — вот что нужно удалять.

Хотя стыдливость естественна в человеческом роде, но от природы дети не имеют ее. Стыдливость рождается лишь вместе с познанием зла; а каким образом у детей, которые не имеют и не должны иметь этого познания, могло бы явиться чувство, служащее результатом этого познания? Давать им уроки стыдливости и целомудрия значит научать их тому, что есть вещи пристойные и непристойные, значит внушать тайное желание узнать эти последние. Рано или поздно они дойдут до конца; и первая искра, коснувшаяся их воображения, наверняка воспламенит их чувства. Кто краснеет, тот уже виноват; истинная невинность не стыдится ничего.

У детей не те же желания, что и у взрослых; но они, как и взрослые, имеют известного рода неопрятные отправления, оскорбляющие чувство, и уже из одного этого обстоятельства можно извлечь для них те же уроки пристойности. Следуйте духу природы, которая, помещая в одних и тех же местах органы тайных наслаждений и органы отвратительных отправлений, внушает нам в различные возрасты жизни все одни и те же заботы — путем то одной идеи, то другой: взрослому — путем скромности, ребенку — путем стремления к опрятности.

Я вижу только одно хорошее средство сохранить в детях невинность: нужно, чтобы все окружающие уважали ее и любили. Без этого вся сдержанность, которую стараются соблюсти по отношению к ним, рано или поздно изменяет самой себе; улыбка, взгляд, нечаянный жест обнаруживают перед ними все, о чем стараются умалчивать; для того чтобы научиться, им достаточно видеть, как от них хотели скрыть. Утонченность оборотов и выражений, которыми пользуются в разговорах между собою люди вежливые, предполагающая знания, которых дети не должны иметь, совершенно неуместна по отношению к ним; но когда истинно уважают их простоту, то без труда находят в разговоре с ними те простые термины, которые для них годятся. Есть известная наивность речи, которая приличествует и нравится невинности, — вот настоящий тон, способный отвлечь ре-

бенка от опасного любопытства. Когда с ним говорят обо всем просто, у него не является подозрения, что что-нибудь осталось невысказанным. Соединяя с грубыми словами неприятные идеи, им соответствующие, мы погашаем первые вспышки воображения, мы не запрещаем ему произносить эти слова и иметь эти понятия, но внушаем, незаметно для него самого, отвращение к воспоминанию о них. А от скольких затруднений избавляет эта наивная свобода тех, которые, черпая ее в своем собственном сердце, говорят всегда то, что нужно сказать, и говорят это всегда так, как чувствуют!

«Как делаются дети?» — вот затруднительный вопрос, который довольно естественно является у детей; от неосторожного или благо-разумного ответа на него зависят иной раз нравственность и здоровье целой жизни. Самый короткий способ, которым мать думает отделаться, не обманывая своего сына, — это приказание молчать. Это было бы хорошо, если бы ребенка исподволь приучили к этому в вопросах, безразличных для него, и если бы он в этом новом тоне не подозревал тайны. Но мать редко останавливается на этом. «Это секрет женатых людей, — скажет она ему, — маленькие мальчики не должны быть так любопытны». Это прекрасный для матери выход из затруднения; но пусть она знает, что, задетый этим пренебрежительным отношением, маленький мальчик не будет иметь ни минуты покоя, пока не узнает секрета женатых людей, а он не замедлит узнать его.

Пусть будет мне позволено привести совершенно иной ответ на этот же вопрос, — ответ, мною слышанный и тем более меня поразивший, что дала его женщина, скромная как в речах, так и в манерах, но умевшая при случае, ради блага своего сына и ради добродетели, попирать ложный страх порицаний и презирать пустые речи шутников. Незадолго перед тем ребенок выкинул вместе с мочой небольшой камешек, разорвавший у него мочевой канал; но прошедшее страдание было забыто. — «Мама, — спрашивает маленький ветреник, — как делаются дети?» — «Их, мпый мой, — отвечала без колебания мать, — выкидывают жепщины вместе с мочой, и это сопровождается такими болями, что иные матери умирают от этого». Пусть безумные смеются, пусть глупцы приходят в негодование; но умные пусть придумают ответ более рассудительный, более бьющий в самую цель.

Прежде всего, мысль о естественной и знакомой ребенку потребности отвлекает его от мысли о каком-то таинственном процессе. Добавочные идеи страданий и смерти покрывают эту последнюю покровом грусти, который смирят воображение и сдерживает любопытство; все это переносит внимание ребенка на последствие родов, а не на причины их. Недуги человеческой природы, неприятные предметы,

картины страдания — вот образы, к которым приводит этот ответ, если только отвращение, внушаемое им ребенку, допустит его до дальнейших расспросов. Как может зародиться тревожное вождение среди бесед, подобным образом направленных? И при всем том вы видите, что истина не была искажена и что тут не было нужды обманывать воспитанника вместо того, чтобы наставлять.

Ваши дети читают; из чтения они черпают знания, которых не имели бы не читая. Если они учатся, воображение зажигается и разгорается в тиши детской комнаты. Если они живут в свете, они слышат странный жаргон, видят примеры, поражающие их: их столь глубоко убедили, будто они взрослые, что они, что бы ни делали люди в их присутствии, сейчас же ищут, чем бы это могло им пригодиться; нужно же, чтобы чужие действия служили для них образцом, коль скоро чужие суждения служат для них законом. Прислуга, которая поставлена в зависимость от них, а следовательно, заинтересована в том, чтобы угождать им, добивается их расположения ценою доброй нравственности; хохотушки-няньки перед четырехлетним ребенком говорят такие вещи, которых самая бесстыжая из них не осмелилась бы сказать пятнадцатилетнему. Они скоро забывают, что говорили; но тот не забывает слышанного. Скверными речами подготавливаются распутные нравы; плут-лакей ребенка делает развратником, и секрет одного служит порукой за сохранение тайны другого.

Ребенок, воспитанный сообразно с его возрастом, стоит одиноко. Он знает лишь те привязанности, которые приобретены привычкой; он любит свою сестру, как и свои часы, любит друга, как и свою собаку. Он не сознает в себе никакого пола, никакого рода: мужчина и женщина для него равно чужды; он не относит к себе ничего из того, что они делают или что говорят; он этого не видит и не слышит или не обращает на это внимания; разговоры их так же мало его интересуют, как и примеры: все это создано не для него. Путем этой методы мы наделяем его не искусственным заблуждением, а невежеством природы. Придет время, когда та же природа озаботится просветить своего питомца; и только тогда она даст ему возможность без риска пользоваться уроками, которые преподает. Вот принцип; подробности правил не входят в мой сюжет, а средства, предлагаемые мною в виду других целей, годятся и для этой цели.

Если хотите ввести порядок и правильность в зарождающиеся страсти, продлите время их развития, чтоб они успевали уравновешиваться по мере нарождения. Тогда уже не человек повелевает им, а сама природа, а ваше дело — предоставить ей распорядиться своей работой. Если бы ваш воспитанник был одинок, вам нечего было бы делать; но его воображение разжигается всем окружающим. Поток

предрассудков его увлекает; чтобы удержать, его нужно толкать в противоположную сторону. Нужно, чтобы чувство сковало воображение и разум заставил умолкнуть людское мнение. Источник всех страстей — чувствительность, а воображение определяет их направление. Всякое существо, сознающее свои отношения, должно испытывать волнение, когда эти отношения изменяются и оно представляет себе или думает, что представляет, отношения, более соответственные его природе. Заблуждения воображения — вот что превращает в порок страсти всех ограниченных существ; ибо для того чтобы знать, какие отношения более всего приличны их природе, им нужно было бы узнать природу в с е х существ.

Итак, вот краткое изложение всей человеческой мудрости в деле страстей: 1) нужно осознать истинные отношения человека, как в сфере рода, так и в сфере индивидуального, и 2) упорядочивать все душевные привязанности сообразно с этими отношениями.

Но властен ли человек располагать свои привязанности сообразно с теми или иными отношениями? Конечно, если только он властен направлять свое воображение на тот или иной предмет или вкоренять в него ту или иную привычку. Кроме того, здесь дело идет не о том, что человек может сделать над самим собой, а о том, что мы можем сделать над своим воспитанником — путем подбора обстоятельств, в которые его поставим. Выяснение средств, пригодных для удержания его на пути, установленном природой, ясно покажет и то, как он может сойти с этого пути.

Пока чувствительность ограничена его личностью, в его действиях нет ничего морального; когда же она начинает распространяться и на внешнее, тогда только являются в нем сначала чувствования, потом понятия о добре и зле, которые делают его истинно человеком и составною частью его рода. Значит, на этом первом пункте мы и должны на первых порах сосредоточить свои наблюдения.

Наблюдения эти тем труднее, что для них мы должны отбросить примеры, которые у нас на глазах, и искать таких, где последовательное развитие совершается в порядке естественном.

Ребенок вышколенный, отполированный и просвещенный, который только ждет возможности пустить в дело полученные им преждевременные наставления, никогда не ошибается в моменте, когда возможность эта является. Он не ожидает его, а ускоряет; он возбуждает в своей крови преждевременное брожение и знает цель своих вождений задолго раньше того, чем испытает их. Не природа возбуждает его, он сам ее насилует: ей нечему учить его, когда она делает его взрослым; мысленно он возмужал гораздо раньше своей действительной возмужалости.

Истинный же ход природы бывает постепенным и более медленным. Лишь мало-помалу воспламеняется кровь, вырабатываются жизненные силы, формируется темперамент. Умный мастер, заведующий производством, заботится усовершенствовать все свои орудия, прежде чем пустить их в дело: первым вождениям предшествует продолжительное беспокойство; продолжительное неведение дает им сначала ложное направление; желаешь — сам не зная чего. Кровь приходит в брожение и волнуется; избыток жизни ищет выхода наружу. Взор оживляется и останавливается на других лицах; начинаешь интересоваться окружающими, начинаешь чувствовать, что создан не для одинокой жизни; таким-то образом сердце раскрывается для человеческих движений и делается способным к привязанности.

Первое чувство, к которому восприимчив заботливо воспитанный юноша, — это не любовь, а дружба. Первым актом его зарождающегося воображения бывает сознание, что у него есть ближние; род привлекает его внимание раньше пола. Вот, следовательно, другое преимущество продолжительной невинности: возникающею чувствительностью можно воспользоваться для того, чтобы бросить в сердце юноши первые семена гуманности. Преимущество это тем драгоценнее, что это единственное время жизни, когда эти самые задачи могут увенчаться истинным успехом.

Я всегда видел, что молодые люди, с ранних пор испорченные и преданные женщинам и разврату, были бесчеловечными и жестокими; пылкость темперамента делала их нетерпеливыми, мстительными, бешеными; воображение их, всецело занятое одним предметом, отказывалось от всего остального; они не знали ни жалости, ни милосердия; они пожертвовали бы отцом, матерью, целой Вселенной — за малейшее из своих удовольствий. Напротив, юношу, воспитанного в счастливой простоте, уже первые движения природы вели к страстям нежным и благосклонным; его сострадательное сердце трогается бедствиями ближних; он трепещет от радости при свидании со своим товарищем; его руки способны к приветливым объятиям, глаза умеют проливать слезы умиления; он стыдится огорчить, ему жаль обидеть. Если жар воспламенившейся крови делает его резким, вспыльчивым, гневным, то минуту спустя вы увидите в изъявлениях его раскаяния всю доброту его сердца; он плачет, рыдает над нанесенной им раной; ему хотелось бы ценою своей крови искупить пролитую им кровь; вся его вспыльчивость пропадает, вся гордость смиряется перед сознанием своей вины. Если он оскорблен сам, в самом разгаре бешенства его обезо-

руживает одно простое извинение, одно слово; он так же искренно прощает чужие вины, как заглаживает свои собственные. Юность не есть возраст мстительности или ненависти: это возраст соболезнования, кротости, великодушия. Да, я утверждаю — и не боюсь быть опровергнутым со стороны опыта, — что юноша, не родившийся с дурными задатками и сохранивший до 20-летнего возраста свою невинность, в эти годы бывает самым великодушным, самым добрым, самым любящим и любезным из людей. Вам никогда не говорили ничего подобного; охотно этому верю: ваши философы, воспитанные среди всей испорченности коллежей, не имеют возможности знать это.

Слабость человека делает его общительным; общие наши бедствия — вот что располагает наши сердца к человечности: мы не чувствовали бы обязанности к человечеству, если бы не были людьми. Всякая привязанность есть признак несостоятельности; если бы каждый из нас не имел никакой нужды в других, он не подумал бы соединиться с ними. Таким образом, из самой нашей немоги рождается наше зыбкое счастье⁵. Существом истинно счастливым бывает существо обособленное; одно божество наслаждается абсолютным счастьем; но из нас никто не имеет о нем понятия. Если бы какое-нибудь несовершенное существо могло вполне удовлетворять само себя, чем бы оно стало наслаждаться — с нашей точки зрения? Оно было бы одиноким, жалким. Я не постигаю, как тот, кто не имеет ни к чему нужды, может любить что-нибудь; я не понимаю, как тот, кто ничего не любит, может быть счастливым.

Отсюда следует, что мы привязываемся к ближним не столько потому, что чувствуем их удовольствия, сколько потому, что чувствуем страдания их; ибо в последнем случае мы хорошо видим тождество нашей природы и ручательство в привязанности к нам и с их стороны. Если наши общие нужды связывают нас выгодой, то наши общие бедствия связывают нас привязанностью. Вид счастливицы внушает другим больше зависти, чем любви; мы готовы обвинить его в узурпации права, которого он не имеет, — права создавать себе исключительное счастье; да и самолюбие наше страдает, давая нам чувствовать, что этот человек не имеет в нас никакой нужды. Но кому не жаль несчастного, который на наших глазах страдает? Кто не захотел бы избавить его от бед, если бы для этого достаточно было одного желания? Воображение скорее ставит нас на место несчастного, чем на место счастливого человека; мы чувствуем, что одно из этих положений ближе нас касается, чем другое. Жалость — сладка, потому что, ставя себя на место страдающего, мы, однако, испытываем удовольствие — оттого, что не страдаем, как он. Зависть — горька,

потому что вид счастливого человека не только не заставляет завистника стать на место счастливца, но возбуждает в нем сожаление, что он не на его месте. Один как бы избавляет нас от бедствий, им испытываемых, другой как бы лишает нас тех благ, которыми наслаждается.

Итак, если вы хотите возбудить и поддержать в сердце молодого человека первые движения зарождающейся чувствительности и направить его характер к благотворению и доброте, то не возбуждайте в нем гордости, тщеславия, зависти обманчивым образом мирского счастья; и прежде всего неставляйте ему напоказ пышности дворов, роскоши дворцов, привлекательности зрелищ; не водите его в гостиные, в блестящие собрания; не показывайте ему большого света прежде, чем он мог бы оценить последний сам по себе. Показывать ему свет прежде, чем он узнает людей, значит, не образовывать его, а развращать, не научать, а обманывать.

От природы люди не бывают ни королями, ни вельможами, ни придворными, ни богачами; все родились нагими и бедняками, все подвержены бедствиям жизни, огорчениям, болезням, нуждам, всякого рода страданиям, всем, наконец, суждено умереть. Вот что воистину принадлежит человеку; вот от чего ни один смертный не избавлен. Итак, начинайте с изучения того в природе человеческой, что наиболее нераздельно с нею, в чем лучше всего выражается человечество.

В шестнадцать лет юноша знает, что значит страдать, ибо он сам страдал; но едва ли он знает, что другие существа тоже страдают: видеть страдание, не чувствуя его, это не значит знать; а ребенок, как я уже сто раз говорил, не представляя себе, что чувствуют другие, не знает иных бедствий, кроме своих; но когда впервые развивающиеся чувства зажигают в нем огонь воображения, он начинает в ближних своих чувствовать себя самого, начинает проникаться их жалобами и страдать их болью. Тогда-то печальная картина страдающего человечества должна пробудить в его сердце первое, какое только он испытал, страдание.

Если в ваших детях трудно подметить этот момент, то кто же виноват в этом? Вы так рано учите их притворно обнаруживать чувствительность, так рано знакомите их с ее языком, что, говоря всегда одним и тем же тоном, они ваши уроки обращают против вас же самих и не дают вам никакого способа различить, когда, переставши лгать, начинают они действительно чувствовать то, что говорят. Но посмотрите на моего Эмиля: я довел его уже до такого возраста, и он не испытал еще чувств и не лгал. Не узнав, что значит любить, он не говорил никому: «Я вас очень люблю»; ему не предписывали, как держать себя при входе в комнату к отцу, к матери или больному воспитателю;

ему не показывали искусства притворно выражать печаль, которой у него нет. Он ни о чьей смерти притворно не плакал, ибо он не знает, что значит умирать. Нечувствительность сердца выражается и в его манерах. Равнодушный, как и все прочие дети, ко всему, кроме самого себя, он не проникается ничьими интересами; он отличается от них только тем, что и не хочет казаться заинтересованным и не притворяется, как они.

Мало размышляя о существах, одаренных чувствительностью, Эмиль поздно узнает, что значит страдать и умирать. Жалобы и крики будут волновать его сердце, вид текущей крови заставит его отвернуться, конвульсии издыхающего животного вызовут в нем невыразимую скорбь, прежде чем он узнает, откуда происходят эти новые для него душевные движения. Если бы он остался тупым и жестокосердным, он их не испытывал бы; если б его больше учили, он знал бы их источник: он уже так много делал в мысли сопоставлений, что может чувствовать, но не настолько еще много, чтобы понимать, что чувствует.

Так зарождается жалость, первое относительное чувство, трогающее сердце человеческое, если человек следует порядку природы. Чтобы стать чувствительным и жалостливым, ребенок должен знать, что есть существа, подобные ему, которые страдают так же, как и он, и чувствуют те же горести, какие чувствует он, и, кроме того, другие горести, о которых он должен иметь понятие, потому что и сам может их испытать. И в самом деле, отчего возникает в нас жалость, как не оттого, что мы переносим себя на место другого и отождествляем себя со страдающим живым существом, покидаем, так сказать, свое бытие, чтобы пережить жизнь другого? Мы страдаем лишь настолько, насколько представляем его страдания; мы страдаем не в нас самих, а в нем. Таким образом, всякий делается чувствительным лишь тогда, когда его воображение оживляется и начинает переносить его за пределы собственного бытия.

Чтобы возбуждать и поддерживать эту зарождающуюся чувствительность, чтобы руководить ею или следовать за ее естественным ходом, нам остается, значит, представлять молодому человеку такие предметы, которые могли бы проявить силу его сердца, ищущую исхода, которые расширяли бы сердце, распространяли бы его действие на другие существа, заставляли бы его на все отзываться, и заботливо удалять такие предметы, которые стягивают его деятельность к одному центру и преувеличивают значение человеческого «я»; другими словами, мы должны возбуждать в нем доброту, гуманность, сострадание, благотворительность, все страсти привлекательные и нежные, которые по природе нравятся людям, и препятствовать за-

рождению зависти, алчности, ненависти, всех страстей отталкивающих и жестких, не только уничтожающих, так сказать, чувствительность, но и делающих ее отрицательною и составляющих муку того, кто их испытывает.

Все предшествующие размышления можно, мне думается, свести к двум-трем правилам, точным, ясным и удобопонятным.

Первое правило

Сердцу человеческому свойственно ставить себя на место не тех людей, которые счастливее нас, но только тех, которые больше нас заслуживают жалости.

Если есть исключения из этого правила, то они скорее кажущиеся, чем действительные. Таким образом, мы не ставим себя на место богача или вельможи, к которому привязываемся; даже искренно привязавшись к нему, мы присваиваем себе только часть его благосостояния. Иногда такого человека любят в несчастии; но пока он счастлив, у него истинным другом бывает разве только тот, кто не обманывается внешностью и, несмотря на его благоденствие, скорее сожалеет о нем, чем завидует ему.

Нас трогает счастье некоторых состояний, например счастье сельской и пастушеской жизни. Удовольствие видеть этих добрых людей счастливыми не отравлено завистью; мы в действительности заинтересовываемся ими. Отчего это? Оттого, что мы чувствуем себя властными спуститься до этого состояния мира и невинности и наслаждаться таким же счастьем; это прибежище для нас в случае крайности, и оно возбуждает мысли только приятные, потому что стоит нам пожелать, и мы можем наслаждаться этим. Всегда бывает приятно видеть свои возможности и созерцать свое собственное благо, даже тогда, когда не хочешь им пользоваться.

Отсюда выходит, что, если мы хотим внушить молодому человеку чувство гуманности, мы не только не должны удивлять его блестящим жребием других, но должны показывать ему печальные его стороны и внушать опасение перед ним. Тогда он с очевидностью убедится, что ему необходимо самому пролагать путь к счастью и не идти по следам другого.

Второе правило

Жалость возбуждают в нас только те чужие беды, от которых мы не считаем сами себя избавленными.

Non ignara mali, miseris succurere disco ⁶.

Я ничего не знаю прекраснее и глубже, трогательнее и истиннее этого стиха.

Почему короли безжалостны к своим подданным? — Потому что они не рассчитывают быть когда-либо простыми людьми. Почему богачи столь суровы к беднякам? — Потому что они не опасаются стать бедняками. Почему знать питает такое презрение к простому народу? — Потому что знатный никогда не будет простолюдином. Почему турки вообще человеколюбивее и гостеприимнее нас? — Потому что при совершенно самовластном правительстве величие и богатство частных лиц всегда непрочны и шатко, и они не видят в унижении и нищете состояния, совершенно чуждого себе *; завтра каждый может оказаться тем, кем сегодня бывает тот, кому он помогает. Это размышление, постоянно повторяемое в восточных романах ⁷, придает сюжетам некоторую долю трогательности, которой нет у нас при всей изысканности нашей сухой морали.

Не приучайте же вашего воспитанника смотреть с высоты своего величия на бедствия несчастных, на труды обездоленных и не надейтесь научить его жалеть их, если он смотрит на них как на чужих. Дайте ему понять, что судьба этих несчастных может быть его судьбою, что все их беды висят над его головой, что тысяча непредвиденных и неизбежных случайностей может с минуты на минуту обрушить их на него. Научите его не рассчитывать на родовитость, на здоровье или богатства; покажите ему все превратности судьбы; подыщите ему примеры людей, всегда слишком многочисленные, которые принадлежали к высшему, чем он, состоянию и пали ниже этих несчастных; по их ли вине это произошло или нет, теперь не в этом вопрос; да и знает ли еще он, что такое вина? Соблюдайте всегда постепенность в сообщении ему познаний и просвещайте его такими лишь сведениями, которые доступны его пониманию: нет нужды быть очень ученым, чтобы сознавать, что вся человеческая мудрость не может ему предрешить вопроса, живым ли он будет через час или умирающим, не заставит ли его боль почек еще до наступления ночи скрежетать зубами, богачом он будет или бедняком через месяц, не придется ли ему через год под ударами плети грести на алжирских галерах ⁸. Особенно не вздумайте передавать ему все это холодным тоном, как обязательный для него катехизис: пусть он видит, пусть чувствует людские невзгоды; трогайте, пугайте его воображение опасностями, которыми всякий человек непрестанно окружен; пусть

* Теперь это, мне кажется, несколько изменяется: состояния, по-видимому, делаются более прочными, и люди также становятся более суровыми.

он видит вокруг себя все эти пропасти и, слушая, как вы их описываете, прижимается к вам из опасения попасть в них. «Мы сделаем его робким и трусом», — скажете вы. Увидим впоследствии; а что касается настоящего, то сделаем его прежде всего гуманным — вот что, собственно, важно для нас.

Третье правило

Жалость, внушаемая нам горем другого, измеряется нами не количеством этого горя, а тем чувствованием, которое мы предполагаем в людях страдающих.

Мы лишь настолько жалеем несчастного, насколько считаем его заслуживающим сожаления. Физическое ощущение бедствий более ограничено, чем это кажется; но благодаря памяти, которая дает чувствовать их продолжительность, и воображению, распространяющему их и на будущее время, они делают нас поистине достойными сожаления. Вот, я думаю, одна из причин, почему мы более жестки к страданиям животных, чем к страданиям людей, хотя общая чувственность должна была бы одинаково отождествлять нас и с животными. Мы почти не жалеем стоящей в стойле извозничьей лошади, потому что не предполагаем, чтобы она, жуя свое сено, думала о полученных ею ударах и ожидающей ее усталости. Точно так же мы не жалеем овцы, которую видим на лугу, хотя и знаем, что ее скоро зарежут, потому что полагаем, что она не предвидит своей участи. Подобным же образом, если смотреть на дело шире, становятся жестокими и к участи людей; богачей в бедствии, причиняемом ими беднякам, утешает предположение, что последние настолько тупы, что вовсе его и не чувствуют. Вообще, о цене, которую каждый придает счастью ближних своих, можно судить по уважению, которое он может питать к ним. Очень естественно, что мы не дорожим счастьем людей, которых презираем. Не удивляйтесь поэтому, если политики с таким пренебрежением говорят о простом народе, если большинство философов силится изобразить человека столь злым.

Из народа состоит род человеческий: часть, сюда не принадлежащая, столь незначительна, что ее не стоит и считать. Человек — один и тот же во всех состояниях; а если это так, то самые многочисленные сословия заслуживают и наибольшего уважения. Перед человеком мыслящим исчезают все гражданские различия: он видит те же страсти, те же чувства и в денщике, и в человеке именитом; он видит тут разницу лишь в речи, в большей или меньшей изысканности выражений; а если и есть между ними какая-нибудь более существенная разница, то она не служит к чести тех, которые из них скрытнее. Народ

выказывает себя таким, каков он есть; но светским людям нужно маскировать себя; если бы они показывали себя такими, каковы они есть, то они возбуждали бы отвращение.

Во всех состояниях, говорят наши мудрецы, одинаковая доля счастья и горя. Это положение столь же губительно, насколько оно не-состоятельно; если все одинаково счастливы, то что за нужда мне беспокоиться из-за кого бы то ни было? Пусть каждый остается, как он есть; пусть раб терпит дурное обхождение, немощный пусть страдает, убогий пусть погибает; они ничего не выиграют от перемены состояния. Мудрецы эти исчисляют скорби богача и показывают суетность наслаждений — какой грубый софизм! Источник скорбей богача не состояние его, а исключительно сам он, злоупотребляющий своим положением. Будь он даже несчастнее бедняка, и тогда он не заслуживает жалости, потому что все его бедствия — дело его рук и от него одного зависит быть счастливым. Горести же несчастного происходят от обстоятельств, от суровости судьбы, над ним тяготеющей. Никакая привычка не может избавить его от физического чувства усталости, истощения, голода; ни острота ума, ни мудрость совершенно непригодны для того, чтоб избавить его от бедствий, связанных с его состоянием. Что выиграл бы Эпиктет⁹, если бы предвидел, что его господин сломает ему ногу? Ведь нога все-таки была бы сломанной; сверх своего страдания он испытывал бы еще горесть предвидения. Если бы простой народ был настолько же рассудителен, насколько мы считаем его глупым, — чем иным он мог бы быть помимо того, что он есть? что он стал бы делать помимо того, что делает? Изучайте людей этого состояния, и вы увидите, что у них столько же ума и больше здравого смысла, чем у вас, хотя речь у них и иная. Уважайте же род человеческий; имейте в виду, что он состоит в сущности из масс простого народа, что если б изъять из него всех королей и всех философов, то этого никто почти и не заметил бы и в свете не стало бы хуже. Словом, научите нашего воспитанника любить всех людей и даже тех, кто их презирает; сделайте так, чтоб он не помещал себя ни в один класс, но чтоб оказывался во всех классах; говорите при нем о роде человеческом с умилением, даже с жалостью, но никогда не отзывайтесь о нем с презрением. Человек, не позорь человека.

Вот этими-то путями и другими, им подобными, но совершенно не похожими на пути избитые, и следует проникать в сердце юноши, чтобы возбудить в нем первые природные движения и раскрыть его для сочувствия ближним; кроме того, я прибавлю, что к этим движениям нужно примешивать как можно меньше личного интереса; особенно не должно быть тщеславия, соревнования, славолубия, всех

тех чувствований, которые принуждают нас сравнивать себя с другими; ибо эти сравнения никогда не обходятся без некоторой доли ненависти к тем, которые оспаривают у нас преимущество — даже только по нашей собственной оценке. В этом случае приходится быть ослепленным или раздражаться, быть злым или глупым; постараемся избежать этой альтернативы. Мне говорят: «Эти страсти, столь опасные, рано или поздно появятся помимо нашей воли». Я не отрицаю этого; для каждой вещи есть свое время и место; я говорю только, что мы не должны помогать их зарождению.

Вот сущность метода, которой следует держаться. Примеры и детали здесь бесполезны, потому что здесь начинается почти бесконечное разграничение характеров и потому что каждый пример, который я представил бы, для одного из ста тысяч, быть может, не годился бы. В этом же возрасте начинается для искусного наставника истинная роль наблюдателя и философа, который владеет искусством испытывать сердца в своих заботах об их образовании. Пока молодой человек не помышляет еще притворяться, пока он не научился еще этому, в его наружности, в его взорах и жестах, при каждом предмете, ему представляемом, мы видим и впечатление, получаемое им: на его лице мы читаем все движения его души; тщательное исследование их ведет к тому, что мы начинаем предвидеть их и, наконец, управлять ими.

Вообще замечено, что кровь, раны, крики, стоны, обстановка болезненных операций и все, что говорит чувствам о предметах страдания, скорее и неизбежнее поражает всех людей. Идея разрушения, как более сложная, не так поражает; картина смерти трогает позже и слабее, потому что никто не имеет за собою опыта умирания; нужно увидеть трупы, чтобы чувствовать агонию умирающих. Но раз картина эта запечатлелась в уме, для наших глаз уже нет зрелища более ужасного — потому ли, что на нас действует идея всецелого разрушения, воспринимаемая здесь путем чувств, или потому, что, зная неминуемость этого момента для всех людей, мы сильнее бываем поражены состоянием, которое, без всякого сомнения, неизбежно и для нас.

Эти различные впечатления имеют видоизменения и степени, зависящие от частного характера каждого индивида и от предшествующих его привычек; но они всеобщы, и никто вполне не избавлен от них. Есть впечатления более поздние и менее общие — они свойственнее душам чувствительным: это впечатления, получаемые от нравственных страданий, от внутренних болей, от огорчений, томления, уныния. Иные люди могут быть тронуты лишь криками и слезами; продолжительные и глухие стенания сердца, сжимаемого

скорбью, никогда не вырывали у них вздоха; подавленный вид, истомившееся и бледное лицо, потухшие и потерявшие способность плакать глаза никогда не вызывали у них самих слез; горести души для них не имеют значения; с ними порешено, их собственная душа ничего не чувствует; не ждите ничего от них, кроме непреклонной суровости, ожесточения, жестокости. Они могут быть неподкупными и справедливыми, но никогда не бывают милостливыми, великодушными, сострадательными; да и о справедливости их можно говорить лишь в случае, если справедливым может быть даже человек немилосердный.

Но не спешите на основании этого правила судить о молодых людях, в особенности о тех, которые, будучи воспитаны надлежащим образом, не имеют даже понятия о нравственных страданиях, ни разумными не испытанных; ибо — повторяю еще раз — они могут вызывать сострадание только к тем бедствиям, которые им знакомы; и эта кажущаяся нечувствительность, происходящая единственно от неведения, скоро превращается в сострадание, когда они начинают сознавать, что в жизни человеческой есть тысячи горестей, которых они не знали. Что касается моего Эмиля, то, раз в детстве он отличался простотой и здравым смыслом, я уверен, что в юности у него будет добрая душа и чувствительность; ибо истинность чувств много зависит от правильности идей.

Но к чему напоминать здесь об этом? Многие читатели, без сомнения, упрекнут меня в забвении моих первоначальных намерений, в забвении того, что я обещал своему воспитаннику постоянное счастье. Несчастные, умирающие, зрелища горести и нищеты! Вот так счастье, вот так наслаждение для юного сердца, возрождающегося к жизни! Мрачный воспитатель, предназначавший ему такое приятное воспитание, вызывает его к жизни лишь для того, чтобы страдать. Вот что мне скажут. Но мне какое дело? Я обещал сделать его счастливым в действительности, а не добиваться того, чтобы он казался счастливым. Моя ли вина, что вы, всегда обманываясь наружностью, принимаете ее за действительность?

Возьмем двух молодых людей, входящих по окончании первоначального воспитания в свет двумя прямо противоположными дверьми. Один восходит сразу на Олимп и попадает в самое блестящее общество: его возят ко двору, к вельможам, богачам, красивым женщинам. Я предполагаю, что он всюду хорошо принят, и не стану исследовать действия этого приема на его разум: я предполагаю, что он устоит здесь. Удовольствия роем его окружают; его забавляют каждый день новые предметы. Он на все бросается с интересом, пленяющим вас. Вы видите его внимательным, старательным, любопытным; его

первый восторг вас поражает; вы считаете его довольным. Но обратите внимание на состояние его души; по-вашему, он наслаждается; что же касается меня, я думаю, что он страдает.

Что прежде всего бросается ему в глаза? Множество мнимых благ, которых он не знал и большинство которых, будучи доступно ему лишь на минуту, как будто для того только и является перед ним, чтобы возбудить в нем сожаление, что он лишен их. Прогуливается ли он по дворцу, по его беспокойному любопытству мы уже видим, что он задает себе вопрос, почему родительский дом у него не таков. Все его вопросы показывают вам, что он беспрестанно сравнивает себя с обладателем этого дома, и все, что он находит обидного для себя в этой параллели, подстрекает его тщеславие и возмущает его. Встречает ли он молодого человека, лучше одетого, чем он, я вижу, как он тайно ропщет на скупость своих родителей. Если он сам наряднее другого, он с горестью видит, что этот другой затмевает его своею родовитостью или умом, и вся позолота на нем бледнеет перед простой суконной одеждой. Если он один блесит в собрании и всячески торжествует, чтобы лучше быть видиму, у кого не явится тайного намерения унижить гордость и надменность молодого фата? Все скоро соединяются как будто в общем заговоре; беспокоящие взгляды степенного человека, насмешливые слова остряка тотчас же доходят до него; а выказки ему хоть один человек пренебрежение, презрение этого человека в один момент отравляет похвалы других.

Дадим ему все, наделим его приятными свойствами, достоинствами; пусть он будет хорош собою, исполнен ума, мил: женщины будут добиваться его знакомства; но, ища его знакомства, прежде чем он полюбит их, они сделают его скорее безумным, чем влюбленным; он будет иметь у них успех, но не будет иметь ни восторгов, ни страсти, чтобы наслаждаться им. Так как желания его, не успевши зародиться, бывают уже предупреждаемы, то среди удовольствий он испытывает лишь скуку стеснения: пол, созданный для счастья его пола, внушает ему отвращение и надоедает прежде, чем он мог бы узнать его; если он продолжает с ним сношения, то из-за одного тщеславия; а если он почувствует истинную склонность, то ведь не один он будет юным, блестящим, милым — и он не встретит особенной верности в своих возлюбленных.

Я уже не говорю о сплетнях, изменах, всякого рода мерзостях, раскаяниях, неразлучных с подобной жизнью: известно, что, кто испытал свет, тот получает к нему отвращение; я говорю о неприятностях, связанных с первыми иллюзиями.

Какой представляется контраст для того, кто, будучи доселе замкнут в кругу своей семьи и друзей, видел себя единственным пред-

метом всех их попечений, а теперь сразу попадает в среду, где так мало его ценят, и как бы тонет в чуждой для него сфере, — он, который так долго был центром своего круга! Сколько оскорблений, сколько унижений придется ему вынести, прежде чем он, среди людей незнакомых, расстанется с ложным понятием о своем значении, — понятием, которое он получил и развил в себе в кругу своих близких! Когда он был ребенком, ему все уступали, все суеились из-за него; стал юношей, и ему приходится уступать всем самому; а если он хоть чуть забудется и примет свой прежний вид, жестокие уроки очень скоро заставят его опомниться! Привычка легко получать желаемое заставляет его желать многого и дает ему чувствовать постоянные лишения. Все, что нравится, соблазняет его; ему хотелось бы иметь все, что имеют другие; он всего жаждет, всем завидует, хочет всюду господствовать; тщеславие грызет его, пыл необузданных желаний разжигает его молодое сердце; с ними зарождаются зависть и ненависть, все губительные страсти разом пробуждаются в нем; они волнуют его среди светского шума, с ними же он возвращается по вечерам домой; он приходит недовольный собою и другими; засыпает с тысячью пустых планов в голове, волнуемый тысячью фантазий, а гордость рисует ему даже во сне химерические блага, которых он мучительно жаждет и которыми не будет обладать во всю свою жизнь. Вот ваш воспитанник. Посмотрим, каков мой.

Если первое зрелище, его поражающее, бывает источником грусти, зато первое углубление в самого себя порождает чувство удовольствия. Видя, от скольких бедствий он избавлен, он чувствует себя более счастливым, чем полагал. Он разделяет огорчения ближних, но это участие добровольное и приятное. Он находит утеху одновременно и в счастье, избавляющем его от этих бедствий; он чувствует в себе то состояние силы, которое переносит нас за пределы нас самих и заставляет в ином месте проявлять деятельность, которая излишня для нашего благосостояния. Без сомнения, чтобы сожалеть о чужой беде, нужно знать ее, но нет нужды самому переживать ее. Когда мы страдали или боимся, что будем страдать, мы жалеем тех, кто страдает; но пока страдаем, мы жалеем только себя. А если вследствие того, что все мы подвержены жизненным невзгодам, каждый уделяет другим только то чувство, в котором не нуждается в настоящую минуту для самого себя, то отсюда следует, что сострадание должно быть чувством очень приятным, потому что оно говорит в нашу пользу, и, напротив, жесткий человек всегда несчастлив, потому что состояние его сердца не дает ему никакого излишка чувствительности, который он мог бы уделить страданиям других.

Мы слишком уверенно судим о счастье по внешности: предпола-

гаем его там, где его всего меньше; ищем там, где не может его быть: веселость — весьма сомнительный его признак. Веселый человек — это часто лишь несчастливец, которому хочется ввести в обман других и забыться самому. Эти столь веселые, столь открытые и сияющие в обществе люди — у себя дома все бывают унылыми и ворчливыми, и на их домашних горько отзывается развлечение, которое они вносят в общество. Настоящее довольство не бывает веселым и шаловливым; дорожа столь сладким чувством, мы, испытывая его, думаем о нем, вкушаем с наслаждением, боимся, чтобы оно не испарилось. Человек истинно счастливый мало говорит и мало смеется; он сжимает, так сказать, свое счастье у своего сердца. Шумные игры, бурная веселость скрывают под собою досаду и скуку. Задумчивость же — подруга наслаждения; умилением и слезами сопровождаются самые сладкие радости, а чрезмерная радость сама навлекает скорее слезы, чем смех.

Если обилие и разнообразие утех и кажется на первый взгляд содействующим счастью, если однообразие ровной жизни и кажется с первого взгляда скучным, то, всматриваясь ближе, мы, напротив, находим, что самая приятная привычка души состоит в умеренности наслаждения, дающей мало простора и вожделениям, и пресыщению. Тревога желаний порождает любопытство, непостоянство; пустота шумных удовольствий производит скуку. Наше состояние никогда не бывает для нас скучным, если мы не знаем состояния более приятного. Из всех людей в мире дикари наименее любопытны и меньше всего скучают: для них все безразлично; они наслаждаются не вещами, а собою, всю жизнь проводят, ничего не делая, и никогда им не бывает скучно.

Светский человек весь заключается в своей маске. Никогда почти не углубляясь в себя, он всегда остается чуждым себе, и ему трудно бывает, когда он вынужден углубиться. Каков он в действительности, это ему нипочем; каким он кажется, это для него все.

Я невольно представляю на лице молодого человека, о котором я только что говорил, что-то дерзкое, приторное, вынужденное, неприятное и отталкивающее для людей простых — и рядом простую и привлекательную физиономию моего питомца, которая выражает довольство, истинную ясность душевную, которая внушает уважение, доверие и будто только ждет дружеского излияния, чтобы отдать свою дружбу окружающим. Полагают, что физиономия есть простое развитие черт, уже намеченных природою. Я же думаю, что, помимо этого развития, черты человеческого лица незаметно образуются и получают выражение путем запечатления тех или иных, частых и обычных, душевных движений. Движения эти оставляют

след на лице — это вполне несомненно; а когда они обращаются в привычку, то должны оставлять на нем неизгладимые отпечатки. Вот каким образом, по-моему, физиономия показывает характер, вот как можно судить по ней о последнем, не прибегая к таинственным объяснениям, предполагающим знания, которых мы не имеем.

У ребенка есть только два ясно намеченных душевных движения — радость и печаль: он смеется или плачет; средних звеньев для него не существует; он беспрестанно переходит от одного из этих движений к другому. Это непрерывное чередование препятствует им оставлять на его лице прочный отпечаток и не дает образоваться физиономии; но в том возрасте, когда, ставши чувствительнее, он живее или чаще испытывает волнения, впечатления, делаясь более глубокими, оставляют и следы, труднее поддающиеся уничтожению; из привычного состояния души вытекает и расположение черт, которые время делает неизгладимыми. Однако нередко можно видеть, что в различные возрасты у людей меняется и физиономия. Я видел это у многих и всегда находил, что у тех, за кем я мог хорошо наблюдать и следить, изменялись также и обычные страсти. Одно уже это наблюдение, хорошо проверенное, кажется мне решительным, и оно вполне уместно в трактате о воспитании, где важно научить по внешним признакам судить о душевных движениях.

Не знаю, будет ли мой юноша так же любим, не научившись подражать условным манерам и притворно выказывать чувства, которых нет,— не об этом теперь речь; но я знаю только, что он будет больше любить, и мне совершенно не верится, чтобы человек, любящий только самого себя, мог так искусно замаскироваться, что будет правиться не меньше того, кто в своей привязанности к другим находит для себя лишь новое ощущение счастья. Что же касается самого чувства, то, мне кажется, я уже так много говорил о нем, что могу руководить в этом пункте рассудительного читателя, и показать ему, что я не противоречил себе.

Итак, я возвращаюсь к своей методе и говорю: когда приближается критический возраст, предлагайте молодым людям такие зрелища, которые их сдерживали бы, а не такие, которые возбуждают; отвлекайте зарождающееся воображение предметами, которые вместо того, чтобы разжигать их чувства, подавляли бы их деятельность. Удаляйте их из больших городов, где наряды и нескромность женщин ускоряют и предупреждают уроки природы, где всюду представляются их взору удовольствия, о которых они не должны знать раньше, чем будут в состоянии делать выбор. Ведите их назад в их прежние жилища, где сельская простота не давала бы слишком быстро развиваться свойственным их возрасту страстям; если же склонность к

искусствам удерживает их пока еще в городе, то с помощью этой самой склонности старайтесь предупредить опасную праздность. Старательно избирайте для них общество, занятия, удовольствия: показывайте им лишь картины трогательные, но скромные, такие, которые умиляли бы, не обольщая, питали бы чувствительность, не возбуждая чувственности. Помните, кроме того, что всюду нужно бояться излишества и что неумеренные страсти всегда причиняют большее зло сравнительно с тем, которого хотят избежать. Дело не в том, чтобы сделать из вашего воспитанника сиделку, брата милосердия, чтоб удручать его взоры непрерывными картинами болезней и страданий, водить его от немоющего к немоющему, из одной больницы в другую, с Гревской площади ¹⁰ в тюрьму: его нужно тронуть, а не делать безучастным к виду человеческих бедствий. Кому часто представляются одни и те же зрелища, тот перестает получать впечатления; привычка делает равнодушным ко всему; что слишком часто видим, то не рисуется уже в воображении, а воображение именно и дает нам чувствовать страдания другого; потому-то священники и врачи, постоянно видящие смерть и страдания, становятся безжалостными. Пусть же ваш воспитанник ознакомится с человеческим жребием и бедствиями ближних, но пусть он не слишком часто бывает их свидетелем. Один предмет, удачно выбранный и показанный в надлежащем свете, даст ему на целый месяц запас сердечного умиления и размышлений. Его суждения определяются не столько тем, что он видит, сколько воспоминанием о виденном, и прочность впечатления, получаемого им от предмета, зависит не столько от самого предмета, сколько от точки зрения, от которой заставляют его вспоминать о нем. Таким-то образом, наблюдая постепенность в примерах, уроках, картинах, вы долго будете притуплять остроту чувственности и отклонять природу в другую сторону, следуя ее собственному направлению.

По мере того как он приобретает сведения, выбирайте идею, к ним относящиеся; по мере того как разжигаются его вожделения, подбирайте картины, могущие охлаждать их. Один старый воин, отличавшийся столько же нравственностью, сколько мужеством, рассказывал мне, что в ранней его юности отец его, человек чувственный, но очень набожный, видя, что зарождающиеся страсти неудержимо влекут сына к женщинам, ничем не пренебрегал, чтобы сдержать его; но наконец, чувствуя, что, несмотря на все заботы, он готов ускользнуть от него, вздумал свести его в госпиталь сифилитиков и, не предупредив, ввел его в залу, где толпа этих несчастных ужасным способом лечения искупала разврат, доведший их до этого. При этом отвратительном зрелище, которое возмущало разом все

чувства, молодой человек чуть не упал в обморок. — «Ступай, жалкий развратник, — сказал тогда отец громовым голосом, — предавайся низкой наклонности, тебя увлекающей; скоро ты будешь считать себя слишком счастливым, если тебя допустят в этот покой, где, будучи жертвой самых гнусных страданий, ты вынудишь отца твоего благодарить бога за твою смерть».

Эти немногие слова в соединении с резкой картиной, поразившей молодого человека, произвели впечатление, которое всю жизнь не сгладилось. Принужденный по своему положению проводить юность в гарнизонах, он предпочитал переносить все насмешки товарищей, лишь бы не подражать их распущенности. «Я был человеком, — говорил он мне, — я имел слабости; но дожив до моих лет, я не мог видеть публичной женщины без отвращения». Наставник, поменьше разговоров, но научись выбирать место, время, лиц, затем давай все свои уроки на примерах и будь уверен в их успехе!

Пользование детством — задача легкая; зло, проскользающее здесь, не бывает неизлечимым; добро, здесь приобретаемое, может прийти и позднее. Но не то бывает в первом возрасте, когда человек начинает поистине жить. Возраст этот всегда оказывается слишком коротким по сравнению с употреблением, которое нужно из него сделать, и его важность требует неослабного внимания: вот почему я усиленно рекомендую искусство продлить его. Одно из лучших правил приобретения хорошей культуры — замедление всего, насколько возможно. Сделайте прогресс медленным и верным; помешайте юноше сделаться мужчиной в момент, когда он совершенно готов сделаться им. Пока тело растет — формируются и вырабатываются и жизненные соки, которые должны успокоить волнение крови и придать силу фибрам. Если вы заставляете их принять другое направление, если предназначенное для усовершенствования одного индивида служит на образование другого, то оба они остаются слабыми, и дело природы оказывается несовершенным. Умственные процессы, в свою очередь, страдают от этого искажения, и душа, столь же немощная, как и тело, слабо и вяло совершает свои отправления. Дородные и крепкие члены не создают ни мужества, ни гения: и мне понятно, что телесная сила не сопровождается душевной силой, когда при этом органы сообщения двух существ дурно устроены. Но как бы хорошо они ни были устроены, они всегда будут слабо действовать, если основой их будет кровь истощенная, обедневшая и лишенная того вещества, которое придает силу и движение всем частям организма. Вообще, в людях, которые в молодых летах предохранены были от преждевременной испорченности, замечают больше душевной крепости, чем в тех, у которых

разврат начался вместе с возможностью ему предаваться; и это, без сомнения, одна из причин, почему народы, отличающиеся нравственностью, обыкновенно превосходят по здравому смыслу и мужеству те народы, у которых нет нравственности. Последние блистают единственно какими-то мелкими тонкостями, которые они называют умом, проницательностью, остроумием; но те великие и благородные проявления мудрости и разума, которые отличают и украшают человека прекрасными деяниями, добродетелями, истинно полезными делами, встречаются почти только у первых.

Наставники жалуются, что пылкость этого возраста делает юность необузданною, и я это вижу; но разве это не их вина? Разве они не знают, что коль скоро они направили эту пылкость в сторону чувственности, то ей нельзя уже дать другое направление? Могут ли длинные и сухие проповеди педанта сгладить в уме его воспитанника картину удовольствий, которая у него составила? Изгонит ли он из сердца вожделения, его терзающие? Ослабят ли они пылкость темперамента, если он знает, на что употребить ее? Не раздражат ли его препятствия, загораживающие ему единственное счастье, о котором он имеет понятие? А в жестоком законе, которому подчиняют его, не умея сделать его понятным, что он увидит, как не каприз и злобу человека, которому хочется помучить его? Удивительно ли, если он заупрямится и, в свою очередь, возненавидит его?

Я хорошо понимаю, что снисходительностью можно сделать себя более сносным и сохранить внешний авторитет. Но я не вижу, к чему служит тот авторитет, сохраняемый не иначе, как путем потворства порокам, которые он должен был бы подавлять; это все равно, как если бы наездник, с целью усмирить горячую лошадь, принудил ее скакнуть в пропасть.

Эта пылкость юноши далеко не служит препятствием к воспитанию; напротив, благодаря ей оно завершается и заканчивается; она дает вам влияние на сердце молодого человека, когда он перестает быть менее сильным, чем вы. Первые его привязанности служат уздою, с помощью которой вы направляете все его движения: он был свободен, и я вижу его поработленным. Пока он ничего не любил, он зависел только от самого себя и своих потребностей; как скоро он любит, он зависит от своих привязанностей. Так образуются первые узы, соединяющие его с родом человеческим. Но, направляя в эту сторону его зарождающуюся чувствительность, не думайте, что она с первого же раза обнимает всех людей и что слова «род человеческий» будут для него что-нибудь обозначать. Нет, чувствительность эта ограничится на первых порах его ближними; а ближними его будут не незнакомые, но те, с которыми он имеет связи, которых привычка сделала для него дорогими или необходимыми, у которых он ясно

видит общий с ним образ мыслей и чувствований, которых он видит подверженными тем же бедствиям, что и он перенес, и восприимчивыми к тем же удовольствиям, что и он испытал, — словом, те, в которых тождество природы более очевидно и, значит, внушает ему большее расположение ко взаимной любви. Лишь после того как он разовьет с тысячи сторон свои наклонности, лишь после многих размышлений над своими собственными чувствами и над теми, какие он будет наблюдать в других, он может дойти до обобщения своих индивидуальных понятий в отвлеченную идею человечества и присоединить к своим частным привязанностям те, которые могут отождествить его с родом.

Делаясь способным к привязанности, он делается восприимчивым и к привязанности других *, а через это самое внимательным к внешним признакам этой привязанности. Видите ли вы, какую новую власть вы приобретаете над ним? Сколькими цепями опутаете вы его сердце, прежде чем он заметит это! Чего он не почувствует, когда, открыв глаза на самого себя, увидит, что вы сделали для него, когда будет в состоянии сравнить себя с другими молодыми людьми его же лет и вас сравнить с другими воспитателями! Я говорю: когда он увидит; но берегитесь говорить ему об этом; если вы будете говорить, он не будет уже видеть. Если вы требуете от него повиновения взамен забот, которыми вы его окружали, он подумает, что вы провели его: он скажет себе, что, прикидываясь оказывающим ему услуги безвозмездно, вы имели претензию навязать ему долг и связать его контрактом, на который он не изъявлял согласия. Тщетно вы будете заявлять, что все ваши требования клонятся к его только пользе; вы ведь все-таки требуете, и притом во имя того, что вы делали без его согласия. Когда несчастный бедняк берет деньги, которые притворно дарят ему, и оказывается завербованным помимо своей воли, вы кричите, что это несправедливо; не бываете ли вы еще более несправедливыми, когда требуете от своего воспитанника платы за те заботы, на которые он не изъявлял согласия?

Неблагодарность была бы более редкою, если бы менее обычны были лихоимные благодеяния. Мы любим того, кто делает нам добро, — это чувство столь естественно! Неблагодарности нет в сердце человека, но есть в нем интерес: неблагодарных должников меньше,

* Привязанность может обходиться без взаимности, но дружба — никогда. Она есть обмен, договор, как и всякий другой, но она — самый священный из всех договоров. Слово «друг» не имеет другого соотносительного слова, кроме себя самого. Человек, который не есть друг своего друга, есть, несомненно, плут, ибо, только выказывая дружбу или притворяясь другом, можно добиться ее.

чем корыстных благодетелей. Если вы мне продаете свои дары, я буду торговаться насчет цены; но если вы притворно дарите, чтобы продать потом по вашей цене, то вы действуете обманом: неоценимыми бывают дары лишь тогда, когда они безвозмездны. Сердце подчиняется только своим собственным законам; кто желает его опутать, тот освобождает; кто предоставляет ему свободу, тот его опутывает.

Когда рыбак закидывает в воду удочку, рыба подходит и доверчиво кружится около него; но, когда подхваченная крючком, скрытым под приманкою, она чувствует, что удочку вытаскивают, она пытается бежать. Неужели рыбак — благодетель? Неужели рыба неблагодарна? Видано ли когда, чтобы человек, забытый своим благодетелем, забывал последнего? Напротив, он всегда говорит о нем с удовольствием, он не может думать о нем без умиления; если он находит возможность какой-нибудь неожиданной услугой показать ему, что он помнит об его услугах, с каким внутренним удовольствием удовлетворяет тогда он свое чувство благодарности! С какою сладкою радостью он напоминает о себе! С каким восторгом он говорит ему: «Пришла и моя очередь!» Вот истинный голос природы; истинное благодеяние никогда не создает неблагодарных.

Итак, если признательность есть чувство естественное, если вы не уничтожаете его действия по своей вине, то будьте уверены, что воспитанник ваш, когда начнет понимать цену ваших забот, будет к ним чувствителен, лишь бы сами вы не назначали им цены, и что они дадут вам над его сердцем власть, которую никто не может уничтожить. Но, прежде чем обеспечить за собой эту выгоду, берегитесь, как бы похвальбой перед ним не лишиться ее. Хвалиться перед ним своими услугами — значит делать их невыносимыми для него; забыть их — значит заставить его вспомнить о них. Пока не придет время обходиться с ним как с взрослым, никогда не поднимайте вопроса о том, чем он вам обязан, но заводите речь лишь о том, чем он не обязан. Чтобы сделать его послушным, предоставьте ему всю его свободу; прячьтесь, чтоб он вас искал; возвышайте его душу до благородного чувства признательности, говоря с ним лишь о его интересах. Я хотел, чтобы, прежде чем он будет в состоянии понять, ему не толковали, что все делают для его блага; в этих речах он увидел бы лишь вашу зависимость и принимал бы вас за своего слугу. Но теперь, когда он начинает чувствовать, что значит любить, он чувствует также, какие приятные узы могут соединять человека с тем, кого он любит; и в усердии, побуждающем вас беспрестанно заниматься им, он видит уже не привязанность раба, но преданность друга. А ничто не имеет такого влияния на человеческое сердце, как голос дружбы, хорошо изведанной; ибо мы знаем, что она всегда стоит лишь за наши

интересы. Можно предположить, что друг обманывается, но нельзя думать, что он хочет обмануть нас. Иногда мы противимся его советам, но никогда их не презираем.

Мы вступаем, наконец, в нравственный мир: мы только что сделали второй шаг взрослого человека. Если бы было здесь уместно, я попытался бы поискать, как из первых сердечных движений поднимаются первые голоса совести, как из чувств любви и ненависти зарождаются первые понятия о добре и зле; я показал бы, что *справедливость* и *доброта* не суть только отвлеченные названия, не суть чисто нравственные понятия, созданные разумением, но являются истинными влечениями просвещенной разумом души и суть не что иное, как упорядоченное дальнейшее развитие наших первоначальных влечений, что на одном разуме, независимо от совести, нельзя основать никакого естественного закона и что все естественное право есть не что иное, как химера *, если оно не основано на естественной для человеческого сердца потребности. Но я думаю, что здесь не место писать трактаты по метафизике и морали или давать какой-нибудь курс науки; мне достаточно наметить порядок и ход наших чувствований и познаний, в соотношении с нашим органическим складом. Другие, быть может, докажут то, что я здесь только отметил.

Так как мой Эмиль до сих пор рассматривал только самого себя, то первый взор, брошенный им на ближних, заставляет его сравнивать себя с ними, и первое чувство, пробуждаемое в нем этим сравнением, есть стремление занять первое место. Вот пункт, где любовь к

* Даже правило — делать другим то, чего себе хотим от них, истинную основу имеет в совести и чувстве; ибо какое именно разумное основание заставило бы меня, будучи тем-то, действовать так, как если бы я был кем-либо другим, в особенности если я внутренне уверен, что никогда не окажусь в таком же положении? И кто поручится, что, точно следуя этому правилу, я добьюсь того, что и по отношению ко мне будут следовать этому же правилу? Злой извлекает выгоды из честности справедливого и своей собственной несправедливости; он очень рад, что весь мир справедлив, кроме него. Это соглашение, что бы там ни говорили, не очень выгодно для людей добродетельных. Но когда ищущая выхода душевная сила отождествляет меня с моим ближним, когда я чувствую себя в его, так сказать, личности, то я потому именно и хочу избавления его от страданий, чтобы не страдать самому; я заинтересовываюсь им из любви к самому себе, и основание правила заключается в самой природе, которая побуждает меня желать себе благосостояния, в каком бы месте я ни существовал. Отсюда я вывожу заключение, что неправда, будто правила естественного закона основаны на одном разуме: они имеют более прочный и надежный фундамент. Любовь к людям, вытекающая из любви к себе, — вот принцип человеческой справедливости. В евангелии сущность всей морали вытекает из сущности закона.

себе изменяется в самолюбие и где начинают зарождаться все страсти, зависящие от этой последней. Но чтобы решить, какие из этих страстей будут господствовать в его характере — человеческие и кроткие или жестокие и зловредные, благожелательность и сострадание или зависть и алчность, для этого нужно знать, на каком месте он будет чувствовать себя между людьми и какого рода препятствия он сочтет нужным преодолеть, чтобы достигнуть того места, которое хочет занимать.

Чтобы руководить им в этом изыскании, нужно, после того как мы показали ему людей со стороны признаков, общих целому роду, показать их теперь со стороны видовых различий. Здесь является на сцену оценка неравенства, природного и гражданского, и картина всего общественного строя.

Общество нужно изучать по людям, а людей по обществу; кто захочет изучать отдельно политику и мораль, тот ничего не поймет ни в той, ни в другой. Обращаясь прежде всего к отношениям первобытным, мы видим, как они должны действовать на людей и какие страсти должны из них возникнуть: мы видим, что именно путем развития страстей эти отношения взаимно умножаются и делаются более тесными. Не столько сила рук, сколько кротость сердец делает людей независимыми и свободными. Кто желает немногого, тот зависит от немногих. А кто, постоянно смешивая суетные наши желания с нашими физическими потребностями, из этих последних делал фундамент человеческого общества, тот постоянно следствия принимал за причины и только путался в своих рассуждениях.

В естественном состоянии существует равенство фактическое, действительное и неделимое, потому что в этом состоянии невозможно, чтобы простого отличия одного человека от другого было достаточно для того, чтоб одного сделать зависимым от другого. В гражданском состоянии существует химерическое и призрачное равенство прав, потому что средства, предназначенные для поддержания его, сами служат для его разрушения и потому что общественная сила, соединяющаяся с более сильным, чтобы подавить слабого, нарушает тот род равновесия, который установила между ними природа *. Из этого первого противоречия вытекают все те, которые замечаются в гражданском строе между внешностью и действительностью. Всегда множество будет приносимо в жертву небольшому числу, интерес общественный — частному интересу; всегда эти благовидные назва-

* Всеобщий дух законов всех стран выражается в постоянном покровительстве сильному против слабого, имущему против неимущего; это неудобство неизбежно и не имеет исключений.

ния — «справедливость» и «подчинение» — будут служить орудием насилия и оружием несправедливости; отсюда следует, что знатные сословия, которые выставляют себя полезными для других, в действительности полезны только самим себе — в ущерб другим; по этому критерию следует судить и об уважении, которого они заслуживают по справедливости и по требованиям разума. Остается посмотреть, благоприятствует ли их счастью тот ранг, который они присвоили себе, и мы узнаем, какое суждение каждый из нас должен составить о своем собственном жребии. Вот вопрос, который важен теперь для нас; но чтобы хорошо его разрешить, нужно прежде узнать человеческое сердце.

Если бы все дело было в том, чтобы показать молодым людям человека в его маске, то не было бы нужды и показывать; они сами бы его видели больше, чем нужно; но так как маска — не человек и лоск ее не должен их обольщать, то, рисуя им людей, рисуйте их такими, каковы они в действительности, не для того, чтоб они ненавидели их, но чтобы жалели их и не хотели походить на них. Вот, по моему мнению, самое правильное чувство, какое человек может питать к своему роду.

Ввиду этого теперь не мешает вступить на путь, противоположный тому, какому мы доселе следовали, и поучать молодого человека скорее чужим опытом, чем его собственным. Если люди обманывают его, он станет их ненавидеть; но если, встречая с их стороны уважение, он увидит, что они взаимно обманываются, то он станет жалеть их. Зрелище мира, говорил Пифагор, походит на зрелище олимпийских игр: одни там торгуют в лавках и думают только о своей выгоде; другие не щадят своей жизни и ищут славы; третьи довольствуются тем, что смотрят на игры, — и последние не из худших.

Для молодого человека желательно избрать такое общество, чтоб он был хорошего мнения о всех, кто живет с ним; с другой стороны, его нужно так хорошо ознакомить со светом, чтоб он был дурного мнения о всем, что там делается. Пусть он знает, что человек от природы добр; пусть он это чувствует, пусть судит о ближнем по самому себе; но пусть он видит, как общество портит и развращает людей; пусть он находит в их предрассудках источник всех их пороков; пусть он склонен будет уважать каждое отдельное лицо, но пусть презирает толпу: пусть он видит, что все люди носят почти одну и ту же маску; но пусть знает также, что есть лица более красивые, чем закрывающая их маска.

Этот метод, нужно признаться, имеет свои неудобства и не легко применим на практике; ибо, если он слишком рано делается наблюдателем, если вы приучаете его слишком близко всматриваться в

чужие поступки, вы делаете его злоречивым и насмешливым, решительным и поспешным в суждениях; он с отвратительным удовольствием будет стараться истолковать все в дурную сторону и не видеть ничего хорошего даже в том, что хорошо. Он во всяком случае привыкнет к зрелищу порока, привыкнет без отвращения смотреть на злых людей, как иные привыкают без жалости смотреть на несчастных. Скоро всеобщая испорченность будет служить ему не столько уроком, сколько извинением; он скажет себе: «Если уж таков человек, то мне не следует желать быть иным».

А если вы хотите поучать его теоретически и вместе с природой человеческого сердца показать ему и влияние внешних причин, превращающих склонности наши в пороки, то, сразу перенося его таким образом от предметов чувственно воспринимаемых к предметам умственным, вы пускаете в дело метафизику, которую он не в состоянии понять, делаете промах, которого доселе так заботливо избегали, — именно преподаете ему уроки, очень похожие на уроки школьные, и его собственный опыт и развитие разума заменяете в его душе опытом и авторитетом учителя.

Чтобы разом устранить эти два препятствия и чтобы сделать человеческое сердце доступным его пониманию, не рискуя в то же время испортить его собственное сердце, я хотел бы показать ему людей издали, показать их в других временах и других местах, и притом так, чтобы он мог видеть сцену и не имел возможности сам на ней действовать. Вот время заняться историей; через нее он будет читать в сердцах и без уроков философии; через нее он будет смотреть в них, как простой зритель, без личного интереса и без пристрастия, как судья, а не как сообщник или обвинитель.

Чтоб узнать людей, нужно видеть их действующими. В свете мы слышим их говорящими; они выставляют свои речи и скрывают поступки; но в истории они разоблачены, и мы судим о них по фактам. Даже самые слова их помогают оценивать их: сравнивая то, что они делают, с тем, что они говорят, мы видим сразу, что они такое и чем хотят казаться; чем более они маскируются, тем лучше их узнают.

К несчастью, это изучение представляет свои опасности и всякого рода неудобства. Трудно стать на такую точку зрения, с которой можно было бы справедливо судить о своих ближних. Одним из важных недостатков истории является то обстоятельство, что она рисует людей гораздо больше с их дурных сторон, чем с хороших; так как она заинтересовывает революциями, катастрофами, то, пока народ разрастается и благоденствует в тиши мирного правления, она о нем ничего не говорит, а начинает говорить лишь тогда, когда, не будучи уже в состоянии довольствоваться самим собой, он вмеши-

вается в дела своих соседей или позволяет им вмешиваться в его собственные дела; она прославляет его лишь тогда, когда он уже близок к падению; все наши истории начинаются там, где они должны были бы оканчиваться. Мы имеем как раз историю народов погибающих; истории же народов размножающихся у нас нет; последние настолько счастливы и мудры, что ей нечего о них сказать; и действительно, мы видим, даже в наши дни, что о правительствах, которые лучше всего ведут себя, меньше всего говорят. Итак, мы знаем только о зле, добро же почти не создает эпохи. Одни злые знамениты, а добрые забыты или подняты на смех, — и вот каким образом история, подобно философии, непрестанно клеветает на человеческий род.

Кроме того, описание фактов в истории далеко не бывает точным изображением этих фактов такими, какими они были: они изменяют свой вид в голове историка, они формируются сообразно с его интересами, получают окраску его предрассудков. Кто умеет поставить читателя как раз среди сцены, так, чтоб он видел происшествие таким, каким оно было? Невежество или пристрастие все преобразует. Даже не искажая исторического, со скольких различных сторон можно показать его, распространяясь или умалчивая относительно обстоятельств, к нему относящихся! Представьте один и тот же предмет с разных точек зрения — и он едва ли покажется одним и тем же, а меж тем ничто не изменяется, кроме взгляда зрителя. Достаточно ли для торжества истины так передавать истинный факт, что я вижу его совершенно иным, чем было в действительности? Сколько раз лишнее дерево, скала с правой или левой стороны, столб пыли, поднятый ветром, решали незаметным ни для кого образом исход сражения! Мешает ли это историку говорить вам о причине поражения или победы с такою уверенностью, как будто он всюду присутствовал? А на что мне нужны факты сами по себе, если смысл их остается для меня неизвестным? И какие уроки могу я извлечь из события, истинной причины которого не знаю? Историк дает мне причину, но он не выдумывает; и самая критика, из-за которой столько шума, есть не что иное, как искусство догадываться, искусство выбирать из многих вымыслов такой, который более других походил бы на истину.

Читали ли вы когда «Клеопатру» или «Кассандру» или другие подобного рода книги?¹¹ Автор выбирает знакомое происшествие; затем, приспособляя его к своим целям, украшая деталями своего изобретения, персонажами, никогда не существовавшими, и воображаемыми портретами, сплетает вымысел за вымыслом, чтобы сделать чтение книги приятным. Я мало вижу разницы между этими романами и вашими историями, если не считать того, что романист увлекается больше своим собственным воображением, а историк больше подчи-

няется чужому; к этому я прибавлю, если хотите, что первый задается моральною целью, хорошою или дурною, а второй почти не заботится об этом.

Мне скажут, что историческая верность меньше интересует, нежели правдивость нравов и характеров: лишь бы сердце человеческое было хорошо изображено, а верно ли переданы события, это не особенно важно; да, наконец, какое нам дело, — прибавят, — до фактов, бывших две тысячи лет тому назад? Вы правы, если портреты хорошо срисованы с натуры; но если для большинства их модель была создана воображением историка, то обращаться к истории не значит ли делать тот промах, которого хотели избежать, и придавать авторитету писателей то значение, которое хотим отнять у авторитета учителя? Если моему воспитаннику приходится видеть одни картины фантастические, то я предпочитаю, чтоб они были начертаны моею рукой, а не чужою; они будут по крайней мере лучше к нему приспособлены.

Худшие историки для молодого человека — это те, которые судят. Фактов давайте, фактов! И пусть он сам судит; этим путем он научается узнавать людей. Если суждение автора беспрестанно руководит им, он постоянно смотрит чужими глазами, а когда этих глаз недостает, то не видит уже ничего.

Я оставляю в стороне новейшую историю — не только потому, что в ней нет уже оригинальности и люди нашего времени похожи все друг на друга, но и потому, что историки наши, увлеченные единственным желанием блистать, только и делают, что самыми яркими красками пишут портреты, часто ничего не представляющие *. У древних вообще меньше портретов, а в суждения они влагают меньше ума и больше чувства; но все-таки между ними приходится делать строгий выбор, и прежде всего нужно брать не самых рассудительных, а самых простодушных. Я не хотел бы давать в руки молодого человека ни Полибия ¹⁹, ни Саллюстия ²⁰; Тацит ²¹ — книга стариков; молодые люди не способны ее понимать: нужно научиться подмечать в человеческих действиях основные черты человеческого сердца, прежде чем желать проникнуть в его глубины; нужно уметь читать факты, прежде чем читать сентенции. Философия в изречениях годится лишь для человека опытного. Юность не должна ничего обобщать: все ее образование должно заключаться в частных правилах.

Фукидид ²², по моему мнению, истинный образец для историков. Он приводит факты, не рассуждая о них; но он не опускает ни одного

* См. Давилу ¹², Гвиччардини ¹³, Страду ¹⁴, Солиса ¹⁵, Макиавелли ¹⁶, а в иных случаях и самого де Ту ¹⁷. Верто ¹⁸ почти один умеет рисовать, не прибегая к портретам.

обстоятельства, могущего дать нам самим возможность судить о них. Он все, что рассказывает, выставляет на суд читателю; он не только не становится между событием и читателем, но даже прячется; у него, кажется, не читаешь, а видишь. К несчастью, он говорит всегда о войне, и в его повествованиях видишь почти только наименее поучительную в мире вещь, именно сражения. «Отступление десяти тысяч»²³ и «Записки» Цезаря²⁴ заключают в себе почти ту же мудрость и тот же недостаток. Добрый Геродот, не дающий ни портретов, ни изречений, но плавный, наивный, полный подробностей, наиболее способных заинтересовать и понравиться²⁵, был бы, может быть, лучшим из историков, если бы эти самые подробности не превращались часто в ребяческую простоту, способную скорее испортить вкус юноши, чем развить его: чтобы читать его, требуется уже умение распознавать. Я не говорю ничего о Тите Ливии²⁶ — его очередь придет; но он политик, он ритор, он — все, что не годится для этого возраста.

История вообще имеет тот недостаток, что записывает только осязаемые и заметные факты, которые можно связать с именами, местами, датами; но причины этих фактов, медленные и постепенные, которые не могут быть помечены подобным же образом, всегда остаются неизвестными. Часто в выигранном или проигранном сражении находят причину революции, которая еще до этого сражения стала уже неизбежною. Война лишь обнаруживает происшествия, уже определенные нравственными причинами, которые историки редко умеют подмечать.

Философский дух обратил в эту сторону размышления многих писателей этого века; но я сомневаюсь, выигрывает ли истина от их трудов. Так как все они охвачены страстью составлять системы, то всякий из них старается видеть вещи не таковыми, каковы они в действительности, а такими, чтобы они согласовались с его системой.

Прибавьте ко всем этим размышлениям, что история показывает гораздо более поступки, чем людей, потому что она захватывает их в известные, избранные моменты, в их праздничном наряде; она выставляет лишь человека общественного, который принарядился на показ: она не следит за ним в его доме, кабинете, в семействе, среди друзей его; она рисует его лишь тогда, когда он на сцене: она рисует скорее его платье, чем самую личность. ■

Я предпочитал бы начать изучение человеческого сердца с чтения частных биографий; ибо в этом случае, как бы человек ни прятался, историк всюду его преследует; он не дает ему ни минуты отдыха, ни одного уголка для того, чтобы избежать проницательного взора зрителя; и когда один думает, что он лучше всего спрятался,

для другого это лучшее время познакомиться с ним. «Те,— говорит Монтень,— которые пишут биографии, для меня более пригодны, так как они больше заняты намерениями, чем событиями, больше внутренним миром, чем происходящим извне: вот почему мне во всех отношениях приятнее такой историк, как Плутарх»²⁷.

Правда, что гений людей объединенных, иначе сказать, народов, весьма отличен от характера человека, взятого в частности, и что знание человеческого сердца было бы очень несовершенным, если не изучать его также и в массе; но не менее справедливо и то, что для суждения о людях начинать дело нужно с изучения человека, и, кто в совершенстве знал бы склонности каждого индивида, тот мог бы предвидеть и все последствия их, скомбинированные в том целом, которое составляет народ.

Здесь опять нужно прибегнуть к древним по тем же причинам, о которых я уже говорил, и, кроме того, потому, что все обиходные и простые, хотя в то же время истинные и характерные частности изгнаны из современного стиля и люди у наших авторов являются такими же разукрашенными в частной жизни, как и на мировой сцене. Приличие, в писании не менее строго соблюдаемое, чем в поступках, позволяет говорить публично уже только о том, что позволяет делать публично; а так как людей нельзя показывать иначе, как постоянно играющими роль, то из книг наших мы узнаем их не больше, чем в театрах. Пусть хоть сто раз пишут и переписывают биографии королей, мы не будем уже иметь Светониев *.

Плутарх превосходит в этих самых частностях, в которые мы не смеем пускаться. Он с неподражаемою грацией рисует великих людей в мелких вещах; он столь удачно подбирает свои черты, что ему часто достаточно одного слова, улыбки, жеста, чтобы охарактеризовать своего героя. Шутливым словом Ганнибал одобряет свою испуганную армию и заставляет ее идти смеясь в битву, которая отдала ему Италию³⁰; Агесилай верхом на палке³¹ заставляет меня полюбить победителя великого царя; Цезарь, проходя по бедной деревушке и беседуя со своими друзьями³², разоблачает в себе, сам того не замечая, пройдоху, который говорил, что желает только одного — быть равным Помпею³³; Александр выпивает лекарство и не говорит ни слова — это самый прекрасный в его жизни момент³⁴; Аристид³⁵ пишет свое собственное имя на черепке и тем оправдывает свое прозвание; Филопемон³⁶, скинув плащ, рубит дрова на кухне своего

* Один только из наших историков²⁸, подражавший Тациту в изображении великих черт, осмелился подражать Светонию, а подчас и копировать Комина²⁹ в чертах мелких; и даже эта попытка, увеличивающая ценность его книги, вызвала между нами осуждение.

хозяина. Вот истинное искусство живописать. Физиономия выражается не в великих чертах и характере — не в великих деяниях: в безделицах именно и раскрывается нрав. Общественные дела слишком общи или слишком искусственны; а современное понятие о достоинстве и позволяет нашим авторам останавливаться почти исключительно на этих последних.

Одним из величайших людей последнего века был бесспорно Тюрени ³⁷. У биографа хватило мужества сделать жизнеописание его интересным при помощи мелких деталей, которые дают возможность узнать его и полюбить; но сколько частных он счел нужным выкинуть — частных, которые заставили бы еще более узнать героя и полюбить! Я приведу одну, взятую мною из хорошего источника, которую Плутарх ни за что не опустил бы, а Рамсей ³⁸ ни за что не привел бы, если бы знал.

В один очень жаркий летний день виконт де Тюрени, в белой куртке и колпаке, стоял у окна в своей прихожей; неожиданно входит один из его слуг и, обманутый платьем, принимает его за поваренка, с которым этот слуга был большим приятелем. Он тихо подкрадывается сзади и рукою, которая не отличалась особенной легкостью, наносит ему сильный удар по спине. Получивший удар тотчас оборачивается. Лакей с ужасом видит лицо своего господина. Совершенно растерявшись, он бросается на колена: «Ваше Сиятельство! я думал, что это Жорж!» — «Да если б это и Жорж был, — восклицает Тюрени, почесывая спину, — все-таки не следовало бы так сильно бить». И это вы не осмеливаетесь рассказать, жалкие писатели? Оставайтесь же навсегда без души, без сердца; закаляйте, ожесточайте свои железные сердца в вашем вздорном приличии; делайтесь презренным с помощью «достоинства». Но ты, добрый юноша, читающий об этом поступке и с умилением чувствующий всю кротость душевную, которая обнаруживается уже в первом движении души, ты прочти и о мелочности этого великого человека, которая проявлялась всякий раз, как вопрос шел о его родovitости и имени. Вспомни, что это тот самый Тюрени, который старательно уступал всюду место своему племяннику, чтобы все хорошо видели, что этот ребенок был главою царствующего дома. Сближай эти контрасты, люби природу, презирай людское мнение — и познавай человека.

Очень немногие в состоянии понять, какое действие может оказать чтение, подобным образом направленное, на совершенно свежий ум молодого человека. Так как мы с детства торчим над книгами и привыкли читать не думая, то прочитанное мало нас поражает тем более, что, нося уже в самих себе страсти и предрассудки, наполняющие историю и жизнь людей, мы все, что они делают, считаем

естественным, потому что мы уклонились от природы и о других судим по себе. Но пусть представят себе молодого человека, воспитанного по моим правилам, пусть вообразят себе моего Эмиля, непрерывные восемнадцатилетние заботы о котором имели одну цель — сохранить суждение неподкупным и сердце неиспорченным; пусть вообразят, как он, при поднятии занавеса, впервые бросает взоры на сцену мира или, лучше сказать, поместившись за сценой, видит, как актеры берут и надевают свои костюмы, и считает веревки и блоки, грубое действие которых обманывает взоры зрителей. За первым изумлением скоро последуют чувства стыда и презрения к роду человеческому; он вознегодует, увидевши, как весь род людской, обманывая себя, унижается до этих детских забав; он огорчится, увидев, как собратья его терзают друг друга из-за призраков и обращаются в диких зверей из-за неумения довольствоваться тем, что они люди.

Несомненно, что при природных дарованиях воспитанника, если наставник выкажет хоть несколько благоразумия при выборе чтения, если мало-мальски направить его на путь размышлений, которые он должен извлечь из этого чтения, то упражнение это будет для него курсом практической философии, лучшим, конечно, и более понятным, чем все пустые умозрения, которыми засоряют умы молодых людей в наших школах. Когда, выслушав романтические проекты Пирра ³⁹, Киней ⁴⁰ спрашивает его, какое же действительное благо доставит ему покорение мира, неизбежно влекущее за собою массу треволнений, то мы видим тут лишь мимолетное остроумное замечание; но Эмиль увидит здесь очень мудрое размышление, с которым он первый согласится и которое никогда не изгладится из его ума, потому что оно не найдет там никакого противоположного предрассудка, способного помешать впечатлению. Когда потом, читая жизнеописание этого безумца, он увидит, что все великие намерения его завершились тем, что он пал от руки женщины, то вместо того, чтоб удивляться этому мнимому героизму, что иное он увидит во всех подвигах столь великого полководца, во всех интригах столь великого политика, как не вечные поиски той несчастной черепицы, которая должна была закончить его жизнь и проекты позорною смертью.

Не все завоеватели убиты, не все узурпаторы потерпели крушения в своих предприятиях; многие из них покажутся счастливыми умам, проникнутым ходячими мнениями; но кто, не останавливаясь на внешности, судит о счастье людей по состоянию их сердец, тот в самых их успехах будет видеть бедствия для них; тот увидит, как вместе с удачей расширяются и растут их желания и грызущие сердце заботы; увидит, как они изнемогают, спеша вперед, но никогда

не достигая своей цели; увидит, что они похожи на тех неопытных путешественников, которые, проникнув впервые в Альпы, у каждой горы думают, что переходят их, а очутившись на вершине, с унынием замечают перед собою еще более высокие горы.

Август ⁴¹, победив своих сограждан и уничтожив соперников, сорок лет правил величайшею, какая только существовала, империей; но вся эта неизмеримая власть помешала ли ему биться головой о стены и оглушать свой обширный дворец криками, требуя назад у Вара ⁴² истребленных легионов? Если бы он победил всех своих врагов, к чему служили бы эти пустые триумфы, когда вокруг него беспрестанно нарождались всякого рода бедствия, когда самые дорогие друзья покушались на его жизнь, когда ему приходилось оплакивать позор или смерть всех своих близких? Несчастный хотел управлять миром и не сумел управлять своим домом! Что произошло от этого нерадения? Он увидел, как погибли во цвете лет его племянник ⁴³, приемный сын ⁴⁴, зять ⁴⁵; внук его ⁴⁶ принужден был есть набивку своей постели, чтобы продолжить на несколько часов свою жалкую жизнь; дочь его и внучка, покрывши его своим позором, умерли — одна от нищеты и голода на пустынном острове, другая в тюрьме от руки палача ⁴⁷. Наконец, сам он, последний представитель своей несчастной фамилии, вынужден был, по настоянию его собственной жены, оставить наследником по себе чудовище ⁴⁸. Такова была участь этого владыки мира, столь возвеличенного за свою славу и свое счастье. Можно ли верить, чтобы хоть один из тех, кто удивляется этим последним, захотел купить их подобною ценою?

Я взял в пример честолюбие; но и проявление всех других страстей человеческих дает подобные же уроки тому, кто хочет изучать историю с целью познать себя и стать умнее, поучаясь примером умерших. Приближается время, когда жизнь Антония ⁴⁹ будет для молодого человека еще более поучительной, чем жизнь Августа. Эмиль не признает самого себя в тех странных предметах, которые поразят его взоры во время этого нового для него изучения; но он сумеет заранее рассеять иллюзию страстей, прежде их зарождения, и, видя, что они во все времена ослепляли людей, будет предупрежден относительно способа, которым они могли бы и его ослепить, если бы он предался им. Эти уроки — я сознаю это — мало к нему приспособлены; может быть, когда к ним обратятся, они будут уже запоздалыми, недостаточными; но вы должны помнить, что ведь не эти уроки я намеревался извлечь из этого изучения. Приступать к нему я предполагал с другою целью; и конечно, если эта цель плохо достигнута, то виновен будет наставник.

Помните, что, лишь только самолюбие разовьется, стремящееся к сопоставлению «я» беспрестанно будет являться на сцену и молодой человек наблюдает других не иначе, как обращаясь к самому себе и сравнивая себя с ними. Следовательно, надлежит знать, на какое место он поставит себя среди своих ближних, после того как внимательно рассмотрит их. Уже по тому способу, как молодых людей заставляют читать историю, видно, что их преобразуют во всех, так сказать, действующих лиц, которых они там встречают, что из каждого стараются сделать и Цицерона, и Траяна ⁵⁰, и Александра, каждого стараются лишить мужества на случай, если он вздумает углубляться в самого себя, и каждому внушить сожаление, что он тот-то, а не иной. Эта метода представляет известные выгоды, которых я не отрицаю; что же касается моего Эмиля, то, если, проводя эти параллели, он хоть раз захочет быть кем-нибудь иным, а не самим собою, тогда, будь этот иной хоть Сократом, хоть Катонем, все пропало; кто начинает чуждаться себя, тот не замедлит и совсем забыть себя.

Не философы лучше всего знают людей; они видят их лишь сквозь предрассудки философии, а я не знаю иной области, где было бы столько предрассудков. Дикарь судит о нас более здраво, чем философ. Последний чувствует свои пороки, негодует на наши и говорит сам себе: «Все мы злы»; а тот смотрит на нас без всякого волнения и говорит: «Вы — безумцы». Он прав, ибо никто не делает зла ради зла. Мой воспитанник — этот дикарь, с тою разницей, что Эмиль, более размышлявший, чаще сравнивавший, ближе видевший наши заблуждения, более строг к самому себе и судит лишь о том, что ему знакомо.

Только страсти наши раздражают нас против страстей другого; лишь собственный интерес заставляет нас ненавидеть злых; если бы они не делали нам никакого зла, мы питали бы к ним больше жалости, чем ненависти. Зло, причиняемое нам злыми, заставляет нас забывать о том зле, которое они сами себе причиняют. Мы легче извиняли бы им пороки, если бы могли знать, как они в своем собственном сердце наказываются за них. Мы чувствуем оскорбление и не видим наказания; выгоды очевидны, страдание же таится внутри. Думая наслаждаться плодом своих пороков, злой не меньше терзается, чем в том случае, если бы не имел никакого успеха; причина изменилась, а тревога осталась той же: сколько бы эти люди ни выставляли свою неудачу, сколько бы ни прятали свое сердце, поступки разоблачают его помимо воли их; но чтобы видеть это, не нужно иметь такое же сердце!

Страсти, разделяемые нами, прельщают нас; страсти, затраги-

вающие наши интересы, возмущают нас, и, в силу происходящей отсюда непоследовательности, мы порицаем в других то, чему хотелось бы нам подражать. Отвращение и самообман неизбежны, коль скоро мы вынуждены терпеть со стороны других то зло, которое причинили бы сами, если бы были на их месте.

Итак, что же нужно для того, чтобы хорошо наблюдать людей? Нужен большой интерес к их изучению, большое беспристрастие в суждении о них, нужно сердце настолько чувствительное, чтобы понимать все человеческие страсти, и настолько спокойное, чтобы не испытывать их. Если есть в жизни момент, благоприятный для этого изучения, так это тот, который я выбрал для Эмиля; раньше люди были бы чуждыми для него, позже он сам был бы им подобен. Людское мнение, влияние которого он видит, не приобрело еще власти над ним; страсти, действие которых он понимает, не волновали еще сердца его. Он человек, он заинтересован в своих собратях; он справедлив, он считает их равными себе. Но если он судит о них правильно, то, наверное, не захочет ни с кем из них поменяться местом; ибо цель всех тревожений, которым они предаются, основанная на предрассудках, которых нет у него, покажется ему целью фантастической. Что же касается его самого, то все, чего он желает, доступно его силам. От чего он мог бы зависеть, если он удовлетворяет самого себя и свободен от предрассудков? У него есть руки, здоровье *, он умерен, у него мало нужд и есть возможность удовлетворить их. Будучи воспитан при абсолютной свободе, величайшим из зол он считает рабство. Ему жаль несчастных королей, рабов всего того, что им повинуются; ему жаль ложных мудрецов, которые опутаны своей мишурной известностью; ему жаль этих глупых богачей, мучеников своей роскоши; жаль этих тщеславных сластолюбцев, которые всю жизнь свою отдают скуке из-за того, чтобы казаться наслаждающимися. Он пожалеет и врага, который причинит зло ему, ибо в злобе его он увидит несчастье для него самого. Он скажет себе: «Создавая для себя потребность вредить мне, этот человек ставит свою участь в зависимость от моей».

Еще шаг, и мы у цели. Самолюбие — орудие полезное, но опасное: оно часто ранит руку, которая им пользуется, и редко делает добро без зла. Эмиль, рассматривая, какое место он занимает между людьми, и видя себя счастливо помещенным, почувствует искушение приписать собственному разуму создание вашего разума и отнести

* Я думаю, что смело могу считать здоровье и хорошее телосложение в числе преимуществ, приобретенных им воспитанием, или, скорее сказать, в числе даров природы, сохраненных для него воспитанием.

к своим достоинствам результат счастья своего. Он скажет себе: «Я умен, а люди безумны». Жалея, он станет презирать их; видя свое довольство, он еще выше станет ценить себя; чувствуя себя более счастливым, чем они, подумает, что он более достоин счастья. Вот заблуждение, которого больше всего нужно бояться, потому что его труднее всего искоренить. Если бы он оставался в этом положении, он мало выиграл бы от всех наших забот; и если бы приходилось выбирать, я не знаю еще, не предпочел ли бы я самообман пред-
рассудков самообману гордости.

Великие люди не обманываются насчет своего превосходства; они видят его, чувствуют, и тем не менее они скромны. Чем больше они имеют, тем больше сознают все, чего им недостает. Вместо того чтобы гордиться своим возвышением над нами, они угнетены сознанием своего ничтожества; при исключительности благ, которыми они обладают, они настолько разумны, что не стали бы тщеславиться даром, который не сами приобрели. Добродетельный человек может гордиться своей добродетелью, потому что он обязан ей себе; но чем станет гордиться человек умный? Что сделал для себя Расин, чтобы не быть Прадоном?⁵¹ Что сделал Буало, чтобы не быть Котеном?⁵²

Здесь опять станем поступать иначе. Не станем выделяться из общего строя. Я не предполагал в своем воспитанике ни выходящей из ряда гениальности, ни особенной тупости. Я выбрал его между дюжинными умами, чтобы показать, насколько воспитание сильно над человеком. Все редкие случаи стоят вне правил. Итак, если Эмиль благодаря моим заботам предпочитает свой способ жить, видеть, чувствовать способу других людей, то он прав; но если он в силу этого считает себя натурой более возвышенной, счастливее, чем они, одаренной, он не прав — он ошибается: нужно вывести его из заблуждения или, скорее, предупредить последнее, из опасения, чтобы потом не слишком поздно было искоренять его.

Нет безрассудства, от которого нельзя было бы исцелить не сошедшего с ума человека, за исключением тщеславия; что касается последнего, то его ничто не может искоренить, кроме опыта, если только можно его искоренить; но если оно только что зародилось, можно помешать, по крайней мере, его росту. Не тратьтесь поэтому на прекрасные рассуждения с целью доказать юноше, что он такой же человек, как и прочие, и подвержен тем же слабостям. Пусть лучше он *почувствует* это; иначе он никогда не будет этого знать. Здесь опять — исключение из моих собственных правил: пусть воспитаник мой сам испытает все случайности, которые могут доказать ему, что он не мудрее нас. Приключение с фокусником можно повторить на тысячу ладов: я предоставляю льстецам извлечь из него всевозмож-

ные выгоды: если вертопрахи завлекут его в какое-нибудь сумасбродство, я оставлю его на произвол судьбы; если шулеры завлекут его в игру, я отдам его в руки им, чтобы они его надули *, я предоставляю им льстить, обирать, обкрадывать; а когда, опустошив его карманы, они, наконец, осмеют его, я еще поблагодарю их, в его присутствии, за уроки, которые они соблаговолили дать ему. Единственные сети, от которых я старательно буду предохранять его, — это сети продажных женщин. Единственная пощада, которую я окажу ему, будет состоять в том, что я и сам буду разделять все опасности, которым подвергну его, и все оскорбления, которые придется ему вынести. Я буду сносить все молча, без жалоб, без упреков, не говоря ему ни слова, — и будьте уверены, что, при такой сдержанности, строго проведенной, все, что на глазах у него я из-за него выстрадаю, произведет на его сердце больше впечатления, нежели выстраданное им самим.

Я не могу не вспомнить здесь того ложного понятия о достоинстве, когда воспитатели, чтоб играть глупую роль мудрецов, унижают своих воспитанников, нарочно обходятся с ними, как с детьми, и стараются отличиться от них во всем, что ни заставляют их делать. Вместо того чтоб убивать подобным образом юное мужество, прилагайте все старание, чтобы поднять юный дух; делайте их равными себе, чтоб они действительно сравнялись с вами; а если они не могут еще подняться до вас, то снизойдите до них — без стыда, без сомнений. Помните, что честь ваша заключается не в вас, а в вашем воспитаннике; разделяйте его ошибки — с целью исправления их; принимайте на себя его стыд, чтобы загладить его; подражайте тому храброму римлянину, который, видя, что его армия бежит, и не будучи в состоянии остановить ее, пустился бежать во главе своих сол-

* Впрочем, воспитанника нашего не легко поймать в эту западню: его окружает столько развлечений, он всю жизнь не скучал и едва знает, на что пригодны деньги. Так как двигателями, с помощью которых ведут детей, бывают интерес и тщеславие, то эти же две пружины служат плутам и продажным женщинам и для того, чтобы впоследствии забирать их в свои руки. Когда вы видите, как возбуждают их алчность призами, наградами, когда видите, как в десять лет аплодируют им на публичном акте в коллеже, то вам легко представить, как в двадцать лет заставят их в игорном доме расстаться с кошельком своим или в публичном доме со своим здоровьем. Можно всегда держать пари, что самый ученый в классе будет потом самым большим игроком и развратником. А средства, которыми не пользовались в детстве, не поведут и в юности к таким же злоупотреблениям. Впрочем, нужно помнить, что в подобных случаях я держусь постоянного правила предполагать самые дурные последствия. Я стараюсь прежде всего предупредить порок; а затем я предполагаю его — чтобы искоренить.

дат, восклицая: «Они не бегут, они следуют за своим полководцем» ⁵³. Опозорил ли он себя этим? Нисколько: жертвуя подобным образом своей славой, он увеличил ее. Сила долга, красота добродетели вызывают невольную похвалу и перевертывают вверх дном наши нелепые предрассудки. Если бы я получил пощечину при исполнении своих обязанностей относительно Эмиля, я не только не мстил бы за эту пощечину, но хвалился бы ею перед всеми, и не думаю, чтобы нашелся в мире человек, настолько низкий *, что не стал бы меня за это еще более уважать.

Это не значит, что воспитанник должен предполагать в наставнике такую же ограниченность сведений, как и у себя, и такую же легкость увлечения. Это убеждение хорошо в ребенке, который, не умея ничего ни видеть, ни сопоставлять, всех приравнивает к себе и оказывает доверие лишь тем, кто умеет и в самом деле стать в уровень с ним. Но молодой человек таких лет, как Эмиль, и такой же рассудительный, как он, не настолько уже глуп, чтобы впасть в подобный обман, да и нехорошо, если бы это случилось. Доверие его к воспитателю должно быть иного рода: оно должно основываться на авторитете разума, на превосходстве познаний — на преимуществах, которые молодой человек в состоянии оценить и в которых он видит для себя пользу. Долгий опыт убедил его, что он любим своим руководителем, что руководитель этот — человек умный, просвещенный, желающий ему счастья и знающий, что может доставить его. Он должен знать, что для собственной выгоды ему следует слушаться его советов. А если бы наставник позволял обманывать себя, как ученика, он потерял бы право требовать от него уважения и преподавать ему наставления. Еще менее воспитанник должен предполагать, что наставник нарочно позволяет ему попадать в ловушки и расставлять сети его простоте. Что же нужно делать, чтоб избежать одновременно того и другого неудобства? То, что всего лучше и всего естественнее: быть простым и правдивым, как он, предупреждать об опасностях, которым он подвергается, указывать на них ясно, осязательно, но без преувеличения, без недовольства, без педантических выхонок, в особенности — не выдавая советов за приказания, пока они не станут приказаниями и пока этот повелительный тон не сделается решительно необходимым. Если он заупрямится и после этого — как это часто и будет случаться, — то прекратите всякие разговоры: оставьте его на свободе, следуйте за ним, подражайте ему, и все это — весело, чистосердечно; увлекайтесь, забавляйтесь, как и он, если это возможно. Если последствия стано-

* Я ошибался; такого человека я открыл: это Формей.

вятся слишком серьезными, вы всегда тут, чтоб остановить его; а между тем молодой человек, будучи свидетелем вашей предусмотрительности и вашей снисходительности, как будет поражен одной и тронут другой! Все его ошибки — это узы, которые он дает вам, чтобы вы могли задержать его в случае нужды. А высшее искусство наставника состоит здесь в том, чтобы вызвать случаи и так направлять увещания, чтобы заранее знать, когда молодой человек уступит и когда будет упрямиться, чтобы всюду окружать его уроками опыта, не подвергая никогда слишком большим опасностям.

Предупреждайте его об ошибках прежде, чем он их сделает; когда он сделал, не упрекайте его — вы этим только подзадорили бы и разожгли его самолюбие. Урок, который возмущает, не идет впрок. Я ничего не знаю глупее фразы: «Ведь я говорил тебе». Лучший способ заставить его помнить, что ему сказано, — это сделать вид, что вы забыли об этом. И наоборот, если вы видите его сконфуженным тем, что он не поверил вам, то кротко, добрыми словами постарайтесь изгладить это унижение. Он, наверное, привяжется к вам, видя, что из-за него вы забываете себя и вместо того, чтоб окончательно подавить его, утешаете. Но, если к его огорчению вы присоедините упреки, он возненавидит вас и поставит себе законом не слушаться вас, как бы в доказательство того, что он иного, чем вы, мнения о важности ваших советов.

Способ, каким вы утешаете его, может также служить для него наставлением, тем более полезным, что он будет вам доверять. Если вы, положим, говорите ему, что тысячи других людей делают те же ошибки, то вы караете его; ибо, кто ценит себя выше прочих людей, для того крайне обидно утешаться их примером; это значит понимать, что самое большее, на что он может претендовать, — это лишь не уступать им.

Пора ошибок есть вместе с тем и пора басен. Причисляя виновного под чужой маской, можно поучать его, не задевая самолюбия; он поймет, что правоучительная басня не ложь, применив к себе заключенную в ней истину. Ребенок, которого никогда не обманывали похвалами, ничего не поймет в басне, которую я выше разбирал, но вертопрах, только что обманутый льстецом, отлично поймет, что ворон был лишь глупцом. Таким образом из факта он извлекает правило; и опыт, который он скоро забыл бы, запечатлевается, с помощью басни, в уме его. Нет нравственного урока, который нельзя было бы получить путем чужого или своего собственного опыта. В случае, если опыт этот опасен, вместо того чтобы производить его самому, можно извлечь его из истории. Когда опыт не ведет к дурным последствиям, хорошо было бы, если бы молодой человек проделал его сам;

потом с помощью правоучительной басни можно частные случаи, ему известные, свести к правилам.

Однако я не хочу сказать, что эти правила должны быть подробно развиты или даже просто — изложены. Нет ничего бесполезнее той морали, которою заканчивается большинство басен; как будто эта мораль не выражена или не должна быть выражена в самой басне вразумительным для читателя способом! Зачем же, приставляя в конце эту мораль, лишать читателя удовольствия самому находить ее? Искусство наставления заключается в том, чтобы сделать последнее приятным для ученика. А чтоб оно было приятно, ум его, когда вы говорите ему, не должен оставаться настолько пассивным ко всему, что вы ему говорите, чтобы ему не требовалось решительно никакого напряжения для понимания. Нужно, чтобы самолюбие наставника всегда давало место и его самолюбию: нужно, чтоб он мог сказать себе: «Я понимаю, я проникаю в смысл, я умею делать, я научился». Одной из вещей, делающих скучным Панталоне итальянской комедии, является его старание истолковать публике те плоскости, которые и без того слишком уже понятны. Я не хочу, чтобы воспитатель был Панталоне ⁵⁴, а тем менее — сочинителем. Нужно всегда быть понятным, но не нужно всегда говорить все; кто говорит все, тот мало скажет, так как под конец его уже не слушают. Какой смысл имеют те четыре стиха, которые Лафонтен приставляет к басне о надувающейся лягушке? Опасался ли он, что его не поймут? Неужели ему, такому великому живописцу, требуется подписывать названия под предметами, им нарисованными? Вместо того чтоб обобщать этим свою мораль, он придает ей частный характер, в некотором роде ограничивает ее приведенными примерами и мешает к другим примерам. Я желал бы, чтобы, прежде чем дать басни этого неподражаемого автора в руки молодому человеку, откинули все эти выводы, которыми он старается пояснить свой ясный и милый рассказ. Если воспитанник ваш не понимает басни без пояснения, то будьте уверены, что не поймет ее и с пояснениями.

Кроме того, важно было бы придать этим басням более дидактический характер, более соответствующий постепенному развитию чувств и познаний молодого человека. Что может быть бестолковее, как читать эту книгу подряд, страницу за страницей, не обращая внимания ни на потребность, ни на случай, — читать сначала о вороне, потом о стрекозе *, затем о лягушке, о двух мулах и т. д.? Мне особенно памятливы эти два мула, потому что я помню, как один

* Здесь нужно припять к сведению поправку Формея. Сначала о стрекозе, потом о вороне и т. д.

ребенок, которого воспитывали для финансовой карьеры и которому прожужжали уши толками о предстоящей ему должности, читал эту басню, заучивал, произносил, повторял сотни и сотни раз — и не мог никогда извлечь из нее ни малейшего возражения против ремесла, к которому его предназначали. Я не только никогда не видал, чтобы дети делали какое-нибудь путное применение из заученных ими басен, но не видал и того, чтобы кто-либо заботился заставить их сделать это применение. Предлогом для этого изучения выставляется нравственное наставление; но истинная цель матери и ребенка — занять последним все общество, пока он читает свои басни; потому-то он и забывает их все, когда подрастет, когда нужно будет не произносить их, а извлекать из них пользу. Еще раз скажу: поучаться в баснях дело взрослых людей, и вот для Эмиля пришло время начать это изучение.

Я издали указываю (ибо тоже не хочу говорить все) дороги, сбивающие с истинного пути, чтобы научить избегать их. Я думаю, что, следуя пути, который я наметил, воспитанник ваш самой дешевой, какая возможна, ценой приобретет познание людей и себя, что вы дадите ему полную возможность созерцать игру счастья, не завидуя любимцам его, и быть довольным собой, не считая себя более мудрым, чем другие. Вы уже сделали его актером — с целью сделать зрителем: нужно докончить дело, так как только из партера видишь предметы такими, какими они кажутся, а со сцены видишь их такими, каковы они в действительности. Чтоб объять целое, нужно встать вдали; а чтобы видеть детали, нужно подойти ближе. Но с какой стати молодому человеку вмешиваться в дела света? Какое право он имеет на посвящение в эти мрачные тайны? Поисками удовольствия ограничиваются интересы его возраста; он пока еще не располагает только самим собой; а это все равно, что ничем не располагать. Человек — самый дешевый из товаров, и между нашими, столь важными, правами собственности личное право всегда оказывается самым незначительным из всех.

Когда я вижу, что в годы наибольшей деятельности заставляют молодых людей ограничиваться занятиями чисто умозрительными, а потом они, без малейшей опасности, сразу пускаются в свет и в дела, то я нахожу, что тут столько же оскорбляют природу, сколько и разум, и не удивляюсь уже, что так мало людей, умеющих вести себя. Какой нужен странный склад ума, чтоб учить стольким бесполезным вещам, а искусство действовать — считать за ничто! Претендуют образовать нас для общества, а учат так, как будто каждый из нас должен проводить свою жизнь в одиноких думах, в своей келье или в беседах на разные вздорные темы с людьми, ничем не

заинтересованными. Вы думаете, что учите детей жить, если обучаете их разным кривляньям и условным фразам, ничего не обозначающим. Но ведь и я тоже учил Эмиля жить, ибо я научил его ладить с самим собою и, кроме того, зарабатывать себе хлеб. Но этого недостаточно. Чтобы жить в обществе, нужно уметь обходиться с людьми, нужно знать, какими способами можно действовать на них: нужно рассчитывать действие и противодействие частных интересов в гражданском обществе и так верно предвидеть события, чтобы редко обманываться в своих начинаниях или, по крайней мере, принимать всегда лучшие меры для успеха. Законы не позволяют молодым людям заниматься своими собственными делами и располагать своим имуществом; но к чему служили бы эти меры предосторожности, если бы, до установленного законом возраста, они не могли приобрести никакой опытности? Они ничего не выиграли бы от этого ожидания и в 25 лет были бы такими же новичками в деле, как в 15 лет. Без сомнения, нужно помешать, чтобы молодой человек, ослепленный своим невежеством или обманутый страстями, не причинил сам себе зла; но быть благотворительным во всяком возрасте позволено; во всяком возрасте можно покровительствовать под руководством умного человека несчастным, которые нуждаются только в поддержке.

Кормилицы, матери привязываются к детям благодаря попечениям, которыми они окружают их; а упражнение в добродетелях общественных внедряет в сердца любовь к человечеству: делая добро, можно сделаться добрым; я не знаю способа более верного. Пусть ваш воспитанник занимается всеми добрыми делами, ему поспільными; пусть интересы неимущих будут всегда его личными интересами; пусть он им помогает не только кошельком, но и своими заботами; пусть он оказывает им услуги, покровительство, пусть жертвует им собою и своим временем; пусть делается ходатаем по их делам — во всю жизнь ему не придется исполнять столь благородную роль. Сколько угнетенных, которых не стали бы даже слушать, добьются справедливости, если он станет просить за них с той неустрашимой твердостью, которую дает привычка к добродетели, если он будет осаждать двери вельмож и богачей, если он, в случае нужды, доведет даже до трона голос несчастных, которым нищета заперла все входы и которых опасение быть наказанными за зло, им самим причиненное, лишает даже смелости жаловаться!

Но неужели мы сделаем из Эмиля странствующего рыцаря, защитника угнетенных, паладина? Неужели он станет вмешиваться в общественные дела, играть роль мудреца и блюстителя законов перед вельможами, перед должностными лицами, перед государем, ра-

зыгрывать роль ходатая у судей и адвоката в судах? Я ничего не знаю об этом. Забавные и смешные имена несколько не изменяют сущности вещей. Он будет делать все, что считает полезным и хорошим. Больше ничего он не будет делать, а он знает, что полезно и хорошо для него только то, что прилично его возрасту. Он знает, что первая обязанность его относится к собственной его личности, что молодые люди должны не слишком полагаться на себя, быть осмотрительными в поведении, почтительными перед людьми старшими, сдержанными и молчаливыми в пустых разговорах, скромными в вещах неважных, но смелыми на дела хорошие и мужественными при высказывании правды. Таковыми были те знаменитые римляне, которые, прежде чем получить доступ к должностям, проводили свою юность в преследовании преступлений и защите невинности, не имея иного интереса, кроме самообразования, путем служения справедливости и покровительства доброй нравственности.

Эмиль не любит ни шума, ни ссор, не только между людьми *, но даже между животными. Он никогда не раззадоривал до драки двух собак, никогда кошку не травил собакой. Этот дух мира есть результат его воспитания, которое, не давая никогда пищи его са-

* Но если его самого вызовут на ссору, как он будет вести себя? На это я скажу, что у него никогда не будет ссоры, что он никогда не позволит завлечь себя в ссору. Но, наконец, скажут, кто же обеспечен от пощечины или обвинения во лжи со стороны грубияна, пьяного человека или дерзкого плута, который, чтобы иметь удовольствие убить человека, сначала опозоривает его? Это другое дело: не следует, чтобы честь или жизнь граждан была в зависимости от грубияна, пьяницы или дерзкого плута, а от подобной случайности так же нельзя уберечься, как от падения на голову череницы. Полученная пощечина и нанесенное оскорбление ведут к таким последствиям гражданского характера, которых не может предвидеть никакая мудрость и вознаградить за которые не может никакой суд. Бессилие законов возвращает, следовательно, оскорбленному его независимость; он в этом случае единственный судья, единственный посредник между обидчиком и собою: он один является истолкователем и исполнителем естественного закона; он должен удовлетворить себя за обиду; он один может это сделать; нет на земле правительства настолько неразумного, чтобы оно стало наказывать его за это в подобном случае. Я не говорю, что он должен идти драться, — это было бы нелепостью; я говорю, что он должен удовлетворить себя за обиду и что он один имеет на это право. Если бы я был государем, то — ручаюсь — без всей этой массы тщетных указов против дуэлей я вывел бы в своем государстве всякие пощечины и оскорбления, и притом очень простым способом, без всякого вмешательства судов. Как бы то ни было, Эмиль знает, как в подобном случае расправиться за свою обиду и какой пример он должен подать для обеспечения безопасности честных людей. Самый твердый человек не в силах помешать другим оскорбить его, но от него зависит помешать обидчику долго хвастаться нанесенным оскорблением.

моллюбию и самомнению, приучало его искать удовольствий не в господстве или несчастии другого. Он страдает, видя страдания, — это естественное чувство. Причиной того, что молодой человек ожесточается и находит удовольствие смотреть на мучения существа чувствующего, бывает приступ тщеславия, заставляющий его считать себя изъятим от подобных страданий, благодаря своей мудрости или своему превосходству. Кого предохранили от такого склада ума, тот не может впасть в порок, вытекающий из этого склада. Итак, Эмиль любит мир. Картина счастья ласкает его взоры, и, если он может содействовать ему, это для него является новым поводом принять в нем участие. Я не хотел сказать, что вид несчастных возбуждает в нем только ту бесплодную и жестокую жалость, которая довольствуется соболезнованием, хотя могла бы избавить от страданий. Деятельная благотворительность скоро даст ему познания, которых, при сердце более жестоком, он не приобретал бы или приобрел бы гораздо позднее. Если он видит несогласие между своими товарищами, он старается примирить их; если он видит огорченных, он расспрашивает о причине горя; если видит, как один ненавидит другого, старается узнать причину этой вражды; если видит, как угнетенный стонет от притеснений человека сильного и богатого, старается разыскать, какими уловками тот прикрывает свои притеснения; и благодаря участию, которое он принимает в этих несчастных, он никогда не остается равнодушным к средствам устранить их бедствия. Итак, что же нам делать, чтоб употребить эти склонности с пользой и соответственным его летам образом? Нужно направлять его заботы и познания и пользоваться усердием его для расширения их.

Я не перестаю повторять: облакайте все ваши уроки молодым людям в форму поступков, а не речей; пусть они не учат по книгам того, чему может научить их опыт. Какая нелепая задача — упражнять их в искусстве говорить без всякого намерения что-либо сказать; давать чувствовать энергию языка страстей и всю силу искусства убеждать — на школьной скамье, когда у них нет никакого интереса кого-нибудь и в чем-нибудь убеждать! Все правила риторики кажутся лишь пустою болтовней тому, кто не знает, как применить их в свою пользу. Для чего знать ученику, каким способом Ганнибал склонял солдат к переходу через Альпы? Если бы вместо этих великолепных речей вы показали ему, как он должен приняться за дело, чтоб убедить своего надзирателя дать ему отпуск, будьте уверены, что он внимательнее отнесся бы к вашим правилам.

Если б я захотел преподавать риторику молодому человеку, у которого все страсти уже развились, то я представлял бы ему беспре-

станно предметы, способные польстить его страстям, и исследовал бы вместе с ним, каким языком он должен говорить с другими людьми, если хочет принудить их благоприятствовать его желаниям. Но Эмиль мой находится в положении не столь выгодном для ораторского искусства; ограничиваясь почти одними физическими потребностями, он менее нуждается в других, чем другие в нем; а так как ему нечего просить у них для себя самого, то вещь, в которой он хочет убедить, не настолько его трогает, чтоб он стал чрезмерно волноваться. Отсюда следует, что речь его будет вообще проста и бедна образами. Слова он употребляет обыкновенно в собственном смысле и только для того, чтобы его поняли. Он мало говорит сентенциями, потому что не научился обобщать своих идей; у него мало образов, потому что он редко бывает страстен.

Это не значит, однако, чтобы он был совершенно флегматичным и равнодушным; этого не допускают ни лета его, ни нравы, ни вкусы; в годы пылкой юности живительные соки, задерживаемые и перегоняемые в крови, придают его молодому сердцу жар, который блесит в его взорах, чувствуется в речах, замечается в поступках. Речь его получила выразительность, а порой в ней слышится и пылкость. Благородное чувство, ее внушающее, придает ей силу и возвышенность; проникнутый нежною любовью к человечеству, он в словах передает движение души своей; в смелой его откровенности заключается нечто более пленительное, чем в искусственном красноречии других, или, лучше сказать, один он истинно красноречив, потому что ему стоит лишь показать, что он чувствует, — и он уже сообщает свои чувства слушателям.

Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что если практиковаться подобным образом в добрых делах, извлекать из удач или неудач размышления о причине их, то мало окажется полезных познаний, которых нельзя было бы принять в уме молодого человека, и что вдобавок ко всем истинным знаниям, которые можно приобрести в школах, он приобретет, кроме того, еще более важное знание, именно умение применять приобретенное к потребностям жизни. Невозможно, чтобы, принимая столько участия в ближних, он с ранних пор не научился взвешивать и оценивать их действия, вкусы, удовольствия и вообще давать тому, что может содействовать или вредить людскому счастью, оценку более правильную, чем это могли бы сделать те, которые, ни в ком не принимая участия, ничего никогда не делали для другого. Кто всегда занят только собственными делами, тот становится слишком пристрастным и не может здраво судить о вещах. Относя все к себе одному и собственною выгодой регулируя свои понятия о добре и зле, он наполняет ум свой

тысячью смешных предрассудков и во всем, что приносит малейший вред его интересам, тотчас видит гибель всей Вселенной.

Распространим свое самолюбие на другие существа — таким путем мы превратим его в добродетель, и нет человеческого сердца, в котором эта добродетель не имела бы корня. Чем менее предмет наших забот касается непосредственно нас самих, тем менее приходится бояться обольщения личным интересом; чем больше обобщается этот интерес, тем больше в нем справедливости, а наша любовь к человеческому роду есть не что иное, как любовь к справедливости.

Итак, если мы хотим, чтоб Эмиль любил правду, если хотим, чтоб он ее знал, то будем в делах всегда держать его далеко от личного его интереса. Чем более его заботы посвящены будут чужому счастью, тем просвещеннее они будут и мудрее и тем менее он будет ошибаться в оценке добра и зла; но никогда не допускайте в нем слепого предпочтения, основанного единственно на лицепрятии или несправедливом предубеждении. Да и зачем он стал бы одному вредить, чтобы услужить другому? Для него не важно, на чью долю выпадает больше счастья, — лишь бы содействовать наибольшему счастью всех; а в этом и состоит первый интерес мудреца, после личного интереса, ибо каждый есть часть своего рода, а не часть другого индивида.

Чтобы помешать состраданию выродиться в слабость, нужно, значит, обобщать его и распространять на весь род человеческий. Тогда мы предаемся ему лишь настолько, насколько оно согласуется со справедливостью, потому что из всех добродетелей справедливость наиболее содействует общему благу людей. В силу разума, в силу любви к себе нужно к роду людскому питать еще большее сострадание, чем к ближнему своему, и жалость к злым есть очень большая жестокость к людям.

Впрочем, нужно помнить, что все эти средства, которыми я отвлекаю моего воспитанника от интересов его личности, имеют все-таки прямое отношение и к нему — не только потому, что из них проистекает внутреннее наслаждение, но и потому, что, делая его благотворительным по отношению к другим, я тружусь над его собственным образованием.

Я сначала дал средства, а теперь показываю действие их. Какой широкий кругозор открывается мало-помалу в его голове! Какими возвышенными чувствованиями заглушается в его сердце зародыш мелких страстей! Какая отчетливость суждения, какая точность ума образуется в нем из его культивированных наклоностей, из опытности, которая сосредоточивает стремления великой души в тесных пределах возможного и ведет к тому, что человек, стоящий

выше других и не имеющий возможности поднять их до своего уровня, умеет сам спуститься к ним! В его разуме запечатлеваются истинные принципы справедливости, истинные образы прекрасного, все нравственные отношения живых существ, все идеи порядка; он видит место каждой вещи и причину, удаляющую ее от этого места; он видит, чем создается добро и что противодействует ему. Не испытав человеческих страстей, он знает уже обманы их и игру.

Я подвигаюсь вперед, увлекаемый силою вещей, но я не обманываюсь на счет мнения читателей. Они давно уже видят меня в стране химер; со своей стороны, я все время вижу их в области предрассудков. Расходясь так далеко с обычными мнениями, а не перестаю представлять их в своем уме; я их рассматриваю, размышляю о них — не для того, чтобы держаться или избегать их, но чтобы взвесить их на весах рассуждения. Всякий раз, как последнее заставляет меня уклоняться от них, наученный опытом, я уже совершенно уверен, что читатели не последуют за мной; я знаю, что, упорствуя в своем мнении, будто возможно лишь то, что они видят, они примут изображаемого мною молодого человека за существо воображаемое и фантастическое, потому что он отличается от тех, с которыми его сравнивают; им не приходит в голову, что он и должен отличаться: раз он воспитан иначе, раз его волнуют совершенно противоположные чувства, раз он получил совершенно не такое, как они, образование, было бы гораздо более удивительным, если бы он походил на них, а не таким был, каким я предполагаю. Это не человеческий человек; это человек природы. И конечно, он должен быть очень странным на их взгляд.

В начале этого сочинения я не предполагал ничего такого, чего не мог бы наблюдать и всякий другой так же хорошо, как и я, потому что исходный пункт — я разумею рождение человека — для всех нас одинаков; но чем более мы подвигаемся вперед, я — культивируя природу, вы — извращая ее, тем дальше мы удаляемся друг от друга. В шесть лет мой воспитанник мало отличался от ваших, которых вы не успели еще изуродовать; теперь в них нет ничего уже сходного; а в лета возмужалости, которые приближаются, он должен явиться в совершенно противоположном свете, если только заботы мои не пропали даром. Количество приобретений, быть может, почти равно с той и другой стороны, но самые приобретения совершенно не сходны между собою. Вы изумлены, что находите у первого высокие чувства, которых и в зародыше нет у вторых; но примите в расчет и то, что эти последние все бывают уже философами и богословами, прежде чем Эмиль узнает, что такое философия, и прежде чем он даже услышит о Боге.

Мне скажут: «Ни одно из ваших предположений не оправдывается на деле; молодые люди не так созданы; у них такие-то и такие-то страсти; они поступают так-то»; но говорить так, все равно, что уверять, будто груша никогда не бывает большим деревом, на том основании, что в садах своих мы видим только малорослые деревья.

Я прошу этих судей, столь поспешных в порицании, принять во внимание, что ведь все сказанное ими я так же хорошо знаю, как и они, что ведь, вероятно, я дольше их об этом размышлял и, не имея никакого интереса морочить их, имею право требовать, чтоб они приняли, по крайней мере, на себя труд поискать, в чем я ошибаюсь. Пусть они хорошо исследуют организацию человека, пусть проследят первые движения сердца при том или ином обстоятельстве, чтобы видеть, насколько один индивид под влиянием воспитания может разниться от другого, пусть они потом сопоставят мое воспитание с последствиями, которые я ему приписываю, и пусть скажут, в чем я неправильно рассуждал: тогда мне нечего будет ответить.

Мой сравнительно решительный тон несколько оправдывается, я думаю, тем обстоятельством, что я не только не увлекаюсь духом системы, но стараюсь по возможности меньше опираться на рассуждение и доверяю лишь наблюдению. Я основываюсь не на том, что вообразил себе, но на том, что видел. Правда, что я не ограничил своих опытов стенами одного города или одного класса людей; но зато, сравнив столько классов и народов, сколько я мог видеть в своей жизни, проведенной среди наблюдений, я отбросил как нечто искусственное то, что принадлежало одному народу и не принадлежало другому, что свойственно одному состоянию и не свойственно другому, и лишь то считал неоспоримо принадлежащим человеку, что свойственно всем, всякому возрасту, во всяком ранге и в какой бы то ни было нации.

А если вы будете по этой методе с детства следить за молодым человеком, который не будет отлит ни в какую особую форму и возможно меньше будет подчиняться авторитету и чужому мнению, на кого, думаете, он будет более всего походить — на моего воспитанника или на ваших? Вот какой, мне кажется, вопрос нужно решить, чтоб узнать, заблуждаюсь ли я.

Не легко человеку начинать мыслить, но как скоро он начал, он уже не перестает. Кто мыслил, тот всегда будет мыслить, и разум, раз предавшийся размышлению, не может уже оставаться в покое. Можно, значит, было бы подумать, что я требую или слишком много, или слишком малого, что ум человеческий от природы не так быстро раскрывается и что, приписав ему способности, которых у него

нет, я слишком долго держу его в круге идей, за который он должен бы был перешагнуть.

Но прежде всего примите во внимание, что, если желают сформировать человека природы, для этого вовсе не нужно создавать из него дикаря и ссылатъ его в глубь лесов, что раз он вращается в вихре общества, то достаточно, если он не позволяет увлекать себя ни страстям, ни людским мнениям, если он видит собственными глазами, чувствует собственным сердцем, если никакой авторитет не управляет им, кроме авторитета его собственного разума. При таком положении ясно, что масса предметов, на него действующих, частая смена чувствований, его волнующих, разнообразие средств для удовлетворения его действительных нужд должны дать ему множество идей, которых иначе он никогда не имел бы или приобретал бы гораздо медленнее. Естественное развитие ума ускорено, но не извращено. Один и тот же человек, который в лесах необходимо останется тупым, в городах должен сделаться умным и рассудительным, если будет здесь простым зрителем. Ничто так не содействует развитию ума, как безумия, которые видишь, но не разделяешь; и опять-таки даже, кто разделяет их, и тот научается, лишь бы он не обманывался насчет их и не увлекался заблуждением тех, которые совершают эти безумия.

Примите также в расчет, что раз способности наши заставляют нас ограничиваться вещами чувственно воспринимаемыми, то мы не оставляем почти никакого места абстрактным, философским понятиям и идеям чисто интеллектуальным. Чтобы возвыситься до них, мы должны или развязаться с телом, с которым так крепко связаны, или постепенно и медленно переходить от предмета к предмету, или, наконец, быстро и почти одним прыжком перескочить промежуток — совершить гигантский шаг, на который не способно детство, потому что даже и взрослым людям для этого нужно много ступенек, нарочно для них сделанных. Первая абстрактная идея есть первая из этих ступеней; но я никак не могу понять, каким образом решаются ее строить.

Непостижимое Существо, которое все обнимает, которое дает миру движение и образует всю систему существ, невидимо для наших глаз и неосвязаемо для наших рук; Оно не поддается ни одному из наших чувств: работа видна, но работающий скрыт. Не легкое дело узнать, наконец, что Оно существует; а когда мы дошли до этого знания, когда спрашиваем себя: каково Оно, где Оно? — ум наш смущается, теряется, и мы можем только — мыслить.

Локк хочет, чтобы начинали с изучения духа и потом переходили к изучению тела ⁵⁵. Метода эта — метода суеверия, предрассудков,

заблуждения; это — не метода разума и даже не метода природы, хорошо упорядоченной; это все равно, что зажимивать глаза с целью научиться видеть. Нужно долго изучать тела, чтобы составить себе истинное понятие о духах и предположить их существование. Противоположный порядок служит лишь к утверждению материализма.

Так как первыми орудиями наших познаний являются чувства, то непосредственно мы получаем понятие единственно о существах телесных и чувственно воспринимаемых. Слово *дух* не имеет никакого значения для того, кто не философствовал. Дух для простого народа и для детей есть не что иное, как тело. Воображают же они, что духи кричат, говорят, дерутся, производят шум! А нужно признаться, что духи, у которых есть руки и языки, очень похожи на тела. Вот почему все народы на свете, не исключая евреев, создавали себе телесных Богов. Мы сами при наших терминах «дух» и т. д. оказываемся большею частью настоящими антропоморфистами. Нас учат говорить, что Бог есть всюду; но мы также верим, что и воздух есть всюду, по крайней мере в нашей атмосфере; и самое слово *дух* по своему происхождению означает лишь дуновение, ветер. Раз людей приучают говорить слова без понимания их, после этого легко заставить их говорить все, что угодно.

Сознание нашего воздействия на другие тела должно было на первых порах внушать нам мысль, что они действуют на нас тем же способом, каким мы на них действуем. Таким образом, человек начал с того, что одушевил все предметы, действие которых чувствовал. Чувствуя себя менее сильным, чем большинство этих существ, и не зная пределов их могущества, он предположил, что оно безгранично, и создал из них богов, лишь только наделил их телами. В первые века люди, пугаясь всего, ничего не видели в природе мертвым. Идея материи требовала не меньше времени для своего образования, чем идея духа, потому что эта первая идея уже есть абстракция. Таким образом они наполнили Вселенную чувственно постигаемыми божествами. Светила, ветры, горы, реки, деревья, города, даже дома — все имело свою душу, своего Бога, свою жизнь. Идолы Лавана⁵⁶, маниту дикарей⁵⁷, фетиши негров, всякие произведения природы и рук человеческих были первыми божествами смертных; политеизм был первой их религией, идолопоклонство — первым культом. Они лишь тогда могли познать единого Бога, когда, обобщая все более и более свои идеи, стали способными восходить до первой причины, соединять целую систему существ в одну идею и придавать смысл слову *сущность*, которое, строго говоря, означает величайшую из абстракций. Следовательно, всякий ребенок, который верит

в бога, необходимо бывает идолопоклонником или, по крайней мере, антропоморфистом; а кто представил себе Бога воображением, тот очень редко постигает его разумением. Вот то именно заблуждение, к которому ведет принятый Локком порядок.

Дошедши, каким бы то ни было образом, до абстрактной идеи сущности, мы видим, что для признания единой сущности нужно предположить в ней свойства непримиримые, взаимно исключающие друг друга, такие, как мысль и пространство, из которых одно по существу делимо, а другое исключает собою всякое понятие о делимости. Кроме того, понятно, что мысль или, если хотите, чувствование, есть свойство первоначальное и неотделимое от сущности, которой оно принадлежит, и то же можно сказать и о протяжении по отношению к его сущности. Отсюда следует, что существа, теряющие одно из этих свойств, теряют и сущность, которой оно принадлежит, что, следовательно, смерть есть не что иное, как разделение сущностей, а существа, в которых эти два свойства соединены, состоят из двух сущностей, которым эти два свойства и принадлежат.

А теперь примите во внимание, какое расстояние остается еще между понятием о двух сущностях и понятием о божественной природе между непостижимой идеей воздействия нашей души на наше тело и идеей воздействия Божества на все существа. Каким образом идеи творения, совершенного уничтожения, вездесущности, вечности, всемогущества, идея свойств Божьих, все эти идеи, которые столь немногим людям представляются такими же смутными и темными, каковы они в действительности, и которые не заключают в себе ничего темного для простого народа, потому что он совершенно ничего тут не понимает, — каким образом эти идеи могли бы представиться во всей своей силе, т. е. во всей своей таинственности, юным умам, которые заняты пока еще первичною деятельностью чувств и постигают лишь то, чего касаются? Напрасно бездны бесконечного зияют всюду вокруг нас; ребенок не умеет пугаться их; его слабые глаза не могут измерить глубины их. Для детей все бесконечно; они ничему не умеют ставить пределов не потому, что у них слишком длинная мерка, а потому, что у них короток ум. Я даже заметил, что бесконечное для них скорее меньше, чем больше тех размеров, которые им известны. Неизмеримость пространства они станут оценивать скорее с помощью ног, чем при помощи зрения; оно будет для них простираться не за пределы зрения, а за пределы того, что можно пройти. Если им говорят о всемогуществе Бога, они сочтут Бога почти столь сильным, как их отец. Так как мерилом возможного служит для них собственное знание, то им во всякой вещи то, о чем говорят, представляется менее значитель-

ным, чем то, что они сами знают. Таковы естественные суждения при невежестве или ограниченности ума. Аякс побоялся бы помериться с Ахиллом, а Юпитера вызывает на бой, потому что знает Ахилла и не знает Юпитера. Один швейцарский крестьянин, который считал себя самым богатым из людей и которому старались объяснить, что такое король, с гордым видом спрашивал, может ли быть у короля сто коров в горах.

Я предвижу, сколь многие читатели будут изумлены тем, что, проследив весь первый возраст моего воспитанника, я ни разу не говорил ему о религии. В пятнадцать лет он не знал, есть ли у него душа: а быть может, даже в восемнадцать лет еще не время знать ему об этом; ибо если он узнает раньше, чем нужно, то представляется опасность, что он никогда не будет знать этого.

Если я хотел бы изобразить прискорбную тупость, я нарисовал бы педанта, обучающего детей катехизису. Мне возражат, что раз большинство христианских догматов суть тайны, то ожидать, пока ум человеческий станет способным постигать их, значит ожидать не того, когда ребенок станет взрослым человеком, но того, когда человек перестанет быть человеком. На это я отвечу прежде всего, что есть тайны, которые человеку невозможно не только постичь, но и представить в мысли; и я не вижу, что выигрывают, преподавая детям эти тайны, если не считать того, что их с ранних пор учат лгать. Кроме того, я сказал бы, что, допуская эти тайны, нужно понимать, по крайней мере, что они непостижимы; а дети даже не способны к этому пониманию. Для возраста, при котором все — тайна, не существует тайн в собственном смысле.

Чтобы быть спасенным, нужно верить в Бога. Плохое понимание этого догмата бывает основой кровавой нетерпимости и причиной всех тех бесплодных наставлений, которые наносят смертельный удар человеческому разуму, приучая его отделяться одними словами. Без сомнения, мы не должны терять ни одного момента, чтобы заслужить вечное спасение; но чтобы его получить, для этого недостаточно повторять известного рода слова.

Обязанность верить предполагает собою возможность. Философ, который не верит, виновен, потому что дурно пользуется своим развитым разумом и потому что он в состоянии понимать истины, им отвергаемые.

Но во что верует ребенок, исповедующий христианскую религию? Верует в то, что постигает; а он так мало постигает передаваемое ему, что, если вы скажете ему противоположное, он усвоит это с такой же охотой. Вера детей и многих взрослых обусловлена местожительством. Одному говорят, что Магомет — пророк божий, и

он повторяет, что Магомет — пророк божий; другому говорят, что Магомет — обманщик, и он повторяет, что Магомет — обманщик. Каждый из них утверждал бы то, что утверждает другой, если бы они оказались перемещенными один на место другого.

Когда ребенок говорит, что он верует в Бога, он не в Бога верит, а верит Петру или Якову, которые говорят ему, что существует нечто такое, что называют Богом. Он верит на манер Эврипида:

«О, Юпитер! Ничего ведь о тебе не знаю я, кроме имени» *.

Мы держимся учения, что ни одно дитя, умершее до разумного возраста, не будет лишено вечного блаженства; католики держатся того же учения по отношению ко всем детям, принявшим крещение, хотя бы они никогда не слышали о Боге. Есть, значит, случаи, когда можно спастись без веры в Бога; это те случаи, когда ум человеческий — будь то в детстве или в состоянии безумия — не способен к необходимым для познания Божества душевным движениям. Вся разница между мной и вами здесь в том, что, по-вашему, дети в семилетнем возрасте имеют эту способность, а я не признаю ее за ними даже в пятнадцать лет. Пусть я буду прав или не прав: ведь речь здесь идет не о догмате веры, а о простом естественном историческом наблюдении.

Следуя тому же принципу, становится ясно, что, если какой-нибудь человек дожил до старости, не веруя в Бога, он не будет из-за этого лишен его лицезрения в загробной жизни, если только ослепление его не было вольным, а я утверждаю, что это бывает не всегда. Вы ведь признаете в отношении безумных, что они лишаются своих умственных способностей вследствие болезни; но они же не лишаются своих человеческих свойств, а следовательно, не теряют права на благодеяния своего Создателя. Почему же не распространить этого права также на тех, кто, будучи с детских лет оторван от всякого общества, вел совершенно дикую жизнь, лишенную всякого просвещения, которое можно приобрести только при общении с людьми? ** Ибо уже доказана невозможность для такого дикаря когда-нибудь мысленно возвыситься до познания истинного Бога. Разум говорит нам, что человек подлежит наказанию лишь за ошибки, совершенные им по своей воле, а непреодоленное невежество не может быть вменено ему в преступление. Отсюда следует, что перед лицом вечной справедливости всякий человек, обладающий необхо-

* Плутарх. Трактат о любви. Так же начиналась прежде трагедия «Меланпп»⁵⁸; но народные крикуны в Афинах принудили Эврипида изменить это начало.

** Об естественном состоянии человеческого ума и о медлительности его развития см. первую часть «Рассуждения о неравенстве».

димым просвещением, мог бы поверить и считался бы верующим, а каре подлежали бы только люди, отвернувшиеся от веры, сердце которых закрыто для истины.

Остережемся возвещать истину тем, кто не в состоянии понять ее; ибо это значило бы подменять ее заблуждением. Лучше вовсе не иметь никакой идеи об истине, чем иметь идеи низшие, фантастичные, оскорбительные и недостойные ее. Не знать истину — меньшее зло, чем исказить ее.

«По-моему, пусть лучше думали бы, — говорит добрый Плутарх, — что никакого Плутарха не было на свете, лишь бы не говорили, что Плутарх был несправедливым — завистливым, жадным и таким тираном, что требовал больше, чем давал возможность сделать»⁵⁹.

Большим злом является то обстоятельство, что грубые представления о Божестве, запечатлеваемые в уме детей, остаются там на всю жизнь и что, став взрослыми, они не получают иного понятия о Боге, кроме полученного в детстве.

Я знал в Швейцарии одну добрую благочестивую мать семейства, которая настолько была убеждена в этом правиле, что не хотела наставлять своего сына в религии в первом возрасте жизни из опасения, чтобы, удовлетворившись этим грубым наставлением, он не пренебрег в разумном возрасте наставлениями лучшими. При ребенке этом о Боге говорили не иначе, как с глубоким благоговением, и, лишь только он сам начинал говорить, его заставляли замолчать, так как это предмет слишком высокий для него и слишком важный. Эта предосторожность подстрекала его любопытство; самолюбие его с нетерпением ждало момента, когда можно будет узнать эту тайну, так заботливо от него скрываемую. Чем меньше ему говорили о Боге, чем больше запрещали ему говорить о Нем самому, тем более он был занят этой мыслью: дитя это всюду видело Бога. И я боялся, как бы, чрезмерно разжигая воображение молодого человека этим видом тайны, столь неразумно затрагиваемой, не сбили его с толку и как бы вместо верующего не сделали из него в конце концов фанатика.

Но не следует бояться ничего подобного по отношению к Эмилю, который неизменно отказывается обращать внимание на все то, что выше его разума, и с глубоким равнодушием слушает о вещах, которых не понимает. Он так часто имел случай говорить: «это не мое дело», что один лишний случай не поставит его в затруднение; и если его начинают тревожить эти великие вопросы, то не потому, что он слышал о них, а потому, что естественный ход его умственного развития направляет его изыскания в эту именно сторону.

Мы видели, каким путем развившийся ум человеческий прибли-

жается к этим тайнам; и я не прочь утверждать, что естественным путем человек даже среди общества доходит до них не раньше зрелых лет. Но в том же самом обществе существуют неизбежные причины, ускоряющие развитие страстей; и если бы мы не ускоряли подобным же образом и роста познаний, служащих для урегулирования этих страстей, то мы поистине удалились бы от порядка природы, и равновесие было бы нарушено. Если мы не властны умерять излишнюю быстроту развития, то нам нужно с такою же быстротой вести вперед и то, что должно соответствовать ему, так чтобы порядок не нарушался, чтобы то, что должно идти вместе, не оказалось отделенным, чтобы человек был целым во все моменты своей жизни, а не проявлял себя в один момент одной из своих способностей, а в другой момент другими.

Какую трудность предстоит теперь мне преодолеть! Она тем более велика, что зависит не столько от природы вещей, сколько от малодушия тех, которые не отваживаются решить этот вопрос. Рискнем на первый раз, по крайней мере, предложить его. Ребенок должен быть воспитан в религии своего отца; ему всегда убедительно доказывают, что эта религия, какова бы она ни была, единственно истинная, что все другие — вздор и нелепость. Сила аргументов совершенно зависит от того пункта земли, где их предлагают. Пусть турок, который в Константинополе находит христианство столь смешным, посмотрит, как относятся к магометанству в Париже! В деле религии людское мнение особенно торжествует. Но мы, которые имеем притязание со всякой вещи сбрасывать ее иго, которые не желаем ничего уступить авторитету, не желаем преподавать нашему Эмилю ничего такого, чему он не мог бы научиться сам во всякой стране, — мы в какой религии станем его воспитывать? К какой секте присоединить нам человека природы? Ответ очень прост, мне кажется: мы не станем присоединять его ни к той, ни к другой, а дадим ему возможность выбрать ту, к которой должен привести его наилучшим образом направленный разум.

...Incedo per ignes
Suppositos cineridoloso ⁶⁰.

. Не беда: ревность и чистосердечие доселе заменяли мне благоразумие; надеюсь, что эти поручители не покинут меня при нужде. Читатели, не бойтесь услышать от меня предостережения, недостойные друга истины: я никогда не забуду своего девиза; но мне, конечно, позволительно не надеяться на свои суждения. Вместо того чтобы из своей головы высказывать здесь вам, что я думаю, я рас-

скажу, что думал один человек, стоивший больше меня. Я ручаюсь за истину фактов, которые будут сообщены: они действительно пережиты автором рукописи, которую я хочу переписать; ваше дело — видеть, можно ли из них извлечь размышления, полезные для предмета, о котором идет речь. Я не ставлю вам за образец чувствований другого или своих собственных: я вам предлагаю их для исследования.

«Тридцать лет тому назад один молодой человек, изгнанный из отечества, оказался в одном итальянском городе в крайней нищете. Родился он кальвинистом; но, по своей ветрености, очутившись изгнанником, в чужой стране, без средств, он переменил религию, чтобы найти пропитание. В этом городе был странноприемный дом для вновь обращенных: он был туда принят. Обучая его с помощью прений, в нем возбудили сомнения, которых раньше у него не было, и научили злу, которого он не знал: он услышал новые догматы, увидел еще более новые нравы, раз он увидел, он должен был стать их жертвой. Он хотел бежать — его заперли; он жаловался — его наказывали за жалобы; находясь во власти своих тиранов, он увидел, что с ним обходятся как с преступником вследствие того, что он не хотел поддаться преступлению. Кто знает, как впервые испытанное насилие и несправедливость раздражают неопытное юное сердце, тот легко представит его состояние. Слезы ярости текли из его очей, его душило негодование; он умолял небо и людей, вверял свою судьбу всем, и никем не был услышан. Он видел лишь презренную челядь, подчиненную бесчестному человеку, его оскорблявшему, или соучастников того же самого преступления, которые насмехались над его упорством и побуждали его последовать их примеру. Он пропал бы, если бы его не выручил один честный служитель церкви, который пришел по какому-то делу в странноприемный дом и нашел средство побеседовать с ним наедине. Служитель церкви был беден и во всех нуждался; но угнетенный в нем нуждался еще более; и вот он решился помочь его бегству, рискуя нажить себе опасного врага ⁶¹.

Вырвавшись от порока, чтобы вернуться к нищете, молодой человек безуспешно боролся со своею судьбою; один момент он думал, что одолел ее. При первом же луче счастья беды и покровитель были забыты. Скоро он был наказан за эту неблагодарность; все его надежды исчезли, и, как ни благоприятствовала ему юность, его романтические идеи портили все. Не имея ни достаточных талантов, ни ловкости, чтобы пробить себе легкий путь, не умея быть ни человеком умеренным, ни бездельником, он имел притязание на такую массу вещей, что не сумел ничего достигнуть. Впав в прежнюю нужду,

не имея ни хлеба, ни убежища, готовый умереть с голоду, он вспомнил о своем благодетеле.

Он вернулся, нашел его и был им хорошо принят: вид его напомнил церковнослужителю то доброе дело, которое он сделал; подобное воспоминание всегда радует душу. Человек этот был от природы гуманен, сострадателен; по своим горестям он чувствовал горести другого, и благосостояние не сделало черствым его сердца; наконец, уроки мудрости и просвещенная добродетель укрепили еще более его добрый нрав. Он встречает молодого человека, ищет ему ночлег, рекомендует его, разделяет с ним все необходимое, которого едва хватило на двоих. Он делает для него еще больше: наставляет его, утешает, научает трудному искусству терпеливо переносить злополучие. Люди с предрассудками! ожидали ли вы всего этого от священника, и притом в Италии?

Этот честный церковнослужитель был бедным савойским викарием, который вследствие одного юношеского приключения не поладил со своим епископом и перебрался через горы искать средств, которых не хватало на родине. Он был не лишен ума и образования и, при своей привлекательной наружности, нашел покровителей, которые поместили его к одному министру воспитателем его сына. Он бедность предпочитал зависимости и не знал, как нужно вести себя у вельмож. Недолго он оставался у этого последнего; покидая его, он не потерял уважения к себе и так как жил благоразумно и всем внушал любовь к себе, то льстил себя надеждою снова войти в милость у епископа и получить какой-нибудь небольшой приход в горах, чтобы провести там остаток дней своих. Таков был крайний предел его честолюбия.

Природная склонность заинтересовала его (юным беглецом) и заставила его старательно испытать последнего. Он увидел, что бедствия уже истомили его сердце, что позор и презрение сразили его мужество, что гордость его, превратившаяся в горькую досаду, заставляла его в людской несправедливости и жестокости видеть лишь природный порок и добродетель считать химерой. Юноша увидел, что религия служит лишь маской для личного интереса, а церковная обрядность — прикрытием для лицемерия; он увидел, что, при этой тонкости пустых словопрений, рай и ад оказываются возмездием за простую игру словами, что первоначальная высокая идея Божества искажена фантастичными представлениями людей, и, найдя, что для веры в Бога нужно отказаться от составленного о Нем суждения, с одинаковым пренебрежением стал относиться не только к нашим смешным мечтаниям, но и к предмету, к которому мы применяем их. Ничего не зная о том, что есть, не имея представления о

происхождении вещей, он погрузился в свое тупое невежество с глубоким презрением ко всем тем, которые думали, что знают об этом больше его.

Забвение всякой религии приводит к забвению человеческих обязанностей. Это падение уже более чем наполовину совершилось в сердце вольнодумца. Впрочем, он не был испорченным от рождения; но неверие, нищета, заглушая в нем мало-помалу все природное, быстро влекли его к гибели и развивали в нем нравы бездельника и мораль атеиста.

Зло, почти неизбежное, не дошло, однако, до конца. Молодой человек имел познания, и воспитание его не было заброшено. Он был в том счастливом возрасте, когда брожение крови начинает согревать душу, еще не подчиняя ее яростным порывам чувственности. Душа его сохраняла еще всю свою упругость. Врожденная стыдливость, робость характера заменяли скромность и продлили для него ту эпоху, в которой вы с такою заботливостью стараетесь удержать вашего воспитанника. Ненавистный пример грубой испорченности и неприкрытого очарованием порока вместо того, чтобы разжечь его воображение, потушил его. Долго вместо добродетели сохранению его невинности содействовало отвращение; чтобы увлечь его, для этого нужны были более заманчивые прелести.

Церковнослужитель видел опасность и средства предотвратить ее. Трудности его не испугали: он находил удовольствие в своей работе и решил закончить ее и вернуть в лоно добродетели жертву, вырванную у порока. Чтобы выполнить свой план, он издалека принялся за дело: величие мотива одушевляло его мужество и внушало ему средства, достойные его рвения. Каков бы ни был успех, он был уверен, что время у него не пропадет даром. Когда желают одного лишь — именно хорошо сделать дело, то всегда успевают.

И прежде всего он постарался приобрести доверие своего прозелита: он не продавал ему своих благодеяний, не надоедал ему, не читал поучений, а всегда старался примениться к нему и стать малым, чтобы уравниаться с ним. Это было, мне кажется, довольно трогательное зрелище; человек серьезный становился товарищем по веселью, добродетель применялась к тону распущенности, чтобы вернее восторжествовать над нею. Когда вертопрах открывался перед ним в своих безумиях и изливал ему свое сердце, священник слушал, ободрял его; не одобряя зла, он интересовался всем; ни разу строгое осуждение не останавливало болтовни юноши и сердечных его излияний, удовольствие высказаться увеличивалось тем удовольствием, которое он видел в своем слушателе. Таким-то образом он дал полное признание, сам того не замечая.

Изучив его чувствования и характер, священник ясно увидел, что, не будучи невеждой для своих лет, он забыл все то, что следовало бы знать, и что позор, до которого довела его судьба, заглушал в нем всякое истинное понимание добра и зла. Бывает такая степень огрубения, что душа лишается жизни и внутренний голос перестает быть слышным для того, кто думает лишь о своем питании. Чтобы избавить юного беднягу от нравственной смерти, которая была столь близка, он прежде всего старался пробудить в нем самолюбие и уважение к самому себе; он показывал перед ним более счастливое будущее в случае, если он хорошо употребит свои таланты; он разжигал в его сердце благородный пыл повествованием о прекрасных деяниях других людей; возбуждая удивление к совершившим эти деяния, он вызывал в нем желание совершить подобные же. Чтобы незаметно отвлечь его от праздной и бродячей жизни, он обязывал его составлять извлечения из избранных книг и, делая вид, что ему нужны эти извлечения, питал к нему благородное чувство признательности. Он наставлял его окольным путем, с помощью этих книг и помогал ему снова составить настолько хорошее мнение о самом себе, чтобы не считать себя существом, не пригодным ни на что доброе, и не делать себя презренным в своих собственных глазах.

Одна мелочь даст понятие о том, какое искусство употреблял этот благодетельный человек, чтобы незаметно поднять из бездны порока сердце своего ученика, не подавая ему вида, что он заботится о его наставлении. Церковнослужитель отличался такою общепризнанною честностью и таким умением распознавать людей, что многие лица предпочитали передавать свою милостыню через его руки, а не через руки богатых городских священников. Раз, когда ему дали некоторую сумму денег для раздачи бедным, молодой человек имел низость в качестве бедняка попросить себе эти деньги. «Нет, — сказал тот, — мы братья; вы принадлежите мне, а я должен из этого взноса не брать ни гроша для своего употребления». Затем он дал ему из своих собственных денег, сколько тот просил. Подобного рода уроки редко остаются без следа в сердцах молодых людей, не совсем еще испорченных.

Я перестаю говорить в третьем лице — это забота совершенно излишняя; ведь вы отлично понимаете, любезный согражданин, что этот несчастный беглец — я сам: думаю, что я настолько уже далек от своего юношеского распутства, что мне нечего бояться признания в нем, и рука, меня извлекающая, вполне заслуживает того, чтобы я ценою некоторого своего стыда хоть несколько почтил ее благодеяния.

Дольше всего меня поражала в частной жизни моего достойного

учителя эта добродетель без лицемерия, эта человечность без человеческих слабостей, постоянная прямота и простота речи и поведение, всегда согласное с этими речами. Я не видал, чтобы он беспокоился, ходят ли к вечерне те люди, которым он помогал, часто ли они исповедуются, говеют ли в назначенные дни, едят ли постное, или чтобы налагал на них другие подобные условия, без которых от ханжей, хоть умирай от нищеты, не дождешься никакой помощи.

Ободренный его замечаниями, вместо того чтобы выставить ему на глаза притворное рвение новообращенного, я не слишком скрывал от него свой образ мыслей и не видел, чтобы он приходил от него в особенное негодование. Иной раз я мог бы сказать себе: «Мое равнодушие к принятому мною вероисповеданию он терпит потому, что видит во мне такое же равнодушие и к той вере, в которой я родился; он знает, что мое пренебрежение не есть дело партии. Но что я должен был думать, когда он при мне иной раз одобрял догматы, противоположные догматам римской церкви, и, по-видимому, не очень уважительно относился ко всем ее обрядам? Я принял бы его за переодетого протестанта, если бы видел в нем меньше усердия к тем самым обрядам, которые он, казалось, довольно мало почитал; но, зная, что он и без свидетелей исполняет свои священнические обязанности так же пунктуально, как и на глазах публики, я не умел разрешить этих противоречий. За исключением того недостатка, который навлек на него некогда немилость епископа и от которого он не совсем еще исправился, жизнь его была образцовою, нравы безупречными, речи благопристойными и рассудительными. Живя с ним в самой душевной дружбе, я научался со дня на день все более и более его уважать; и так как все эти добрые свойства совершенно пленили мое сердце, то я с беспокойным любопытством ждал момента, когда узнаю, на каком принципе он основывал единообразие столь необычайной жизни».

Момент этот пришел не скоро. Прежде чем открыться перед своим учеником, он постарался вызвать к росту те семена разума и доброты, которые сеял в его душе. Труднее было искоренить во мне горделивую мизантропию, известного рода раздражение против богатей и счастливейцев мира, как будто они были таковыми за мой счет, как будто их мнимое счастье захватило и долю моего. Безумное тщеславие юности, которое противится унижению, питало во мне слишком большую склонность к этому гневному настроению, а самолюбие, которое старался пробудить во мне ментор мой, доводя меня до гордости, делало людей еще более низкими в моих глазах и к ненависти против них прибавляло презрение.

Не вступая в прямую борьбу с этою гордостью, он не давал ей

обратиться в жестокость душевную и, не лишая меня уважения к самому себе, старался сделать его менее презрительным по отношению к ближнему. Отодвигая от меня пустую внешность и показывая мне действительное зло, ею скрываемое, он учил меня оплакивать заблуждения мне подобных, сочувствовать их бедствиям и больше жалеть их, чем ненавидеть. Движимый состраданием к человеческим слабостям, вследствие глубокого сознания своих собственных, он всюду видел в людях жертву пороков, их собственных и чужих; он видел, что бедные стонут под игом богатых, а богачи под игом предубеждений. «Поверьте мне, — говорил он, — мечтания наши не только не скрывают наших бедствий, но увеличивают их, придавая цену тому, что не имеет цены, и делая нас чувствительными к тысяче ложных лишений, которых мы не чувствовали бы без них. Душевный мир состоит в презрении ко всему, что может его нарушить: больше всего дорожит жизнью тот, кто меньше всего умеет ею наслаждаться, и, кто больше всего алчет счастья, тот всегда самый несчастный.

«Ах, какие печальные картины! — воскликнул я с горечью. — Если от всего нужно отказаться, то для чего же мы родились? Если нужно презирать самое счастье, то кто же, наконец, умеет быть счастливым?» — «Да вот я», — отвечал однажды священник — тоном, который меня поразило. — «Счастливый — вы! Такой обездоленный, такой бедняк, изгнанный, преследуемый, — и вы счастливый! Как это могли вы стать счастливым?» — «Дитя мое, — возразил он, — я охотно расскажу вам это».

Затем он дал лишь понять, что, выслушав мои признания, он хотел поверить мне и свои тайны. «Я изолью перед вами, — говорил он, обнимая меня, — все чувствования моего сердца. Вы увидите меня, если не таким, каков я на деле, то по крайней мере таким, каким я вижу самого себя. Когда вы выслушаете мое полное исповедание веры, когда вы хорошо узнаете состояние моей души, вы будете знать, почему я считаю себя счастливым и что вам следует делать, если вы разделяете мой образ мыслей, для того, чтобы быть таким же счастливым. Но этих признаний в минуту не сделаешь; нужно время, чтобы изложить вам все мои мысли о жребии человека и об истинной цене жизни; выберем час и место, удобные для того, чтобы нам мирно предаться этой беседе».

Я выказал полную готовность слушать его. Свидание было назначено не позже, как на другой день утром. Он повел меня за город, на высокий холм, внизу которого протекала По; ее течение виднелось из плодоносных берегов, омываемых ею; вдали неизмеримая цепь Альп увенчивала пейзаж; лучи восходящего солнца озаряли уже равнины и, бросая на поля длинные тени деревьев, холмов, до-

мов, наполняли тысячью переливов света прекраснейшую картину, какая только поражала человеческий глаз. Можно было бы сказать, что природа выставляла напоказ нам все свое великолепие, чтобы дать нам предмет для беседы, и вот тут-то, насмотревшись молча на эти предметы, человек этот повел такую речь:

Исповедание веры савойского викария

«Дитя мое, не ожидайте от меня ни ученых речей, ни глубокомысленных рассуждений, я не великий философ и мало забочусь о том, чтобы быть им. Но у меня есть здравый смысл, и я люблю истину. Я не хочу ни спорить с вами, ни даже пытаться убедить вас; для меня достаточно изложить вам, что я думаю в простоте своего сердца. Следуйте в продолжение моей речи внушению вашего сердца — вот все, о чем я прошу вас. Если я ошибаюсь, то искренно; и этого достаточно, чтобы моя ошибка не вменялась мне в преступление; если вы тоже ошибаетесь, в этом не будет большой беды. Если же я думаю правильно, если у обоих нас есть разум и в наших интересах слушать его, то почему же вам не думать так же, как я?

Я родился бедняком, крестьянином, предназначенным по своему положению к тому, чтобы обрабатывать землю; почли за лучшее, чтобы я научился зарабатывать хлеб ремеслом священника, и нашли средство обучить меня. Конечно, и родители мои и я искали в этом не того, что хорошо, истинно, полезно, а лишь то, что нужно знать для того, чтобы быть посвященным. Я учился тому, чему хотели меня обучить; говорил то, что заставляли повторять; дал обязательство, как велели дать, — и сделался священником. Но я скоро почувствовал, что, обязываясь не быть мужчиною, я обещал больше, чем мог исполнить.

Нам говорят, что совесть — дело предрассудков; меж тем я по личному опыту знаю, что она упорно следует велению природы, наперекор всем людским законам. Как бы нам ни запрещали то или иное, совесть всегда слабо упрекает нас за то, что позволяет нам хорошо упорядоченная природа, а тем более за то, что она предписывает нам. Добрый юноша! она ничего еще не говорила вашим чувствам: живите дольше в том счастливом состоянии, когда ее голосом бывает голос невинности. Помните, что гораздо больше грешат против природы, когда предупреждают ее, нежели когда борются с нею; чтобы знать, когда не преступно уступать ей, для этого нужно прежде научиться оказывать ей сопротивление.

С самой юности я почитал брак как первое и священнейшее

установление природы. Отнявши у себя право на брачную жизнь, я решил ни в каком случае не осквернять этого права, так как, несмотря на мое школьное учение, я, ведя всегда однообразную и простую жизнь, сохранил в своем уме всю ясность первоначального света; правила мира нисколько не затемнили его, а бедность удаляла меня от искушений, подсказывающих софизмы порока.

Это именно решение меня и погубило; вследствие моего уважения к брачному ложу другого проступки мои остались без прикрытия. Пришлось искупить скандал: арестованный, отлученный, изгнанный, я гораздо долее был жертвою угрызений своей совести, нежели жертвою неводержанности своей, и имел возможность понять по упрекам, которые посыпались вслед за немилостью, что часто, стоит лишь отягчить свою вину, — и избежишь наказания.

Немного нужно подобных опытов, чтобы мыслящий ум пошел и дальше. Видя, как мои понятия о справедливости, честности и всех человеческих обязанностях опрокидываются вверх дном моими грустными наблюдениями, я каждый день терял какое-нибудь из своих прежних убеждений; а так как оставшихся у меня недостаточно было для составления из них самостоятельного целого, то я почувствовал, что ясность принципов мало-помалу затемняется в моем уме; я дошел наконец до того, что не знал больше, что думать, и очутился в том же положении, в каком вы теперь, с тою разницей, что мое неверие, как поздний плод более зрелого возраста, возникло с большими муками и труднее должно было поддаваться опровержению.

Я был в том состоянии неуверенности и сомнения, которым Декарт обуславливает поиск истины. Состояние это не может быть продолжительным; оно беспокойно и тягостно, и только интересы порока или лень души заставляют нас оставаться в нем. У меня сердце не было настолько испорчено, чтобы находить в нем удовольствие; а привычка к размышлению лучше всего сохраняется тогда, когда человек более доволен собою, чем своей судьбой.

И вот я размышлял о печальной участи смертных, посящихя по этому морю людских мнений без руля и компаса, по воле своих дурных страстей, без всякого иного руководителя, кроме неопытного кормчего, который не узнает дороги и не знает, откуда и куда плывет. Я говорил себе: «Я люблю истину, ищу ее и не могу разыскать; пусть мне укажут ее, и я буду крепко держаться ее: почему же ей нужно скрываться от рвущегося к ней сердца, созданного для поклонения ей?»

Хотя я часто испытывал большие бедствия, но никогда жизнь моя не была такой постоянно неприятной, как в это тревожное и то-скливое время, когда беспрестанно, переходя от сомнений к сомне-

ниям, из своих долгих размышлений о причине моего бытия и о законе моего нравственного поведения я выносил одну лишь неуверенность, неясность и противоречия.

Я не могу понять, каким образом можно быть систематичным и искренним скептиком. Такие философы или не существуют, или они самые несчастные из людей. Сомнение в вещах, которые надлежат знать нам, есть состояние, слишком насильственное для человеческого ума; он не может долго оставаться в нем и, помимо воли своей, так или иначе разрешает свои вопросы; он лучше хочет ошибаться, нежели ничему не верить.

Затруднение мое увеличивалось и тем обстоятельством, что, раз я принадлежу по рождению к церкви, которая разрешила все вопросы, которая не допускает никакого сомнения, то отвержение одного пункта заставляло меня отвергать и все остальное; невозможность принимать столь многие чуждые решения отклоняла меня и от тех, которые не были таковыми; говоря: «верь всему», мне не давали возможности верить чему бы то ни было, и я не знал, на чем остановиться.

Я обратился к философам, рылся в их книгах, разобрал различные их мнения; и я нашел, что все они горды, решительны в суждениях, догматичны, даже в своем мнимом скептицизме, всезнающи, но доказать ничего не могут и только издеваются друг над другом; и эта общая всем черта показалась мне единственной, в которой они все правы. Торжествующие, когда нападают, они бессильны при защите. Если вы станете взвешивать их доводы, то окажется, что они служат только для разрушения; если вы сочтете направление, окажется, что у каждого — свое; соглашаются они только для того, чтобы спорить; слушать их для меня не значило выйти из состояния неуверенности.

Я понял, что бессилие ума человеческого есть первая причина этого удивительного разнообразия мнений, а гордость — вторая причина. Мы не имеем мерки для этого необъятного механизма Вселенной; не можем вычислить его отношений; не знаем ни первых его законов, ни конечной причины; не знаем самих себя; не знакомы ни с природой своей, ни с нашим жизненным началом; едва ли знаем, простое существо человек или сложное: непроницаемые тайны окружают нас со всех сторон; они вне области наших чувств; мы думаем, что у нас достаточно разума для проникновения в них, а меж тем у нас только воображение. Каждый пролагает себе через этот воображаемый мир дорогу, которую считает хорошей, и никто не может знать, ведет ли его дорога к цели. Меж тем мы желаем во все проникнуть, все узнать. Одного только мы не умеем: не умеем оставаться

в неведении относительно того, что нельзя знать. Мы предпочитаем лучше решать наугад и верить в то, чего нет, чем сознаться, что всякий из нас способен видеть лишь то, что есть. Будучи ничтожной частью великого целого, границы которого от нас ускользают и которое Творец отдал в добычу нашим безумным спорам, мы настолько тщеславны, что желаем определить, что такое это целое само по себе и что такое по отношению к нему.

Если бы философы были в состоянии открыть истину, кто из них дорожил бы ею? Каждый хорошо знает, что его система лучше обоснована, чем другие; но он защищает ее, потому что она — его система. Нет ни одного между ними такого, который, дойдя до познания истины и лжи, не предпочел бы найденную им самим ложь истине, открытой другим. Где тот философ, который ради своей славы охотно не обманул бы человеческий род? Где тот, который в глубине своего сердца ставит себе иную цель, кроме желания отличиться? Лишь бы возвышаться над общим уровнем, лишь бы затмить блеск своих соперников — чего же больше ему требовать? Самое важное — это думать иначе, чем другие. Между верующими он — атеист, среди атеистов был бы верующим.

Из этих размышлений я прежде всего извлек ту пользу, что научился ограничивать свои изыскания тем, что непосредственно интересовало меня, оставаясь в глубоком неведении относительно всего остального и беспокоясь, даже при своем сомнении, лишь о тех вещах, которые мне важно было знать.

Я понял, кроме того, что философы, вместо того чтобы избавить меня от моих бесполезных сомнений, только умножали те, которые мучат меня, и не разрешат ни одного из них. Я взял поэтому иного руководителя и сказал себе: «Обратимся к внутреннему свету: он меньше запутает меня, чем те, или, по крайней мере, мое заблуждение будет моим собственным, и я, следуя за своими собственными иллюзиями, меньше принесу себе вреда, чем путаясь в их лжи».

Тогда, перебирая в уме различные мнения, поочередно увлекавшие меня с самого детства моего, я увидел, что хотя ни одно из них не было настолько очевидным, чтобы породить убеждение, но все они были в различной степени правдоподобны и что внутреннее чувство принимало или отвергало их не в одинаковой мере. После этого первого наблюдения, сопоставляя между собою, без предвзятых мыслей, все эти различные идеи, я понял, что первая и самая общая из них была вместе с тем самою простою и самою разумною и что стоит только предложить ее последнею, как она тотчас же заслужит всеобщее одобрение. Представьте себе всех ваших философов, древних и

современных, предварительно исчерпав все их странные системы, трактующие о силе, случайности, предопределении, необходимости, атомах, одушевленном мире, живой материи, всякого вида материализме, и после всех них знаменитого Кларка ⁶², который освещает мир, возвещая, наконец, о Существо существ и Подателе благ. С каким всеобщим удивлением, с каким единодушным восторгом была бы принята эта новая система, столь великая, столь утешительная и возвышенная, столь способная поднять душу, дать основу добродетели и в то же время поразительная, лучезарная, — простая система, в которой непостижимых для человеческого ума вещей меньше, мне кажется, числа абсурдов, встречаемых во всякой другой системе! Я говорил себе: «Неразрешимые возражения вызываются одинаково всеми системами, потому что ум человеческий слишком ограничен, чтобы разрешить их; значит, возражения эти опровергают не одну какую-нибудь систему по преимуществу. Но вот вопрос: какая разница между прямыми доказательствами? Эта единственная система, которая объясняет все, не должна ли быть предпочтена, если непонятного в ней не больше, чем в остальных?»

Итак, нося в душе вместо всякой философии любовь к истине и руководясь вместо всякой методы легким и простым правилом, избавляющим меня от бесплодной тонкости аргументов, я принимаюсь за исследование по этому правилу занимающих меня познаний, решив принять за очевидные все те, с которыми не могу не согласиться в глубине своего сердца, за истинные все те, которые покажутся мне имеющими необходимую связь с первыми, все же прочие оставить в области неизвестного, не отвергая и не принимая их, не мучась над выяснением их, если они не ведут ни к чему практически полезному.

Но кто я? какое имею право судить о вещах и чем определяются мои суждения? Если они вызваны и вынуждены впечатлениями, полученными мною, то я напрасно тружусь над этими изысканиями: они не произойдут или произойдут сами по себе, без всякого с моей стороны вмешательства, с целью направлять их. Нужно, значит, сначала обратить свои взоры на себя, чтобы ознакомиться с орудием, которым хочу пользоваться, и знать, в какой мере при пользовании им могу на него полагаться.

Я существую и имею чувства, посредством которых получаю впечатления. Вот первая истина, которая поражает меня и с которой я вынужден согласиться. Есть у меня собственное чувство своего бытия или я чувствую последнее только через ощущения? Вот мое первое сомнение, которое, при наличных данных, невозможно мне разрешить. Ибо, получая непрерывные ощущения, непосредственно или через память, как могу я знать, не есть ли это сознание моего «я»

нечто отдельное от этих самых ощущений и может ли оно быть независимым от них?

Мои ощущения происходят во мне, потому что они дают чувствовать мое существование; но причина их чужда мне, потому что они являются во мне независимо от меня, и не в моей власти ни вызвать их, ни уничтожить. Я, таким образом, ясно понимаю, что ощущение мое, которое во мне, и причина или предмет его, который вне меня, не одно и то же.

Следовательно, не только я существую, но существуют и другие существа, т. е. предметы моих ощущений. И если бы эти предметы были лишь идеями, все-таки несомненно, что эти идеи не я.

Все, что я чувствую вне себя и что действует на мои чувства, я называю материей; а все доли материи, которые я постигаю соединенными в отдельные существа, называю телами. Таким образом, все споры идеалистов и материалистов для меня не имеют никакого значения; их разграничения между внешностью и реальностью тел — чистые химеры.

И вот я совершенно так же уверен в существовании Вселенной, как в своем собственном. Затем я размышляю о предметах моих ощущений и, находя в себе способность сравнивать их, чувствую себя одаренным активной силой, о наличии которой раньше не знал.

Замечать — значит чувствовать; сравнивать — значит судить; судить и чувствовать не одно и то же. Через ощущение предметы представляются мне отдельными, изолированными, такими, каковы они в природе; через сравнение я их сдвигаю, перемежаю, так сказать, кладу один на другой, чтобы определить их различие или сходство и вообще все их отношения. Отличительная способность активного или разумного существа есть, по-моему, способность придавать смысл этому слову «есть». В существе, только чувственно воспринимающем, я напрасно искал бы этой разумной силы, которая налагает предмет на предмет и затем решает; этой силы я не найду в его природе. Это пассивное существо будет ощущать каждый предмет отдельно или даже ощущать совокупный предмет, составленный из двух, но, не обладая никакой силой, чтобы сложить их, никогда не будет сравнивать и не будет иметь о них суждения.

Видеть два предмета сразу не значит видеть их отношения или судить об их различиях; замечать несколько предметов, один вне других, не значит считать их. Я могу иметь в один и тот же момент представления о большой палке и о малой палке, не сравнивая их, не составляя суждения, что одна палка меньше другой, так же как могу

видеть сразу всю мою руку, не считая пальцев на ней *. Эти сравнительные идеи о б о л ь ш е м, м е н ь ш е м, так же как числовые идеи о б о д н о м, д в у х и т. д., не суть, конечно, ощущения, хотя ум мой и производит эти идеи только благодаря ощущениям.

Нам говорят, что чувствующее существо различает ощущения вследствие несходств этих самых ощущений; это требует пояснения. Когда ощущения различны, чувствующее существо различает их по этим различиям, когда же они сходны, оно различает их потому, что ощущает их одни вне других. А иначе как оно различало бы в одновременном ощущении два одинаковых предмета? Оно неизбежно смешало бы эти два предмета и приняло бы их за один и тот же, особенно если держаться той системы, которая утверждает, что сами представления о пространстве не имеют протяжения.

Когда два ощущения, подлежащие сравнению, восприняты, то впечатление произошло, каждый предмет воспринят чувством, оба предмета восприняты, но вследствие этого отношение их все-таки не стало еще воспринятым. Если бы суждение об этом отношении было лишь ощущением и исходило бы ко мне единственно от самого предмета, то суждения мои никогда меня не обманывали бы, потому что я всегда действительно чувствую то, что чувствую.

Почему же я обманываюсь насчет отношения между этими двумя палками, особенно если они лежат не параллельно? Почему я говорю, например, что маленькая палка равна трети большой, тогда как она равна только четверти? Почему изображение, т. е. ощущение, не соответствует своей модели, т. е. предмету? Потому что я активен, когда сужу, потому что процесс сравнения здесь ошибочен, потому что разумение мое, судящее об отношениях, примешивает свои заблуждения к истине ощущений, указывающих лишь на предметы.

Прибавьте сюда соображение, которое, я уверен, поразит вас, если вы вдумаетесь в него. Ведь если бы мы оставались совершенно пассивными при пользовании своими чувствами, то между ними не было бы никакого общения, и нам невозможно было бы узнать, что тело, которого мы касаемся, и предмет, который видим, — одно и то же. Тогда или вне себя мы ничего не видали бы, или для нас существовало бы пять чувственно постигаемых сущностей, подметить тождество которых мы не имели бы никакого средства.

Пусть дают то или иное название этой силе моего ума, сближающей и сравнивающей мои ощущения; пусть называют ее вниманием,

* Кондамин ⁶³ рассказывает в своих «Путешествиях» о народе, который умеет считать только до трех. В среде этого народа люди, имея руки, постоянно видели свои пальцы и все-таки не умеют считать до пяти.

размышлением, соображением или как хотят: все-таки остается истинным, что она — во мне, а не в вещах, что я один порождаю ее, хотя порождаю лишь благодаря впечатлению, производимому на меня предметами. Не будучи властным чувствовать или не чувствовать, я властен более или менее разбираться в том, что чувствую.

Значит, я не просто существо чувствующее и пассивное, а существо активное и разумное; и что бы там ни говорила философия, я смело буду претендовать на честь мышления. Я знаю только, что истина в вещах, а не в моем уме, судящем о вещах, и что, чем менее я влагаю своего в мои суждения о них, тем более я уверен, что приближаюсь к истине. Таким образом, мое правило доверять больше чувствованию, чем разуму, подтверждается самим разумом.

Удостоверившись, так сказать, в самом себе, я начинаю смотреть вне себя — и с некоторого рода трепетом вижу себя брошенным, потерянным в этой обширной Вселенной и как бы потонувшим в неизмеримости существ, совершенно не зная, что они такое по отношению друг к другу или по отношению ко мне. Я изучаю их, наблюдаю, и первый предмет, представляющийся мне для сравнения с ними, — это я сам.

Все, что я постигаю при помощи чувства, есть материя, и все существенные свойства материи я вывожу из чувственно воспринимаемых качеств, которые дают мне возможность замечать ее и неотделимы от нее. Я вижу ее то в движении, то в покое; отсюда я вывожу заключение, что ни покой, ни движение не существенны для нее; но движение, будучи действием, есть результат причины, так что покой есть лишь отсутствие ее. Если, следовательно, ничто не действует на материю, то она не движется, и уже в силу того, что она индифферентна к покою и движению, естественное для нее состояние — покой *.

Я замечаю в телах два рода движения: движение сообщенное и движение самопроизвольное или добровольное. При первом двигательная причина чужда движимому телу, а при втором она в нем самом. Отсюда я не стану заключать, что движение часов, например, произвольное; ибо, если бы ничто постороннее не действовало на пружину, то она не стремилась бы выпрямиться и не тянула бы сцепления колес. На том же основании я не стану приписывать само-

* Покой этот, если хотите, лишь относительный, но так как в движении мы наблюдаем большее или меньшее, то мы ясно постигаем один из двух крайних пределов, именно покой; мы так отчетливо его воспринимаем, что относительный покой склонны даже принять за абсолютный. А нельзя утверждать, что движение есть сущность материи, если ее можно постигать в покое.

произвольность жидким телам или даже огню, который делает тела текучими *.

Вы спросите меня, произвольны ли движения животных; я отвечу вам, что ничего об этом не знаю, но что аналогия говорит за утвердительный ответ. Вы спросите еще, как же я знаю, что существуют движения самопроизвольные: я вам отвечу, что я потому знаю, что чувствую это. Я хочу двинуть свою руку и двигаю, так что движение это не имеет иной непосредственной причины, кроме моей воли. Напрасно стали бы умствовать с целью уничтожить во мне это чувство; оно сильнее всякой очевидности; это все равно было бы, что доказать мне, что я не существую.

Если бы не было никакой самопроизвольности ни в действиях людей, ни в чем бы то ни было из того, что совершается на земле, то еще труднее было бы представить себе первую причину всякого движения. Что касается меня, я чувствую себя совершенно убежденным в том, что естественное состояние материи — быть в покое и что сама по себе она не имеет никакой силы действовать, так что, видя тело в движении, тотчас же решаю, что это тело одушевленное или что движение это ему сообщено. Мой ум совершенно отказывается допустить идею о неорганизованной материи, которая сама по себе двигалась бы или производила бы какое-нибудь действие.

Однако же эта видимая Вселенная есть материя — материя рассеянная и мертвая **, не имеющая в своем целом ни единства, ни организации, ни ощущения связи частей, присущего одушевленному телу, так как несомненно, что мы, будучи частями ее, совершенно не чувствуем себя в целом. Эта самая Вселенная находится в движении, и в ее движениях, определенных, однообразных, подчиненных постоянным законам, нет ничего общего с той свободой, которая обнаруживается в произвольных движениях человека и животных. Мир, значит, не есть огромное животное, которое движется само по себе; есть, значит, какая-то посторонняя для него причина его движений, которой я не замечаю; но внутреннее убеждение делает эту причину настолько для меня осязательной, что, раз я вижу движение солнца,

* Химики смотрят на флогистон, или элемент огня, как на нечто рассеянное, недвижимое и устойчивое в сложных телах, часть которых он составляет, так что лишь посторонние причины освобождают его, воссоединяют, приводят в движение и превращают в огонь ⁶¹.

** Я употребил все усилия, чтобы понять, что такое живая молекула, и не мог добиться цели. Идея материи, чувствующей и не имеющей чувств, кажется мне непонятной и противоречивой. Чтобы усвоить или отвергнуть эту идею, нужно было бы прежде всего понять ее, а я, признаюсь, не имел этого счастья.

я непременно представляю себе и силу, его толкающую, или, если земля вращается, то я чувствую и руку, ее вращающую.

Если допустить всеобщие законы, прямого отношения которых к материи я не вижу, то что я этим выиграю? Раз законы эти не реальные существа, не субстанции, то, значит, они имеют какую-нибудь другую основу, мне неизвестную. Опыт и наблюдения познакомили нас с законами движения; но законы эти определяют результат, не указывая причин; они недостаточны для объяснения системы мира и хода Вселенной. Декарт из игральных костей строил небо и землю; но дать первый толчок этим костям или пустить в ход свою центробежную силу он мог лишь при помощи вращательного движения. Ньютон открыл закон тяготения; но одно тяготение скоро превратило бы Вселенную в неподвижную массу; к этому закону пришлось присоединить метательную силу, чтобы заставить небесные тела описывать кривые. Пусть Декарт скажет нам, какой физический закон заставил вращаться его вихри; пусть Ньютон покажет нам руку, пустившую планеты по касательной к их орбитам.

Первые причины движения не в материи; она получает движение и передает его, но не производит. Чем более я наблюдаю действие и противодействие сил природы, действующих друг на друга, тем более я убеждаюсь, что, переходя от действий к действиям, все-таки приходится восходить до какой-нибудь воли, как первой причины; ибо предполагать бесконечное восхождение причин значит совершенно не предполагать причины. Одним словом, всякое движение, не произведенное другим движением, может произойти только от самопроизвольного, самостоятельного акта, тела неодушевленные действуют лишь благодаря движению, а без воли нет настоящего действия. Вот мой первый принцип. Я верю, следовательно, что воля двигает Вселенную и одушевляет природу. Вот мой первый догмат или первый член моей веры.

Каким образом воля производит физическое и телесное действие? Я ничего не знаю об этом; но я испытываю на себе, что она его действительно производит. Я хочу действовать — и действую; хочу двигать свое тело — и мое тело движется; но чтобы неодушевленное тело, находящееся в покое, само собою стало двигаться или производить движение, это непостижимо и беспримерно. Воля познается по своим действиям, а не по своей природе. Я знаю эту волю как двигательную причину; но понять, что такое материя, производящая движение, значило бы ясно представить себе следствие без причины т. е. не понять решительно ничего.

Постичь, каким образом воля моя приводит в движение мое тело, для меня так же невозможно, как понять, каким образом мои ощу-

щения действуют на мою душу. Я не знаю даже, почему одна из этих тайн показалась более объяснимой, чем другая. Что касается меня, то, будь я пассивным существом, будь активным, способ соединения двух сущностей мне в том и другом случае представляется решительно непонятным. Очень странно, что эта самая непостижимость и бывает исходным пунктом для слияния двух сущностей в одну, как будто отправления столь различных природ при одном субстрате лучше объясняются, чем при двух.

Догмат, который я только что установил, правда, темен, но в нем все-таки есть смысл и нет ничего противоречащего разуму или наблюдению; а можно ли сказать это о материализме? Не ясно ли, что если движение было существенным свойством материи, то оно было бы неотделимым от нее, всегда было бы равномерным, всегда одним и тем же в каждой частице материи; оно было бы неотъемлемым, не могло бы ни увеличиваться, ни уменьшаться, и мы не могли бы даже представить материю в покое? Когда мне говорят, что движение не присуще ей, но необходимо в ней, то хотят ввести меня в обман игрою слов, которые легче было бы опровергнуть, если бы в них было несколько больше смысла. Что-нибудь одно: или движение материи исходит от нее же самой — и тогда оно присуще ей, или оно происходит от посторонней причины — и тогда оно лишь настолько необходимо для материи, насколько действует на нее двигательная причина. Мы возвращаемся, значит, к первому затруднению.

Общие и абстрактные идеи бывают источником наибольших людских заблуждений; никогда жаргон метафизики не служил к открытию ни одной истины, он наполнил философию абсурдами, за которые бывает стыдно, если снять с них оболочку высокопарных слов. Скажите мне, друг мой, дают ли уму вашему какую-нибудь действительную идею, когда говорят вам о слепой силе, разлитой во всей природе. Думают сказать что-нибудь такими неопределенными словами, как: *универсальная сила, необходимо движение*, — и в сущности не говорят решительно ничего. Понятие о движении есть не что иное, как понятие о перемещении с места на место; не бывает движения без какого-либо направления; ибо индивидуальное существо не может сразу двигаться во все стороны. В какую же сторону необходимо движется материя? Вся ли материя в совокупности имеет однообразное движение, или каждый атом имеет свое особое движение? Сообразно с первой идеей целая Вселенная должна представлять твердую и неделимую массу; по второй идее она должна представлять лишь раздробленную и несвязную жидкость, при полной невозможности двум атомам когда-либо соединиться. В каком направлении будет происходить это общее движение всей

материи? По прямой ли линии или кругообразно, вверх или вниз, направо или налево? Если каждая частица материи имеет свое особое направление, какие же будут причины всех этих направлений и всех этих различий? Если каждый атом или частица материи только и вращались бы вокруг своего собственного центра, то ничто никогда не сдвинулось бы со своего места и не существовало бы сообщаемого движения; и опять-таки нужно, чтобы это круговое движение направлялось в определенную сторону. Приписывать материи движение в отвлеченном смысле — значит произносить ничего не обозначающие слова; а приписывать ей определенное движение — значит предполагать причину, которая определяет его. Чем больше я предполагаю особых сил, тем больше у меня новых причин, требующих объяснения, — и все-таки я не пахожу никакого общего двигателя, их направляющего. Я не только не могу представить себе никакого порядка в случайном стечении элементов, но не могу даже представить себе и борьбу их, и хаос Вселенной мне более непонятен, чем ее гармония. Я понимаю, что механизм мира может быть непостижим для человеческого ума; но раз человек берется объяснить его, он должен говорить вещи, понятные людям.

Если движимая материя указывает мне на волю, то материя, движимая по известным законам, указывает мне на разумение, — это мой второй догмат. Действие, сравнение, выбор суть операции существа активного и мыслящего; значит, такое существо есть. Где же вы видите его существование? скажите мне. Не только в небесах, которые вращаются, в светиле, которое светит нам, не только во мне самом, но и в овце, которая пасется, в птице, которая летает, в падающем камне, в листке, который несется по ветру.

Я сужу о мировом порядке, хотя и не знаю его цели, потому что, чтобы судить об этом порядке, для этого мне достаточно сравнивать части между собой, изучать их соединения и отношения, подмечать в них согласие. Я не знаю, для чего Вселенная существует; но я беспрестанно вижу, как она видоизменяется; я непрестанно замечаю внутреннее соотношение, в силу которого существа, ее составляющие, оказывают друг другу взаимную помощь. Я похож на человека, который в первый раз видит открытые часы и не перестает удивляться работе, хотя не знает употребления машины и не видал циферблата. «Я не знаю, — сказал бы он, — для чего пригодно целое; но я вижу, что здесь каждая штучка приноровлена к другим; в деталях работы я дивлюсь искусству работника и вполне уверен, что все эти колеса так согласно ходят ради какой-то общей цели, которой я не могу подметить».

Сопоставим частные цели, способы, всякого рода установленные

отношения, затем прислушаемся к внутреннему чувству; какой здравый ум может отвергать его свидетельство? Чьим непредубежденным взорам видимый порядок Вселенной не возвещает о Высшем Разумении? Сколько нужно нагромоздить софизмов, для того чтобы не признавать гармонию существ и изумительное содействие каждой частицы сохранению других? Пусть сколько хотят говорят мне о комбинациях и шансах; что за польза вам доводить меня до молчания, если вы не можете довести меня до убеждения? и как вы отнимете у меня невольное чувство, которое, помимо моей воли, всегда опровергает вас? Если организованные тела, прежде чем принять постоянные формы, входили на тысячу ладов в случайные между собой комбинации, если сначала образовались желудки без ртов, ноги без голов, кисти рук без рук и всякого вида несовершенные органы, которые погибли вследствие того, что не могли сохранять себя, то почему же ни одной из этих недоделанных проб нет уже на наших глазах? почему природа предписала себе, наконец, законы, которым сначала не была подчинена? Я не должен изумляться, если действие происходит, раз это возможно; и пусть малая вероятность случая наверстана будет количеством проб — я на это соглашаюсь. Однако же, если бы мне сказали, что типографские буквы, брошенные на удачу, дали в результате Э и е и д у в полном порядке, я не сделал бы шага, чтобы проверить, правда ли это. «Вы забываете, — скажут мне, — о количестве проб».

Но сколько же нужно предположить этих метаний, чтобы сделать комбинацию вероятною? Что касается меня, то, видя здесь всего одну пробу, я могу, поставив бесконечность против одного, биться об заклад, что эта комбинация не есть результат случайности. Прибавьте сюда, что комбинации и выпавшие случаи дают всегда в результате нечто однородное с соединяемыми элементами, что организация и жизнь не могут получиться в результате от проб атомов, что химик, комбинируя разнородные тела, не может заставить их чувствовать и мыслить в его тигле *.

Я читал Ньевентита ⁶⁸ с изумлением, и мне почти стыдно было за

* Кто бы поверил, если бы не было доказательств, что человеческое сумасбродство могло дойти и до этого пункта? Алат Лузитанский⁶⁵ уверял, что он видел маленького человечка, длиною с палец, заключенного в стакан и созданного с помощью алхимической науки Юлием Камиллом⁶⁶, этим вторым Прометеем. Парацельс⁶⁷ («О природе вещей») поучает, как производить этих маленьких людей, и утверждает, что пигмен, фавны, сатиры и нимфы порождены были с помощью химии. И в самом деле, я не вижу, что отныне остается нам делать для установления возможности этих фактов, как не уверять, что органическая материя не поддается жару огня и что молекулы ее могут сохранять жизнь и в калильной печи.

автора. Как могло этому человеку прийти в голову — составить книгу о чудесах природы, указывающих на мудрость Творца ее? Если бы книга была такою же огромной, как мир, и тогда она не исчерпала бы сюжета; а как скоро хотят вдаваться в подробности, самое великое чудо ускользает от внимания — я говорю о гармонии и согласии целого. Одно происхождение живых и организованных тел представляет уже пропасть для человеческого ума; непреодолимая преграда, которую природа поставила между видами, чтобы они не смешивались, с совершенною очевидностью выказывает ее намерения. Она не удовольствовалась установлением порядка, а приняла известные меры, чтобы ничто не могло его нарушать.

Нет во Вселенной существа, на которое нельзя было бы, с известной стороны, смотреть как на общий центр для всех других, вокруг которого они все сгруппированы, так что все взаимно являются целями и средствами одни для других. Ум путается и теряется в этой бесконечности отношений, из которых ни одно не запуталось и не потерялось в массе. Сколько нужно абсурдных предположений, чтобы вывести всю эту гармонию из слепого механизма материи, случайно приводимой в движение! Напрасно те, которые отрицают единство замысла, обнаруживающееся в отношениях всех частей этого великого целого, прикрывают свои нелепости абстракциями, координациями, общими принципами, всякими эмблематическими терминами: сколько бы они ни старались, я не могу постичь систему существ, подчиненных столь незыблемому порядку, без представления о разуме, устанавливающем этот порядок. Я не в силах верить, чтобы пассивная и мертвая материя могли произвести живые и чувствующие существа, чтобы слепая случайность могла произвести разумные существа, чтобы немнящее могло произвести существа, одаренные мышлением.

Итак, я верю, что мир управляется могущественною и мудрою волею; я это вижу или, скорее, чувствую это, и это мне важно знать. Но вечен ли этот мир или создан? едино ли начало вещей, или их два, или больше? какова природа их? Этого я не знаю — да и что за беда в этом незнании? По мере того как эти сведения станут для меня интересными, я буду стараться приобретать их; пока же я отказываюсь от праздных вопросов, которые могут волновать мое самолюбие, но бесполезны для моего поведения и превышают мой разум.

Не забывайте, что я не поучаю, а излагаю свой взгляд. Пусть материя будет вечной или созданной, пусть существует одно пассивное начало или пусть его вовсе не будет, остается все-таки несомненным, что целое едино и возвещает о едином разуме, ибо я не вижу ничего, что не занимало бы определенного места в одной и той же

системе и не содействовало бы одной и той же цели, т. е. сохранению целого в установленном порядке. Это Существо, проявляющее волю и мощь, активное само по себе,— Существо, каково бы, наконец, ни было, которое двигает Вселенную и дает всему порядок, я называю Богом. С этим наименованием я связываю идеи разума, могущества, воли, исчисленные мною выше, и идею благости, которая является необходимым их последствием; но я все-таки мало знаю Существо, которому приписал ее. Оно все так же скрывается от моих чувств и моего разума; чем больше я думаю о Нем, тем больше путаюсь. Я несомненно знаю, что оно существует, и существует само по себе; знаю, что мое существование подчинено его существованию и что все известные мне вещи находятся безусловно в том же положении. Я вижу Творца повсюду в Его творениях; я чувствую Его в себе, вижу Его всюду вокруг себя; но как скоро я хочу созерцать Его в нем самом, как только начинаю искать, где Он, кто Он, какая Его сущность, Он скрывается от меня, и мой смущенный ум ничего уже не видит.

Проникнутый мыслью о своем бессилии, я никогда не буду рассуждать о природе Божества, если только меня не принудят к этому мысли о Его отношениях ко мне. Рассуждения эти всегда дерзки; мудрый человек должен предаваться им лишь с трепетом и уверенностью, что он не создан для того, чтобы углубляться в них; ибо для Божества не столько оскорбительно, что о Нем не мыслят, сколько то, что о Нем мыслят дурно.

Открыв те из Его свойств, по которым я познаю Его существование, я возвращаюсь к себе и ищу, какое место я занимаю в порядке вещей, которым управляет Оно и который я могу изучать. По своим видовым признакам я бесспорно нахожусь на первом месте; ибо благодаря воле моей и орудиям, которые находятся в моем распоряжении для выполнения ее, у меня больше силы для того, чтобы действовать на все окружающие меня тела или чтобы подвергаться их действию или укрываться от него, смотря по желанию, чем у каждого из них для того, чтобы на меня действовать против моей воли, вследствие одного лишь физического импульса; а по разумению я один оказываюсь способным обзреть целое. Какое существо здесь, на земле, кроме человека, умеет наблюдать все другие, измерять, вычислять, предвидеть их движение, их действия и соединять, так сказать, чувство общего существования с чувством своего индивидуального существования? Что же тут смешного — думать, что все создано для меня, если я один умею все относить к себе?

Правда, значит, что человек — царь земли, им населяемой; ибо он не только укрощает животных, не только распоряжается стихия-

ми, благодаря своей изобретательности, но даже один только на земле и оказывается умеющим распоряжаться ими; он даже присваивает себе через созерцание самые светила, к которым не может приблизиться. Пусть мне покажут другое на земле животное, которое умеет пользоваться огнем и заставит восхищаться солнцем. Как! Я могу наблюдать, познавать существа и их отношения, могу чувствовать, что такое порядок, красота, добродетель, могу созерцать Вселенную, подняться до руки, ею управляющей, могу любить добро и творить его — и после этого мне равняться со зверями! Низкая душа! Это твоя мрачная философия делает тебя подобным зверям; или, скорее сказать, ты тщетно хочешь унижить себя: твой гений свидетельствует против твоих принципов, твое благожелательное сердце обличает твое же учение, и даже твое злоупотребление своими способностями, к твоей досаде, доказывает их превосходство.

Что же касается меня, то, не имея особой системы, которую приходилось бы защищать, я, человек простой и правдивый, не увлекаемый пристрастием к какой-нибудь партии, не добивающийся чести быть главою секты, довольный местом, куда поставил меня Бог, — я, после Бога, ничего не вижу лучше человеческого звания; и если бы мне предстояло выбрать себе место в ряду существ, что я мог бы выбрать лучшего, чем быть человеком?

Это размышление не столько вызывает гордость во мне, сколько трогает меня; ибо это мое положение не есть результат моего выбора и не было обусловлено заслугами существа, еще не существовавшего. Могу ли я, видя себя столь отличенным, не радоваться, что занимаю столь почетный пост, и не благословлять руку, поместившую меня здесь? Из первого же обращения к самому себе зарождается в моем сердце чувство признательности и благодарности к Творцу человеческого рода, а из этого чувства — первое чувство благоговения перед благодетельным Божеством. Я преклоняюсь перед высшим Всемогуществом, и меня умиляют Его благодеяния. Нет нужды учить меня этому поклонению: оно подсказано мне самой природой. Не является ли естественным следствием любви к себе почитание того, кто нам покровительствует, и любовь к тому, кто желает нам добра?

Но во что я обращаюсь, когда, чтобы узнать свое личное положение в человеческом роде, я затем рассматриваю различные ранги и людей, их занимающих? Какое зрелище! Куда девался порядок, который я наблюдал? Картина природы представляла мне лишь гармонию и соразмерность; картина рода людского представляет лишь смятение, беспорядок! Между стихиями царит согласие, а люди — в хаосе! Животные счастливы — один царь их несчастлив! О, муд-

рость, где твои законы? О, Провидение, так-то Ты правишь миром? Благое Существо, где Твое могущество? Я вижу на земле зло.

Поверите ли, мой добрый друг, что из этих печальных размышлений и этих кажущихся противоречий образовались в моем уме возвышенные идеи о душе, которые доселе не вытекали из моих изысканий? Размышляя о природе человека, я думал, что открыл в ней два различных начала: одно возвышало его до изучения вечных истин, до любви к справедливости и нравственно прекрасному, до областей духовного мира, созерцание которого составляет усладу мудреца; другое возвращало его вниз, к самому себе, покоряло его власти чувств, страстям, которые являются их слугами, и противодействовало, с помощью их, всему тому, что внушало ему первое начало. Чувствуя себя увлеченным, сбитым с пути этими двумя противоположными движениями, я говорил себе: «Нет, человек — не единое: я хочу — и я не хочу; я чувствую себя и рабом, и свободным; я вижу добро, люблю его — и делаю зло; я активен, когда слушаюсь разума, и пассивен, когда меня увлекают страсти: и самое горькое мученье для меня, когда я падаю, чувствовать, что я мог бы устоять».

Молодой человек! слушайте с доверием, я всегда буду чистосердечен. Если совесть — дело предрассудков, то я, без сомнения, не прав, и нет доказанной морали; но если человек от природы склонен предпочитать себя всему и если в то же время человеческому сердцу прирождено первое чувство справедливости, то пусть, кто считает человека существом простым, устранит эти противоречия, — и я после этого признаю одну только сущность.

Вы заметите, что под словом «сущность» я разумею вообще существо, одаренное каким-либо первообразным свойством, и отвлеченное, полученное из всех частичных или второстепенных видоизменений. Если, значит, все известные нам первообразные свойства могут соединиться в одном и том же существе, то мы должны признать одну только сущность; если же иные свойства взаимно исключают друг друга, то является столько же различных сущностей, сколько может быть подобного рода исключений. Вы станете размышлять об этом; мне же, что бы там ни говорил Локк ⁶⁹, стоит лишь признать материю за нечто протяженное и делимое, и я уже уверен, что она не может мыслить, и когда какой-нибудь философ скажет мне, что деревья чувствуют и что скалы мыслят * ⁷⁰, то, сколько бы он ни

* Мне кажется, что вместо того, чтобы утверждать, что скалы мыслят, новейшая философия открыла, наоборот, что люди не мыслят. Она признает в природе уже только существа чувствующие; между человеком и животным она находит только ту разницу, что человек есть существо

запутывал меня своими тонкими аргументами, я могу видеть в нем лишь недобросовестного софиста, который скорее соглашается наде-
лать чувством камня, чем человека душою.

Представим себе глухого, который отрицает существование зву-
ков, потому что они никогда не поражали его слуха. Я кладу у него
перед глазами струнный инструмент и заставляю последний с помо-
щью другого скрытого инструмента звучать в унисон; глухой видит
дрожание струны; я говорю ему: «Это производится звуком». «Во-
все нет,— отвечает он.— Причина дрожания струны заключается в
ней самой: подобное дрожание есть качество, общее всем телам».—
«Покажите же мне,— возражаю я,— это дрожание в других телах
или, по крайней мере, причину его в этой струне».— «Я не могу,—
отвечает глухой.— Но если я не понимаю, отчего дрожит эта струна,
почему же я должен объяснить это вашими звуками, о которых я не
имею ни малейшего понятия? Это, значит, непонятный факт объяснять
еще более непонятной причиной. Или подайте мне ваши чувственно
воспринимаемые звуки, или я стану утверждать, что их не сущест-
вует».

Чем больше я размышляю о мышлении и о природе человеческого
ума, тем более нахожу, что рассуждение материалистов похоже на
рассуждение этого глухого. И в самом деле, они глухи к внутренне-

чувствующее и имеющее ощущения, а камень — существо чувствующее,
но не имеющее ощущений. Но если всякая материя действительно чувст-
вует, то в чем же будет для меня заключаться чувствующая единица или
индивидуальное «я»? Будет ли она в каждой молекуле материи или только
в составных телах? Помещать ли мне эту единицу одинаково и в жидких,
и в твердых телах, в элементах и телах сложных? В природе, говорят,
есть лишь индивидуумы. Но каковы эти индивидуумы? Камень этот —
индивидуум или скопление индивидуумов? Представляет ли он одно су-
щество чувствующее или в нем столько их, сколько песчинок? Если каж-
дый атом элемента есть существо чувствующее, то как понять это внутрен-
нее общение, в силу которого один чувствует себя в другом, так что два
их «я» сливаются в одно? Может быть, притяжение — такой закон при-
роды, тайна которого нам неизвестна; но мы по крайней мере понимаем,
что притяжение, действующее соответственно массам, не включает в себе
ничего не совместимого с протяжением и делимостью. Неужели вы в та-
ком же смысле понимаете и чувство? Чувственно воспринимаемые части
имеют протяжение, но существо чувствующее невидимо и едино; оно не
разлагается на части; оно или бывает целым, или вовсе не бывает; следова-
тельно, существо чувствующее не есть тело. Я не знаю, как понимают его
наши материалисты, но мне кажется, что те же трудности, которые заста-
вили их отвергать мысль, должны были бы принудить их отвергнуть и
чувство, и я не вижу, почему, сделавши первый шаг, не сделать им и дру-
гого; и почему им труднее этот второй шаг? Раз они уверены, что они не
мыслят, как же они осмеливаются утверждать, что они чувствуют?

му голосу, который громко и вполне отчетливо говорил им: «Машина не мыслит; не существует ни движения, ни образа, который производил бы из себя мышление; а в тебе заключено нечто такое, что стремится сокрушить все оковы, его сдавливающие: пространство не есть для тебя предельная мера, целая Вселенная недостаточно велика для тебя; твои чувствования, твои желания, твое беспокойство, даже гордость твоя имеют иную основу, чем это тесное тело, в котором ты чувствуешь себя закованным».

Ни одно материальное существо не бывает активным само по себе, а я — активен. Сколько бы ни оспаривали меня, я чувствую это, и это говорящее во мне чувство сильнее доводов разума, его опровергающих. Я имею тело, на которое действуют другие и которое действует на других: это взаимное действие не подлежит сомнению; но воля моя не зависит от моих чувств; я соглашаюсь или противлюсь, я уступаю или бываю победителем — мне совершенно ясно говорит сознание, к о г д а я делаю, что захотел сделать, и когда я лишь уступаю своим страстям. Я всегда властен желать, но не всегда имею силу исполнить желание. Когда я предаюсь искушениям, я действую под давлением внешних предметов. Когда я упрекаю себя в этой слабости, я слушаюсь только воли своей: я раб в силу своих пороков и свободен в силу угрызений совести; чувство моей свободы лишь тогда изглаживается во мне, когда я развращаюсь и не даю, наконец, голосу души возвышаться против законов тела.

О воле я узнаю лишь из сознания своей собственной воли; разумение мне известно не больше этого. Когда спрашивают, какова причина, определяющая мою волю, я, в свою очередь, спрашиваю, какова причина, определяющая мое суждение; ибо ясно, что эти две причины составляют лишь одну; кто хорошо понимает, что человек в своих суждениях активен, что разумение его есть лишь способность сравнивать и судить, тот увидит, что и свобода человека есть способность — подобная же или проистекающая из этой последней; он избирает хорошее, коль скоро правильно составил суждение; если же он неправильно судит, то и выбор его дурен. Какова же, значит, причина, определяющая его волю? Причина эта — его суждение. А какая причина определяет его суждение? Это его разумная способность, способность судить; определяющая причина заключается в нем самом; а иначе я ничего уже не понимаю.

Без сомнения, я не свободен не желать своего собственного блага, я не свободен желать себе зла; но свобода моя и состоит именно в том, что я могу желать лишь того, что мне свойственно или что я считаю таковым, без всякого постороннего для меня давления. Разве я не властен над самим собою?

Основа всякого действия заключается в воле свободного существа; восходить дальше этого нельзя. Не слово *свобода* не имеет никакого значения, а слово *необходимость*. Предполагать какой-нибудь акт, какое-нибудь действие, не вытекающее из активного начала, значит предполагать результаты без причин, значит попадать в логический круг. Что-нибудь одно: или не бывает первого толчка, или всякий первый толчок не имеет никакой предшествующей причины, и истинной воли без свободы нет. Итак, человек свободен в своих действиях и, как таковой, одушевлен нематериальной сущностью — это мой третий догмат веры. Из этих трех первых вы легко выведете все прочие, если даже я не стану их перечислять.

Если человек активен и свободен, то он действует сам от себя; все, что он свободно делает, не входит в систему, установленную Провидением, и не может быть вменяемо Провидению. Оно не желает зла, которое совершает человек, злоупотребляя свободой, которую Оно дает ему, но Оно не мешает ему совершать зло, потому ли, что зло это, со стороны существа столь слабого, совершенно ничтожно в Его глазах, или потому, что, препятствуя злу, Оно стесняло бы его свободу и, унижая его природу, произвело бы еще больше зла. Оно создало его свободным для того, чтобы он совершал не зло, но добро по выбору. Оно дало ему возможность делать этот выбор, правильно пользуясь теми способностями, которыми одарило его; но Оно настолько ограничило его силы, что злоупотребление свободой, до которого Оно допускает человека, не может нарушить всеобщего порядка. Зло, совершаемое человеком, падает на него самого, ничего не изменяя в системе мира, не мешая роду людскому сохраняться, наперекор самому себе. Роптать на то, что Бог не препятствует человеку совершать зло, значит роптать на то, что Он наделил его превосходной природой, придал его действиям облагораживающий их нравственный характер, дал ему право на добродетель. Высшее наслаждение — в довольстве самим собою; чтобы заслужить это довольство, для того мы и помещены на земле и одарены свободой, для того мы и бываем искушаемы страстями и удерживаемы совестью. Что больше могло бы сделать для нас само Божественное Всемогущество? Могло ли оно вносить противоречие в нашу природу и вознаграждать за благие дела того, кто не имел бы возможности делать зло? Как! чтобы помешать человеку быть злым, следовало ограничить его инстинктом и сделать зверем? Нет! О, Бог моей души, я никогда не стану упрекать Тебя, что Ты создал ее по своему образу, чтобы я мог быть свободен, добр и счастлив, как и Ты.

Злоупотребление нашими способностями — вот что делает нас несчастными и злыми. Наши печали, заботы, страдания происходят

от нас же самих. Нравственное зло бесспорно есть дело наших рук, а физическое зло не имело бы никакого значения, не будь наших пороков, которые сделали его чувствительным для нас. Не для сохранения ли нас и дает нам природа чувствовать наши нужды? Не является ли телесная боль признаком того, что машина расстраивается, и предупреждением, что нужно принять меры? Смерть... Но не отравляют ли злые своей жизни и нашей? Кто захотел бы жить вечно? Смерть есть лекарство от зол, которые вы себе причиняете; природа пожелала, чтобы вы не вечно страдали. Как мало подвержен бедствиям человек, живущий в первобытной простоте! Он живет почти без болезней, равно как и без страстей, он не предвидит и не чувствует смерти; когда он ее чувствует, то нищета его делает ее желанной для него, а после этого она уже не бедствие для него. Если бы мы довольствовались быть тем, что мы есть, нам незачем было бы оплакивать свой жребий; но в поисках за воображаемым благополучием мы наделяем себя тысячью действительных бедствий. Кто не умеет переносить немного страдания, тому предстоит много страдать. Расстроив организм неправильною жизнью, хотят восстановить его лекарствами; к переносимому бедствию присоединяют бедствие, которого боятся; ожидание смерти делает ее страшною и ускоряет ее; чем больше мы хотим избежать ее, тем больше ее чувствуем и всю жизнь свою умираем от ужаса, негодуя на природу за бедствия, которые причинили себе, оскорбляя последнюю.

Человек! Не ищи иного виновника зла; этот виновник — ты сам. Не существует иного зла, кроме того, которое ты совершаешь или терпишь, и то и другое приходит к тебе от тебя же самого. Всеобщее зло могло бы проявиться лишь в беспорядке, а в системе мира я вижу неизблемый порядок. Частное злополучие заключается лишь в чувствовании существа, его испытывающего; а это чувство человек не от природы получил: он сам себя наделил им. Горе мало имеет силы над тем, кто, мало думая о нем, не вспоминает его и не видит впереди. Откиньте наше губительное стремление вперед, откиньте наши заблуждения и пороки, отнимите созданное человеком, — и все станет благом.

Где все благо, там ничего нет несправедливого. Справедливость неразлучна с благостью; а благость есть необходимое следствие безграничного могущества и любви к себе, свойственной всякому самосознающему существу. Кто может все, тот умножением других существ расширяет, так сказать, свое существование. Производство и сохранение — вот непрерывное проявление всемогущества: оно действует не над тем, чего нет; Бог не есть Бог мертвых, Он не может быть разрушителем и злым, не вредя себе. Кто все может, Тот может

желать лишь того, что благо *. Итак, существо всеблагое — потому что Оно всемогущее — должно быть также и всесправедливым; иначе Оно противоречило бы самому себе, ибо любовь к порядку, производящая его, называется б л а г о с т ь ю, а любовь к порядку, сохраняющая его, называется с п р а в е д л и в о с т ь ю.

Бог, говорят, ничем не обязан перед своими тварями. Я думаю, что Он обязан сделать для них все, что обещал, даруя им бытие. Дать людям идею блага и заставить их чувствовать потребность в нем — значит обещать это благо. Чем больше я углубляюсь в себя, чем больше размышляю, тем яснее читаю начертанные в душе моей слова: «Будь справедлив, и ты будешь счастлив». Однако, если принимать во внимание настоящее положение вещей, ничего этого нет: злой благоденствует, а справедливый остается угнетенным. Посмотрите, каким пылаем мы негодованием, когда это ожидание не сбывается! Сознание восстает и ропщет на своего Творца: оно вопиет к нему со стенанием: «Ты меня обманул!»

«Я обманул тебя, дерзкий! кто тебе сказал это? Разве исчезла твоя душа? разве ты перестал существовать? О, Брут! ⁷² о, сын, мой! не срами своей благородной жизни позорным концом, не оставляй своей надежды и славы вместе с телом своим на полях филиппийских! К чему ты говоришь: «добродетель — пустяки», когда ты вот-вот получишь награду за свою собственную? «Я умру», — думаешь ты; нет, ты будешь жить, и тогда-то Я исполню все то, что обещал тебе».

По ропоту нетерпеливых смертных можно было бы подумать, что Бог должен вознаградить их прежде заслуги, что он обязан заранее оплатить их добродетель. О! будем прежде всего добрыми, а затем мы будем и счастливыми. Не будем требовать награды раньше победы, платы раньше труда. «Не на ристалище, — говорил Плутарх, — увенчивались победители наших священных игр, а после того, как пробегали его» ⁷³.

Если душа нематериальна, она может пережить тело; а если она его переживает, то Провидение оказывается правым. Если бы я не имел иного доказательства нематериальности души, кроме торжества злых и угнетения справедливых в этом мире, то одно уже это не позволяло бы мне сомневаться в ее нематериальности. Столь поразительный диссонанс во всеобщей гармонии заставлял бы меня искать ему объяснения. Я говорил бы себе: «Не все кончается для нас вместе с жизнью — порядок восстанавливается во всем при смерти».

* Называя верховного бога *optimus maximus* ⁷¹, древние высказывались правильно; но точнее было бы говорить *maximus optimus*, потому что благость происходит от могущества: он благ потому, что велик.

Я, правда, затруднялся бы вопросом, где же человек, когда все, что было в нем чувствующего, разрушено. Но этот вопрос не представляет уже для меня трудности, коль скоро я признал две сущности. Понятно, что в течение моей телесной жизни, когда я замечаю вещи лишь с помощью чувств, все не поддавшееся чувствам от меня ускользает. Когда же связь тела и души распалась, я понимаю, что одно может разрушиться, а другое сохраниться. Почему разрушение одного повлекло бы за собою разрушение и другого? Напротив. Будучи столь различными по природе, сущности эти, благодаря соединению, были в насильственном состоянии; а когда это соединение прекращается, они обе возвращаются в свое естественное состояние: активная и живущая сущность приобретает снова всю силу, которую она тратила на движение пассивной и мертвой сущности. Увы! я отлично чувствую, благодаря своим порокам, что человек в течение своей жизни живет лишь наполовину, и жизнь души начинается только по смерти тела.

Но какова эта жизнь? и бессмертна ли душа по своей природе? Я не знаю. Мое ограниченное разумение не постигает ничего безграничного: все, что называют бесконечным, ускользает от меня. Что могу я отрицать, утверждать? какие рассуждения стану приводить я по поводу того, чего не могу постичь? Я верю, что она настолько переживает тело, сколько нужно для поддержания мирового порядка; а кто знает, значит ли это, что она вечно существует? Однако же я понимаю, как тело изнашивается и разрушается вследствие распада частей, но я не могу постичь подобного разрушения существа мыслящего; а не будучи в состоянии представить, как оно может умереть, я предполагаю, что оно не умирает. Коль скоро это предположение утешает меня и не заключает в себе ничего неразумного, то почему же мне его не принять?

Я чувствую свою душу, я узнаю ее через чувство и мысль; я знаю, что она есть, не зная, какова ее сущность; я не могу умствовать по поводу идей, которых не имею. Но я хорошо знаю, что тождество моего я продолжается лишь путем памяти, и, чтобы быть действительно тождественным, нужно помнить о своем прошлом бытии. А я не мог бы припомнить после своей смерти, чем я был в течение жизни, если бы не припоминал одновременно и того, что я чувствовал, а следовательно, и того, что делал; и я не сомневаюсь, что это воспоминание будет составлять некогда блаженство добрых и мучение для злых. Здесь на земле тысяча пылких страстей заглушает внутреннее чувство и обманывает совесть. Унижения, неприятности, навлекаемые упражнением в добродетелях, мешают нам чувствовать все их прелесть. Но когда, освободившись от иллюзий, порождаемых в нас

телом и чувствами, мы будем наслаждаться созерцанием Верховного Существа и вечных истин, источником которых Оно бывает, когда красота порядка будет поражать все способности нашей души и мы будем заняты единственно сравнением сделанного нами с тем, что мы должны были бы делать, тогда-то именно голос совести вновь получит свою силу и власть, тогда-то неистощимые чувства чистого наслаждения, проистекающего от довольства самим собою, или горького сожаления о своем унижении и будут тем жребием, который каждый себе приготовит. Не спрашивайте меня, мой добрый друг, будут ли там другие источники блаженства и страданий; я этого не знаю; а чтобы утешиться в этой жизни и получить надежду на другую, для этого достаточно и того источника, который я себе представляю. Я не скажу, что добрые будут «награждены»; ибо какого иного блага может достигнуть прекрасное существо, кроме блаженства существовать сообразно со своей природой? Но я утверждаю, что они будут блаженными, потому что Творец их, Творец всякой справедливости, сотворив их чувствующими, создал их не для страдания, потому что, не употребив во зло на земле свою свободу, они не были обмануты грехом в своем назначении; но они все-таки страдали в этой жизни и, значит, получают воздаяние в другой. Это сознание основано не столько на заслуге человека, сколько на понятии о благодати, которая мне кажется неотделимой от божественной сущности. Я только предполагаю сохраненными законы мирового порядка и Бога неизменным в самом Себе *.

Не спрашивайте меня и о том, вечны ли будут мучения злых и согласно ли с благодатью Творца их бытия осуждать их на вечные страдания; я и этого не знаю, и во мне нет такого пустого любопытства, чтобы искать ответов на бесполезные вопросы. Что мне за дело до того, что станет со злыми? Я мало интересуюсь их участью. Однако же мне трудно поверить, что они осуждены на бесконечные муки. Если высшая справедливость отмщает за себя, то она отмщает в этой жизни. Вы и ваши заблуждения, о, народы! — вот ее орудия! Бедствиями, которые вы причиняете себе, она и пользуется для того, чтобы наказать за преступления, навлекшие эти бедствия. В ваших именно ненасытных сердцах, снедаемых завистью, жадностью, честолюбием, мстительные страсти и наказывают вас среди вашего ложного благоденствия за злодеяния ваши.

Где кончаются наши преходящие потребности, где прекращаются

* Не для нас, не для нас, Господь,
А во имя Твое, во имя Твоего счастья,
О Боже! Верни нас к жизни!

Псалом 115.

наши безумные вожделения, там должны прекратиться и наши страсти и преступления. Чем дурным могут заразиться чистые души? Почему им быть злыми, если они не будут иметь ни в чем нужды? Если после отрешения от наших грубых чувств все их блаженство будет состоять в созерцании бытия, то они будут желать только добра; а кто перестает быть навсегда несчастным? Вот чему я склонен верить, не пытаюсь дать себе на этот вопрос решительный ответ. О, Существо милосердное и благое! Каковы бы ни были Твои постановления, я преклоняюсь перед ними; если Ты навеки наказываешь злых, я смиряю свой слабый разум перед Твоею справедливостью; но если угрызения совести этих несчастных должны со временем прекратиться, если бедствия их должны окончиться и если один и тот же мир одинаково ожидает некогда всех нас, я воздаю Тебе за это хвалу. Злой — не собрат ли мой? И сколько раз я подвергался искушению — уподобиться ему! Пусть же, избавившись от нищеты, он расстанется и со злостью, ее сопровождающею; пусть будет счастлив, как и я: счастье его не только не возбудит во мне зависти, но еще увеличит мое собственное.

Таким образом, созерцая Бога в делах Его и изучая по ним свойства Его, которые мне важно знать, я достиг того, что постепенно расширил и развил составившуюся у меня идею о бесконечном Существо, сначала несовершенную и ограниченную. Но если эта идея стала более благородною и возвышенною, зато она еще менее соразмерна с человеческим разумом. По мере того как я мысленно приближаюсь к вечному свету, его блеск ослепляет меня, приводит в смущение, и я вынужден оставить все земные понятия, помогавшие мне представлять его. Бог уже не телесен и не доступен чувственному восприятию; верховное Разумение, управляющее миром, уже не есть самый мир; я тщетно напрягаю и утруждаю свой ум, стремясь постичь Его непостижимую Сущность. Когда я думаю, что она именно дает жизнь и деятельность той живой и активной сущности, которая управляет одушевленными телами, когда мне говорят, что моя душа есть нечто духовное и Бог тоже есть дух, я возмущаюсь против этого унижения божественной Сущности; как будто Бог и душа моя одной и той же природы! как будто Бог единственное абсолютное Существо, единственное истинно деятельное, само по себе, — чувствующее, мыслящее, желающее Существо, от которого мы получаем мысль, чувство, деятельность, волю, свободу, бытие! Мы потому лишь свободны, что Он хочет этого, и Его неизъяснимая сущность то же для наших душ, чем бывают наши души для тел наших. Создал ли Он материю, тела, умы, мир — я ничего не знаю об этом. Идея о сотворении мира смущает меня и превышает мое понимание: я верю в нее,

насколько могу постичь ее. Но я знаю, что Он образовал Вселенную и все существующее, что Он все создал, все устроил. Бог, конечно, вечен; но может ли ум мой обнять идею вечности? Зачем я стану отделяться словами без мысли? Но я понимаю, что Он существует прежде вещей, что Он будет, пока будут существовать вещи, что Он будет и после них, если всему должен прийти некогда конец. Что Существо, непостижимое для меня, дает бытие другим существам, это только темно и непонятно; но чтобы Существо и ничто могли сами по себе обращаться одно в другое, это вопиющее противоречие, это, очевидно, абсурд.

Бог — существо разумное; но каким образом он бывает таковым? Человек разумен, когда умеет рассуждать; но Высшему Разумению нет нужды рассуждать; для Него нет ни посылок, ни заключений; для Него нет даже предложений; Оно чисто созерцательное, Оно равно видит и все, что есть, и все, что может быть. Все истины для Него — одна идея, как все места — один пункт, все времена — один момент. Человеческая мощь действует теми или иными средствами, Божественное Могущество действует само через себя. Бог может, потому что хочет; Его воля составляет власть Его. Бог благ; нет ничего очевиднее этого; но доброта в человеке есть любовь к подобным себе, а доброта Божья есть любовь к порядку, ибо порядком Он поддерживает все существующее и связывает каждую часть с целым. Бог справедлив; я в этом убежден: это следствие Его благости; несправедливость людей — это их дело, а не Его; нравственный беспорядок, который в глазах философов говорит против провидения, в моих глазах лишь доказывает Его существование. Но справедливость человека заключается в воздаянии каждому должного, а справедливость Бога — в требовании от каждого отчета в том, что Он дал ему.

Если я последовательно раскрыл эти свойства, о которых я не имею никакой абсолютной идеи, то это сделано путем вынужденных заключений, вследствие правильного пользования моим разумом; но я утверждаю не понимая, а это в сущности значит не утверждать ничего. Сколько бы ни говорил я: «Бог существует так-то, я это чувствую, я в этом убеждаюсь», — я все-таки мало постигаю, как это он может существовать «так-то».

Одним словом, чем больше я напрягаю усилия, чтобы усмотреть Его бесконечную сущность, тем менее я постигаю ее; но она есть, — и этого для меня достаточно; чем менее я ее постигаю, тем более преклоняюсь перед ней. Я смиряюсь, я говорю Ему: «Существо из существ! я существую, потому что существуешь Ты; непрестанно помышлять о Тебе для меня значит возвышаться до моего начала. Самое достойное употребление для моего разума — это уничтожаться

перед Тобою, чувствовать себя подавленным Твоим величием — вот восхищение для моего ума, вот чем очаровательна моя слабость».

После того как из впечатлений от чувственно воспринимаемых предметов и из внутреннего чувства, побуждающего меня судить о причинах сообразно с моим внутренним светом, я вывел таким образом основные истины, которые важно было мне узнать, мне остается задаться вопросом, какие принципы я должен извлечь из них для своего поведения и какие правила должен предписать себе для того, чтобы выполнить свое назначение на земле, сообразно с предначертанием Того, Кто поместил меня сюда. Следуя всегда своему методу, я извлекаю эти правила не из принципов высшей философии, но нахожу их начертанными природой в глубине своего сердца неизгладимыми буквами. Когда я хочу что-либо делать, мне стоит лишь обратиться за советом к самому себе: все, что я сознаю хорошим, хорошо; все, что я чувствую дурным, дурно; лучший из всех казуистов — совесть; а к тонкостям рассуждения прибегают тогда, когда торгуются с нею. Первая из всех забот есть забота о самом себе; однако же как часто внутренний голос говорит нам, что, создавая наше благо на счет других, мы делаем зло! Мы полагаем, что следуем внушению природы, а меж тем мы ей противимся; слушая, что она говорит нашим чувствам, мы пренебрегаем тем, что она говорит нашим сердцам: активное существо повинуетя, существо пассивное повелевает. Совесть есть голос души, страсти — голос тела. Удивительно ли, что эти два голоса часто противоречат друг другу? и тогда которого слушаться? Рассудок слишком часто обманывает нас; мы приобрели полное право отказывать ему в согласии; но совесть не обманывает никогда; она — истинный путеводитель человека; она для души то же, что инстинкт для тела *; кто следует ей, тот повинуетя природе и не

* Современная философия, допускающая лишь то, чему находит объяснение, не находит возможным допускать эту темную способность, называемую *и н с т и н к т о м*, которая как бы без всякого заранее приобретенного знания приводит животных к той или иной цели, инстинкт, по мнению одного из наших мудрейших философов, есть не что иное, как привычка, лишенная размышления, но приобретенная путем размышления⁷⁴; из его объяснений этой способности приходится вывести заключение, что дети размышляют больше взрослых, — парадокс, настолько странный, что не стоит труда его и разбирать. Не вступая по этому поводу в споры, я спрашиваю, как должен я назвать тот пыл, с которым моя собака ведет войну с кротами, хотя она их и не ест, то терпение, с которым она подкарауливает их иной раз по целым часам, и ту ловкость, с которой она схватывает их, выбрасывает из земли в тот момент, когда они ее выталкивают, и потом умерщвляет, чтобы там же их и оставить; меж тем ее никто никогда не приучал к этой охоте и не указывал ей, что тут есть кроты. Я задаю и еще вопрос, и притом более важный: почему с первого же

боится сбиться с пути. Это важный пункт, — продолжал мой благодетель, видя, что я хочу его прервать, — дайте мне несколько дольше остановиться на нем для уяснения его.

Вся нравственная оценка наших действий заключается в суждении, которое мы сами о них составляем. Если благо и в самом деле есть благо, то оно должно быть таковым и в глубине наших сердец, как и в наших делах, и первой наградой за справедливость является сознание, что делаешь ее. Если нравственная красота сообразна с нашей природой, то человек лишь настолько может быть здрав умом и хорошо организован, насколько он добр. Если же она не такова, если человек по природе зол, то он не иначе может перестать быть злым, как извратившись, и доброта в нем есть лишь порок, противный природе. Созданный на то, чтобы вредить себе подобным, как волк создан для того, чтобы истерзать свою добычу, человеческий человек был бы таким извращенным животным, каким будет жалостливый волк, и одна добродетель доставляла бы нам угрызения совести.

Углубимся в самих себя, мой юный друг! Исследуем, оставив в стороне всякий личный интерес, к чему ведут нас наши склонности. Какое зрелище наиболее ласкает нас — зрелище мук или счастья других? Что нам приятнее всего совершить и что оставляет более приятное впечатление по совершении — акт благотворительности или акт злобы? Кем интересуетесь вы в ваших театрах? злодеяния ли доставляют вам удовольствие? над наказанными ли виновниками их вы проливаете слезы? «Для нас, — говорят, — все безразлично, кроме нашего интереса». А меж тем, совершенно наоборот, сладость дружбы, человеколюбия утешает нас в наших скорбях; и даже в своих удовольствиях мы были бы слишком одиноки, слишком жалки, если бы нам не с кем было их разделять. Если ничего нет нравственного в сердце человека, то откуда же являются в нем эти восторги удивления перед геройскими деяниями, это любовное восхищение перед

раза, как я пригрозил этой самой собаке, она бросилась спиной на землю, сложив лапы в умоляющей и наиболее способной меня тронуть позе, в которой она ни за что бы не оставалась, если бы я вместо того, чтобы смилостивиться, бил ее в этом положении. Как! Собака моя, совершенно еще маленькая и почти только что родившаяся, приобрела уже нравственные идеи? Она знает, что такое милость и великодушие? На основании каких же приобретенных познаний она надеялась успокоить меня, отдаваясь таким образом в мое распоряжение? Все собаки в свете делают почти то же самое в подобном же случае, и я ничего не говорю здесь такого, чего каждый не мог бы проверить. Пусть философы, столь презрительно отвергающие инстинкт, соизволят объяснить мне этот факт одним действием ощущений и доставляемых им познаний; пусть они объяснят его удовлетворительным для каждого разумного человека способом; тогда мне нечего уже будет сказать, и я перестану говорить об инстинкте.

великими душами? Этот энтузиазм к добродетели какое отношение имеет к нашему частному интересу? Почему я желал бы быть скорее Катон⁷⁵ом пронзающим себя, чем торжествующим среди триумфа Цезарем? Отнимите у нашего сердца эту любовь к прекрасному — и вы отнимете всю прелесть у жизни. В чьей ограниченной душе низкие страсти заглушили собою усладительные чувствования, кто, сосредоточиваясь в самом себе, доходит, наконец, до того, что любит только самого себя, тот не испытывает уже восторгов, оледеневшее сердце его не трепещет уже от радости, сладкое умиление никогда не вызывает на его глаза слез, он ничем уже не наслаждается; несчастный уже не чувствует, не живет: он уже мертв.

Но как ни велико число злых на земле, немного бывает таких мертвенных душ, ставших нечувствительными, вне их интересов, ко всему, что справедливо и благо. Несправедливость нравится лишь настолько, насколько извлекают из нее пользу; во всем остальном люди хотят, чтобы невинный находил защиту. Когда мы видим на улице или на дороге какое-нибудь проявление насилия или несправедливости, в глубине сердца нашего тотчас же поднимаются гнев и негодование и заставляют нас встать на защиту угнетенного; но обязанность более могущественная удерживает нас, и законы отнимают у нас право защищать невинность⁷⁶. Наоборот, если взоры наши поражает какое-нибудь проявление милости или великодушия, какое оно вызывает в нас удивление, какую любовь? Кто не говорит сам себе: «Хотел бы и я то же сделать»? Для нас, конечно, очень мало имеет значения, злым ли или справедливым был такой-то человек две тысячи лет тому назад; и однако же древняя история возбуждает в нас такое же участие, как если бы все это произошло в наши дни. Что мне за дело до преступлений Катилины? ⁷⁷ Разве я боюсь быть их жертвой? Почему же он внушает мне такой же ужас, как если он был моим современником? Мы не потому только ненавидим злых, что они нам вредят, но потому, что они злы. Мы не только сами желаем быть счастливы, но желаем счастья и для другого, и если за это счастье мы не платим нашим счастьем, то оно только увеличивает наше. Наконец, нам помимо воли жаль несчастных; когда мы бываем свидетелями их горя, мы страдаем за них. Самые испорченные люди не могут потерять совершенно этой склонности; часто она ставит их в противоречие с самими собою. Разбойник, который грабит прохожих, все-таки прикрывает наготу бедняка, и самый жестокий убийца поддерживает человека, падающего в обморок.

Говорят о криках совести, которая тайно наказывает скрытые преступления и так часто выводит их наружу. Увы! Кто из нас никогда не слышал этого докучливого голоса? Говорят по опыту; и нам

хотелось бы заглушить это тираническое чувство, причиняющее нам столько мучения. Станем повиноваться природе, и мы узнаем, с какою кротостью она царствует и какое наслаждение, подчинившись ей, иметь потом хорошее мнение о себе самом. Злой боится и избегает самого себя; веселья он ищет лишь вне себя самого; он обращает вокруг себя беспокойные взоры и ищет предмета, который его развлечет бы; без едкой сатиры, без оскорбительной насмешки он был бы вечно печален; насмешливый смех — единственное его удовольствие. Наоборот, человек справедливый внутренне безмятежен; в смехе его слышится не злость, а радость; он носит в самом себе источник ее; он и в одиночестве так же весел, как среди общества; он не из окружающих извлекает свое довольство, а сам сообщает его.

Окиньте взором все нации мира, посмотрите все истории, среди всех этих нечеловечных и странных культов, среди этого чудного разнообразия нравов и характеров, вы найдете всюду одни и те же идеи справедливости и честности, везде одни и те же начала нравственности, везде одни и те же понятия о добре и зле. Древнее язычество породило гнусных богов, которых здесь на земле наказали бы как преступников и жизнь которых вместо картины высшего блаженства представляет картину злодеяний и удовлетворения похотей. Но порок, вооруженный священным авторитетом, тщетно спускался из вечного обиталища: нравственный инстинкт отталкивал от него сердца смертных. Прославляя разврат Юпитера ⁷⁸, дивились воздержанию Ксенократа ⁷⁹; бесстыдной Венере поклонялась целомудренная Лукреция ⁸⁰; Страху приносил жертву неустрашимый римлянин; он призывал бога, оскотившего отца ⁸¹, и умирал без ропота от руки своего отца. Самым презренными божествам служили самые великие люди. Святой голос природы, будучи сильнее голоса богов, заставлял почитать себя на земле и будто ссылал на небо преступление с его виновниками.

Есть, значит, в глубине душ врожденное начало справедливости и добродетели, в силу которого, вопреки нашим собственным правилам, мы признаем свои поступки и поступки другого или хорошими или дурными; это именно начало я называю совестью.

Но при этом слове со всех сторон, я слышу, поднимаются вопли мнимых мудрецов. «Заблуждение детства, предрассудки воспитания!» — кричат они в один голос. В уме человеческом ничего нет, кроме того, что входит туда путем опыта, и мы о всякой вещи судим лишь на основании приобретенных идей. Они идут дальше; они осмеливаются отвергать это очевидное и всеобщее согласие всех наций и в противовес бьющему в глаза единообразие людских суждений стараются отыскать во мраке какой-нибудь темный,

известный им одним пример, — как будто все природные склонности уничтожаются испорченностью одного народа, как будто раз есть уроды, то уже нет вида. Но чему служат мучительные усилия скептика Монтеня откопать в каком-нибудь уголке мира привычку, противоположную понятиям справедливости? ⁸² Что за охота ему облекать самых подозрительных путешественников авторитетом, в котором он отказывает самым знаменитым писателям? Могут ли несколько сомнительных и странных обычаев, установившихся вследствие местных причин, неизвестных нам, опровергнуть общий вывод, извлеченный из согласного мнения всех народов, противоположных во всем остальном и согласных в одном этом пункте? О, Монтень! Ты гордишься откровенностью и правдивостью, будь же откровенен и правдив, если философ может быть таковым, и скажи мне: есть ли такая страна на земле, где было бы преступлением защищать свою веру, быть милостивым, благодетельным, великодушным, где добрый человек был бы в презрении, а вероломный в почете?

Каждый, говорят, содействует общему благу из-за своего интереса. Но откуда же происходит то, что справедливый содействует ему в ущерб себе? И что значит идти на смерть ради своего интереса? Без сомнения, всякий хлопочет лишь ради своего блага; но если существует нравственное благо, которое приходится принимать в расчет, то личным интересом можно будет объяснить лишь поступки злых: нужно думать, что дальше этого никто не решится идти. Слишком гнусной была бы философия, при которой мы были бы стеснены в добродетельных поступках, при которой не иначе можно было бы избавиться от хлопот, как подыскивая для этих поступков низкие намерения и противные добродетели мотивы, при которой мы вынуждены были бы унижать Сократа и клеветать на Регула. Если бы подобные учения могли когда-либо возникнуть среди нас, голос природы, равно как и голос разума, непрестанно восставал бы против них и не позволял бы ни одному из сторонников их выставить в извинение свою чистосердечность.

Я не намерен входить здесь в метафизические споры, которые превышают мое и ваше понимание и ни к чему в сущности не ведут. Я сказал уже вам, что я хотел не философствовать с вами, но помочь вам, посоветоваться со своим сердцем. Если бы все философы мира доказывали, что я не прав, а вы чувствуете, что я прав, то мне ничего больше и не нужно.

Для этого следует лишь научить вас различать наши приобретенные идеи от наших природных чувствований; ибо мы необходимо чувствуем раньше, чем познаем; а так как мы не учимся желать себе блага и избегать зла, но получаем это желание от природы, то

любовь к благу и ненависть к злу — такие же природные наши свойства, как и любовь к себе. Проявления совести суть не суждения, а чувствования; хотя все наши идеи приходят к нам извне, чувствования, оценивающие их, находятся внутри нас, — посредством их только мы и познаем соответствие и несоответствие между нами и вещами, которых мы должны домогаться или избегать.

Существовать для нас — значит чувствовать; чувствительность наша бесспорно предшествует нашему разумению, и чувства мы получили раньше идей *. Какова бы ни была причина нашего бытия, она озаботилась о нашем самосохранении, дав нам чувствования, соответственные нашей природе; нельзя отрицать, по крайней мере, что они прирождены. Чувствования эти, если речь вести об индивидууме, суть любовь к себе, опасение боли, ужас перед смертью, стремление к благополучию. Но если — в чем нельзя сомневаться — человек есть существо общественное по своей природе или, по крайней мере, создан быть таким, то он может им быть лишь в силу других врожденных чувствований, имеющих отношение к его виду; ибо если признавать лишь потребности физические, то они должны, конечно, рассенвать людей вместо того, чтобы сближать их. А из нравственной системы, созданной этими двоякого рода отношениями — к самому себе и к своим близким, и возникает импульс совести. Узнать добро не значит полюбить его; человек не обладает прирожденным знанием его; но коль скоро разум знакомит его с благом, совесть заставляет его любить это благо; это именно чувство и есть врожденное.

Итак, я не думаю, друг мой, чтобы невозможно было вывести из нашей природы непосредственное начало совести, независимое от самого разума. А если бы это было невозможно, в этом не было бы и необходимости; ибо, коль скоро отрицающие это начало, допущенное и признанное всем человеческим родом, не доказывают, что его не существует, но довольствуются простым утверждением этого, то, утверждая, что оно существует, мы имеем под собою точно такую же прочную основу, как и они, а кроме того, имеем за собою внутреннее свидетельство и голос совести, говорящий за нее самое. Если первые проблески суждения ослепляют нас и смешивают на первых порах

* В известной мере идеи суть чувства, а чувства суть идеи. Оба названия пригодны для каждого впечатления, которое занимает наше сознание, и предметом, и нами самими, получившими от него восприятие, и лишь порядком этого восприятия определяется соответственное ему название. Когда, занятые прежде всего предметом, о себе мы мыслим лишь по рефлексии, то возникает идея; наоборот, когда полученное впечатление возбуждает наше первое внимание и мы лишь по рефлексии думаем о предмете, его причинившем, то это чувство.

предметы в наших глазах, то подождем, пока наши слабые глаза откроются снова и окрепнут, и мы скоро вновь увидим эти же предметы при свете разума, такими же, какими вначале показывала их природа; или, лучше сказать, будем более просты и менее тщеславны; ограничимся первыми чувствами, которые находим в себе, потому что к ним именно и приводит нас изучение, если только оно не сбило нас с пути.

О, совесть, совесть! божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный путеводитель существа темного и ограниченного, разумного и свободного, непогрешимый ценитель добра и зла, уподобляющий человека Богу! это ты создаешь превосходство его природы и придаешь нравственный смысл его действиям; без тебя я не чувствую в себе ничего такого, что поднимало бы меня над уровнем зверей, кроме печальной привилегии блуждать от ошибок к ошибкам при помощи мышления, лишенного руководства, и разума, лишенного основ.

Благодарение небу! мы освободились от этого ужасающего философского всеоружия: мы можем быть людьми, не будучи учеными; избавленные от необходимости тратить свою жизнь на изучение морали, мы с меньшими затратами получаем более верного путеводителя в неизмеримом лабиринте людских мнений. Но этого мало, что путеводитель существует: нужно уметь распознавать его и следовать ему. Если он говорит всем сердцем, то почему же столь немногие его понимают? Увы! это оттого, что он говорит нам языком природы, а нас все кругом заставляет забыть этот язык. Совесть робка, она любит уединение и мир; свет и шум ее пугают: предрассудки, от которых иные ее производят, суть злейшие ее враги; она бежит или умолкает перед ними; их шумные голоса заглушают ее голос и мешают его понимать; фанатизм осмеливается подделываться под нее и ее именем подсказывает преступления. Она делается упрямой, наконец, если ее часто выпроваживают; ничего уже не говорит нам, не дает уже ответов, и, после столь продолжительного презрения к ней, ее столь же трудно призвать обратно, сколь трудно было изгнать.

Сколько раз при своих изысканиях я выбивался из сил от внутреннего холода, который в себе чувствовал! Сколько раз грусть и скука, проливая свой яд на мои первые размышления, делали их невыносимыми для меня? Мое зачерствелое сердце внушало мне лишь вялую и нерадивую любовь к истине. Я говорил себе: «Для чего мне мучиться в поисках того, чего нет? Нравственное благо — одна химера; нет ничего благого, кроме чувственных удовольствий». О, как трудно, раз я потерял вкус к душевным удовольствиям, снова

приобрести его! Насколько труднее еще получить его, если никогда не имел! Если бы существовал человек настолько жалкий, что во всю жизнь свою ничего не совершал бы такого, воспоминание о чем делало бы его довольным самим собою и тем, что жил, такой человек был бы неспособен когда-либо познать себя; а не сознавая, насколько доброта ответственна его природе, он насильно оставался бы злым и был бы вечно несчастным. Но неужели вы думаете, что есть в целом мире хоть один человек, настолько испорченный, что сердце его никогда не поддавалось искушению делать добро? Это искушение столь естественно и столь сладко, что невозможно противостоять ему всегда; а воспоминания об удовольствии, которое оно доставило хоть раз, достаточно для того, чтобы воспоминать о нем непрерывно. К несчастью, искушение это на первых порах трудно удовлетворить; всегда имеешь множество оснований, чтобы противиться склонности своего сердца; ложная мудрость ограничивает его пределами человеческого я; нужна тысяча мужественных усилий, чтобы осмелиться перепагнуть эти пределы. Находить наслаждение в делании добра — это награда за сделанное добро, а награду эту получают лишь после заслуги. Нет ничего милее добродетели; но чтобы находить ее таковою, нужно вкусить ее. Когда хотят обнять ее, подобно сказочному Протею⁸³, она принимает сначала тысячу ужасающих форм и, наконец, показывается в своем собственном виде лишь тем, кто не выпустил из рук добычи.

Постоянно обуреваемый то естественными чувствами, говорившими мне за общий интерес, то разумом, относившим все ко мне самому, я всю жизнь непрерывно носился бы в ту или другую сторону, делая зло, любя добро и всюду противореча самому себе, если бы новый свет не просветил моего сердца, если бы истина, давшая твердую основу моим мнениям, не упрочила и моего поведения и не привела бы меня в согласие с самим собою. Желают установить добродетель путем одного разума, но какую прочную основу можно дать ей? Добродетель, говорят, есть любовь к порядку. Но может ли поэтому и должна ли эта любовь одерживать во мне верх над любовью к моему благополучию? Пусть мне представят ясное и достаточное основание, чтобы я мог отдать ей предпочтение. Их мнимое основание есть в сущности простая игра словами; ибо я тоже, в свою очередь, говорю, что порок есть любовь к порядку, понимаемому в другом смысле. Некоторый нравственный порядок есть всюду, где есть чувство и разумение. Разница в том, что добрый себя прилаживает к целому, а злой к себе прилаживает целое. Последний делает себя центром всех вещей; первый соразмеряет свой радиус и держится на окружности. Тогда он занимает должное

место по отношению к общему центру, которым является Бог, и по отношению ко всем концентрическим кругам, т. е. тварям. Если Божества нет, то лишь злой рассуждает правильно, а добрый оказывается нерассудительным.

Дитя мое! О если бы вы могли почувствовать когда-нибудь, какое бремя сваливается с плеч, когда, исчерпав суетность людских мнений и вкусив горечь страстей, находишь, наконец, столь близко от себя путь мудрости, награду за труды этой жизни и источник счастья, в котором отчаялся! Все обязанности, налагаемые естественным законом, почти искорененные из моего сердца людской несправедливостью, снова начертываются там во имя вечной справедливости, которая налагает их на меня и видит, что я исполняю их. Я уже чувствую себя сознанием и орудием Верховного Существа, которое хочет блага, создает благо, создаст и мое благо, если моя воля будет согласна с его волею и если я правильно буду пользоваться свободой; я подчиняюсь установленному им порядку в уверенности, что и сам буду наслаждаться некогда этим порядком и находить в нем свое блаженство; ибо какое блаженство сладостнее сознания, что мы занимаем свое место в системе, в которой все — благо? Будучи жертвой страдания, я переносу его с терпением, зная, что оно временное и происходит от тела, которое не принадлежит мне. Если я делаю доброе дело без свидетелей, я знаю, что его видят; моим поведением в этой жизни я заручаюсь для будущей. Терпя несправедливость, я говорю себе: «Справедливое существо, управляющее всем, сумеет хорошо вознаградить меня за это». Нужды тела, бедствия жизни делают менее ужасной для меня мысль о смерти: тем менее связей предстоит мне порвать, когда придется покинуть все.

Почему же душа моя подчинена чувствам и прикована к телу, которое порабощает и стесняет ее? Я ничего не знаю об этом. Разве я проник в божьи определения? Но я могу, не проявляя дерзости, делать скромные догадки. Я говорю себе: «Если бы дух человека оставался свободным и чистым, какая была бы заслуга любить и следовать установленному порядку, нарушать который для него не было бы никакого интереса? Правда, он был бы счастлив; но его счастьем не доставало бы высшей ступени — славы, добродетели и доброго свидетельства о самом себе. Раз душа связана со смертным телом узами, настолько же мощными, насколько непостижимыми, забота о сохранении этого тела побуждает ее все относить к нему и внушает ей интересы, противные всеобщему порядку, который однако же она способна видеть и любить; и вот тут-то правильное пользование своей свободой становится одновременно и заслугой,

и наградой, и душа подготавливает себе нерушимое счастье, вступая в борьбу со своими земными страстями и поддерживая в себе свою первоначальную волю.

Если даже в состоянии унижения, в котором мы находимся в течение этой жизни, все наши первые склонности законны, если все наши пороки происходят от нас же, то почему же мы жалуемся, что поработаны ими? почему упрекаем Творца вещей за бедствия, которые причиняем себе, и за врагов, которых сами вооружаем против себя? Ах! не станем портить человека: он без горя будет всегда добр, без угрызений совести — всегда счастлив. Преступники, уверяющие, что их вынудили совершить преступление, столько же лживы, сколько злы; как они не видят, что слабость, на которую они жалуются, создание их собственных рук, что их первое развращение происходит по их же воле, что, желая поддаться своим искушениям, они, наконец, поддаются им помимо воли и делают их непреодолимыми! Без сомнения, от них уже не зависит — не быть злыми и слабыми, но от них зависело не делаться такими. О, как легко мы оставались бы владыками над собою и своими страстями, даже в течение этой жизни, если бы, когда привычки наши еще не приобретены, когда ум наш только что начинает раскрываться, мы умели занять его предметами, которые он должен знать, чтобы оценить те, которых не знает, если бы искренно желали просветить себя, не зная того, чтобы блистать в глазах других, но чтобы быть добрыми и мудрыми сообразно со своею природою, чтобы найти свое счастье в исполнении своих обязанностей! Это изучение кажется нам скучным и трудным, потому что мы помышляем о нем тогда, когда уже испорчены пороком, когда предались уже страстям. Мы прочно устанавливаем свои суждения и оценку свою раньше познания добра и зла; а потом, измеряя все по этой ложной мерке, мы ничему не умеем придать настоящей цены.

Есть возраст, когда сердце, еще свободное, но уже горячее, тревожное, жадно стремясь к неведомому счастью, ищет его с пылливою уверенностью и, обманутое чувствами, останавливается, наконец, на его ложном образе, думая найти его там, где его вовсе нет. У меня эти иллюзии продолжались слишком долго. Увы! я слишком поздно распознал их и не мог совершенно разрушить их: они будут продолжаться, пока будет существовать это смертное тело, служащее причиною их. Но как они ни прельщают, они, по крайней мере, уже не обманывают меня; я признаю их за то, что они есть; увлекаясь ими, я презираю их; вместо того чтобы видеть в них предмет моего счастья, я вижу в них препятствие к нему. Я жажду момента, когда, избавившись от телесных оков, я буду с а м и м с о-

б о ю, без противоречий, без разделения и для своего счастья буду нуждаться лишь в самом себе; в ожидании я пока счастлив и в этой жизни, потому что мало обращаю внимания на все ее бедствия, считаю ее почти постороннею для моего бытия и потому что все истинное благо, которое я могу извлечь из нее, зависит от меня.

Чтобы заранее подняться, насколько возможно, до этого состояния счастья, силы, свободы, я упражняюсь в возвышенном созерцании. Я размышляю о порядке Вселенной — не для того, чтобы объяснять его посредством пустых систем, но чтобы дивиться ему беспрестанно, чтобы поклоняться премудрому Создателю, проявляющему Себя в нем. Я беседую с Ним, проникаюсь во всех своих способностях Его бедственной сущностью; умиляюсь Его благодеяниям, благословляю Его за дары; но я не прошу у Него. Чего мне просить у Него? Чтобы Он изменил для меня течение вещей, чтобы совершал чудеса в мою пользу? Мне ли, когда я больше всего должен любить порядок, установленный Его мудростью и поддерживаемый Его провидением, мне ли желать, чтобы этот порядок был нарушен из-за меня? Нет, это безрассудное желание заслуживало бы скорее наказания, чем исполнения. Я не прошу у Него и возможности делать добро: к чему просить о том, что дал мне Он? Не наделил ли Он меня совестью, чтобы любить добро, разумом, чтобы познавать его, свободой, чтобы выбирать его? Если я делаю зло, для меня нет извинения; я делаю его, потому что хочу; просить у Него, чтобы он изменил мою волю, — это значит требовать от Него того, чего он от меня требует, значит желать, чтобы Он делал мое дело, а я получал плату за него; не быть довольным своим состоянием значит желать иного, а не того, что есть, значит желать беспорядка и зла. Источник справедливости и истины, Боже милосердный и благой! При моей вере в Тебя, высшее желание моего сердца в том, чтобы совершалась Твоя воля. Присоединяя к ней свою волю, я делаю, что Ты делаешь, я покоряюсь Твоей благодати и думаю, что заранее разделяю то высшее блаженство, которое бывает наградою за это.

При справедливом недоверии к самому себе я одного прошу у него, или, скорее, одного ожидаю от его справедливости, — это исправления моих заблуждений, если я заблуждаюсь и если это заблуждение для меня опасно; чтобы быть чистосердечным, я не считаю себя непогрешимым: мои мнения, которые кажутся мне самыми истинными, могут оказаться ложью, ибо у какого человека нет своих мнений? А сколько людей согласных во всем? Но хотя мой самообман происходит от меня же самого, он один может избавить меня от него. Я сделал что мог для достижения истины; но ее ис-

точник слишком возвышен; виноват ли я, если мне не хватает сил идти дальше? ему именно и следует приблизиться».

Добрый священник говорил с жаром; он был взволнован, я также. Мне казалось, будто я внимаю божественному Орфею⁸¹, поющему свои первые гимны и обучающему людей поклонению богам. И однако, у меня возникло множество возражений, но я не высказал ни одного, ибо они были не столько убедительны, сколько неуместны; к тому же он говорил так уверенно, что грешно было бы прервать его. И, по мере того как он высказывал то, что диктовала ему совесть, моя собственная совесть как бы подтверждала мне все, что он говорил.

«Чувства, о которых вы мне только что поведали, — сказал я ему, — весьма необычны, по крайней мере в отношении того, что вы сами признали неизвестным. Я вижу, что они весьма близки к теизму или естественной религии, которую христиане нарочно смешивают с атеизмом или неверием, т. е. с совершенно противоположным учением. Но при теперешнем состоянии моей веры мне пришлось скорее подниматься, нежели опускаться до восприятия ваших убеждений, и мне трудно принять вашу точку зрения, не будучи таким же умудренным знанием, как вы. Желая быть, по крайней мере, столь же искренним, я хочу посоветаться с самим собою. Только внутреннее чувство должно побудить меня следовать вашему примеру, и вы сами меня учили, что вызвать его после того, как оно было подавляемо в течение долгого времени, не так-то просто. Я уношу в своем сердце все ваши рассуждения, мне следует обдумать их. Если, хорошенько рассудив наедине с собою, я проникнусь вашей убежденностью, вы станете моим последним апостолом, а я до самой смерти останусь вашим учеником. Вы же продолжайте наставлять меня, ведь вы сказали мне пока лишь половину того, что я должен знать. Говорите об откровении, о писании, о тех неясных догматах, в которых я пытаюсь разобраться, не в силах постигнуть их сути и не умея ни принять, ни отвергнуть их».

«Да, дитя мое, — сказал он, обнимая меня, — я скажу вам до конца все, что я думаю; я не хочу открывать вам мое сердце лишь наполовину. Мне была необходима ваша искренность, она и позволила мне ничего не утаить от вас. До сих пор я не сказал вам ничего, ни слова, в коем не был бы внутренне уверен, которое не могло бы, по моему убеждению, принести вам пользу. Но мне остается сделать еще одно признание, совсем иного рода, о том, что несет лишь смятение, тайну, неясность, что грозит мне неуверенностью и подозрениями. Едва решаясь на него, я, прежде чем советовать, поделюсь с вами своими сомнениями. Если бы вы были тверды в своих мыслях,

я поколебался бы в изложении моих, но при вашем нынешнем состоянии вы выиграете оттого, что будете думать, как я *. Впрочем, придавайте моим рассуждениям лишь то значение, какое сообразуется с вашим разумом; не мне судить, прав я или заблуждаюсь. В споре очень трудно не принять иной раз категоричный тон, а потому не забывайте, что в данном случае все мои утверждения для вас лишь повод к сомнению. Ищите истину сами, я же, с моей стороны, обещаю вам одно чистосердечие.

В моем веровании вы видите лишь естественную религию, — странно, что людям нужна еще какая-то другая! Да и есть ли нужда в другой религии? В чем моя вина, ежели я служу Богу согласно тому свету, которым он озарил мой ум, согласно чувствам, которые он внушил моему сердцу? Могу ли я извлечь из какого-либо общепринятого учения чистоту морали и догматы, полезные для человека и почетные для его Творца, которые за неизменением такой доктрины я не мог бы извлечь из свойств собственной моей натуры при хорошем их применении? Укажите мне, что можно еще добавить во славу Божию, для блага общества и для моей собственной пользы к предписаниям естественного закона и какие еще добродетели способен пробудить во мне новый культ, кроме тех, коими я уже располагаю? Самые высокие представления о Божестве дает нам наш собственный разум. Приглядитесь к зрелищу природы, прислушайтесь к внутреннему голосу; неужто Бог еще не все открыл нашим глазам, нашей совести, нашему разуму? Что же нового могут нам сказать люди? Их откровения только порочат Бога, наделяя его человеческими страстями. Я вижу, как отдельные догматы затемняют наши понятия о Высшем Существо, вместо того чтобы прояснить их, унижают его самого, вместо того чтобы возвысить; я вижу, как к непостижимым таинствам божьим присоединяются нелепые противоречия; новые доктрины делают человека надменным, нетерпимым, жестоким; вместо того чтобы установить на земле мир, они несут людям огонь и меч. И я спрашиваю себя, для чего все это, и не умею ответить. Я вижу вокруг себя лишь людские преступления и несчастья рода человеческого.

Мне говорят: дабы научить людей служить Богу, как он того хочет, нужно откровение. В доказательство приводится разобщенность самых причудливых культов, ими учрежденных; и никто не видит, что сама разобщенность эта происходит от различного толкования откровений. Едва только народы догадались заставить Бога говорить, как каждый заставил его говорить на своем языке и го-

* Вот, думаю я, именно то, что добрый викарий мог сказать в настоящее время публично.

ворить то, что данному народу хочется услышать. Но ежели бы слово божие люди слушали в сердце своем, на свете никогда не было бы больше одной религии. Нужна единая религия, я в этом положительно убежден. Но неужто этот вопрос столь важен? Неужто для его решения потребовалось все божественное могущество? Не будем смешивать религиозную церемонию с самой религией. Богу нужен культ, исповедуемый сердцем; ежели такой культ соблюдается искренне, значит, он уже единообразен. Какое безумное тщеславие: воображать, будто Бог проявляет интерес к форме одежды священника, к порядку слов, произносимых им, к телодвижениям в алтаре, к коленопреклонениям! Ах, друг мой! Как бы высоко ты ни вознесся, ты всегда останешься достаточно близок к земле. Бог хочет, чтобы ему поклонялись, слушаясь велений разума и истины; вот подлинная задача всех религий, всех стран, всех людей. Что же касается внешних проявлений культа, то, если он должен быть единообразен в целях общего порядка, пусть этим займутся наши правители; для этого вовсе не требуются откровения.

Я и не помышлял об этом с самого начала. Увлекаемый предрассудками воспитания и тем самолюбием, которое всегда стремится вознести человека за пределы его возможностей, не будучи в силах подняться в моих жалких представлениях до уровня Высшего начала, я пытался низвести его до себя. Я хотел сократить бесконечное расстояние, установленное им между моей и его природою. Я жаждал более близкого общения с ним, особых поучений от него; я не довольствовался тем, что уподоблял Бога человеку, — желая возвыситься над себе подобными, я стремился к сверхъестественному знанию, я хотел, чтобы мой культ был исключительным, я хотел, чтобы Бог открыл мне то, чего он не открывал другим, или же то, что было бы доступно только моему пониманию.

Рассматривая этот мною установленный момент как точку зрения, из которой исходили все верующие, стремящиеся к более просвещенному культу, я находил в естественной религии лишь элементы, свойственные всякой другой. Я изучал всевозможные секты, заповедники земли и взаимно обвиняющие друг друга во лжи и заблуждениях, и спрашивал: «Которая же из них настоящая?» Член каждой из них отвечал мне: «Моя». Каждый говорил: «Только я и мои единомышленники думаем по справедливости. Все остальные погрязли в заблуждениях». — «А почему вы знаете, что именно ваша секта настоящая?» — «Потому, что нам открыл это Бог» *. — «А кто вам

* «Все они, — говорил один добрый и мудрый священник, — утверждают, что они приобщены к своей вере и исповедуют ее не через посредство людей или других творений, но только от Бога. Но, говоря по правде,

сказал о том, что Бог открыл это?» — «Мой пастырь, которому это хорошо известно. Он указал мне, как именно я должен верить, и я повинуюсь. Он утверждает, что все верующие иначе — лгут, и я их не слушаю».

Значит истина, думал я, не едина, и то, что достоверно для меня, может быть неверно для вас? Если тот, кто следует по правильному пути, и тот, кто впадает в заблуждение, действуют одинаково, то какова заслуга или вина каждого из них? Ведь их выбор — дело случая, и несправедливо обвинять их; это значило бы награждать или карать людей за то, что они родились в той или другой стране. И тот, кто осмелился бы сказать, что Бог судит нас именно таким образом, оскорбил бы его правосудие.

Либо все религии хороши и угодны Богу, либо существует лишь одна, которую он дает и за отказ от которой карает; в таком случае ее легко узнать, отличить от ложных исповеданий и считать единственно истинной. Тогда ее приметы существовали бы во всякое время и во всякой стране и одинаково принимались бы всеми людьми и народами: великими и малыми, просвещенными и невежественными, европейцами, индийцами, африканцами, дикарями. Если бы на земле существовала одна религия, вне которой нам грозило бы вечное проклятие, и если бы хоть один искренне верующий смертный не был бы поражен ее очевидностью, то Бога этой религии следовало бы назвать несправедливейшим и жесточайшим из тиранов.

Вполне ли искренне мы ищем истину? Не будем считаться с правом происхождения или с авторитетом отцов и пастырей, но поверим нашей совестью и разумом все, чему они научили нас с детства. Пусть они взывают ко мне: «Подчини твой разум!» — ведь то же самое может мне сказать и тот, кто меня обманывает. Для того чтобы смирить разум, нужно проявить разум.

ничего не преувеличивая и не скрывая, это пустой довод; что бы они ни говорили, они связаны с усилиями человеческих рук и средств; первое свидетельство тому — способ, каким религии воспринимались в мире и еще до сих пор принимаются отдельными лицами: народ, страна, местность утверждают религию; вы исповедуете именно ту, которая принята в местности, где вы родились и воспитывались; обрезанные, крещенные, евреи, магометане, христиане — вот кем мы становимся задолго до того, как узнаем, что мы люди; нам не дано выбирать себе религию; свидетельство тому — сама жизнь и нравы, так плохо сообразующиеся с религией; свидетельство тому также и тот факт, что люди из-за весьма незначительных неудобств встают против требований своей религии» (Шарроп. О мудрости. Кн. II, гл. 5).

По всей видимости, искреннее вероисповедание добродетельного богослова из Кондома⁸⁵ не очень отличалось от веры савойского викария.

Все богословские знания, которые я могу приобрести, обозревая Вселенную и добросовестно используя свои способности, ограничены пределами, о которых я говорил вам выше. Тому, кто стремится узнать больше, следует прибегнуть к необычным средствам. Но средства эти не есть творение рук людей, ибо ни один человек не происходит от иного корня, чем мой, и все, что знают люди, естественно, могу знать и я: любой может ошибаться так же, как я: если я и верю его словам, то не потому, что он их произносит, а потому, что он их доказывает. А доказательства эти я могу найти и в своей собственной душе; они ничего не добавляют к естественным средствам, которые Бог дал мне для познания истины.

Апостол истины, можете ли вы сказать мне что-нибудь, о чем я сам не мог бы свободно судить? Сам Бог заговорил, слушайте его откровения. Это совсем другое дело. Бог заговорил! Вот подлинно великое слово. А к кому он обратился? Он обратился к людям. Почему же я этого не слышал? Он поручил другим людям передать вам его слово. Я понимаю: люди должны передать мне сказанное Богом. Но я предпочел бы услышать слово божие из его собственных уст, ему бы это ничего не стоило, я же избежал бы соблазна. Но Бог оберегает вас от этого, он предпочитает говорить через своих посланцев. Каким же образом? При помощи чудес. А где же эти чудеса? В книгах. Кто же написал эти книги? Люди. А кто видел эти чудеса? Люди, которые их удостоверяют. Как, опять людские свидетельства? Опять только люди, которые доводят до моего сведения то, что им передали другие люди? Сколько же людей встало между Богом и мной! Однако посмотрим, исследуем, сравним, проверим. О, если бы Бог смилостивился и избавил меня от всей этой работы, неужто я служил бы ему менее усердно?

Вдумайтесь, друг мой, в какой страшный спор я вовлечен, какие огромные познания мне необходимы для того, чтобы обратиться к самой глубокой древности, чтобы рассмотреть, взвесить и сопоставить пророчества, откровения, факты, чтобы исследовать все памятники веры, установленные во всех странах мира, чтобы определить создателей, время, место и обстоятельства их создания! Какие точность и тщание понадобятся мне для того, чтобы отличить подлинники от подделок, чтобы сопоставить вопросы с ответами, а переводы с оригиналами; чтобы судить о беспристрастности свидетелей, об их здравом смысле и просвещенности; чтобы удостовериться, что ничего не было изъято, добавлено, переиначено, изменено, искажено. С каким умением я должен разобраться во всех противоречиях и судить о причинах молчания противников перед лицом предъявленных им фактов; определить, были ли они им предъявлены, придали ли они

им достаточное значение, дабы снизойти до отклика. Я должен также узнать, были ли книги настолько распространены среди них, чтобы они могли читать наши, проявили ли мы достаточную добросовестность, допустив к нам их труды и оставив в них нетронутыми самые веские возражения.

Даже если признать подлинность всех этих трудов, то вслед за тем нужно будет исследовать мотивы деятельности их авторов. Необходимо хорошенько разобраться в законах случайностей, учесть все возможные вероятности, дабы судить о том, какое пророчество не может быть выполнено без вмешательства чуда; не зная духа языков, на которых написаны эти произведения, нельзя понять, что здесь пророчество, а что риторика. Нужно узнать, какие факты сообразуются с порядком природы, а какие ему противоречат, чтобы выяснить, не вздумал ли просто некий ловкач обмануть простаков и ослепить мудрецов; нужно доискаться, к какому виду относится то или иное чудо и какою степенью достоверности оно должно обладать, чтобы вера в него стала не только возможною, но невозможным и наказуемым стало одно сомнение в нем; нужно сравнить свидетельства о чудесах подлинных и мнимых и найти надежный путь для их распознавания; нужно, наконец, объяснить, почему Бог избрал для подтверждения своего слова средства, которые сами весьма нуждаются в подтверждении, — как будто он смеялся над легковерием людей и умышленно избегал более верных способов их убеждения.

Допустим, что Бог в своем величии снизойдет до того, что превратит какого-либо человека в пророка своей священной воли; но разумно ли, справедливо ли требовать, чтобы весь род человеческий подчинился голосу такого посланника божьего, не зная хорошенько, является ли он таковым? Правильно ли, что он, не предъявив никаких доказательств своей миссии, пророчит перед кучкой невежественных людей, сообщая им нечто, о чем все остальные узнают только из неясных слухов. Если принимать на веру все чудеса, которые якобы удалось узреть простолюдинам и блаженным во всех концах мира, то каждую секту пришлось бы признать истинной и чудес случалось бы намного больше, чем естественных событий; а самым великим чудом было бы полное отсутствие чудес там, где живут фанатики, страдающие за веру. Неизменяемый порядок природы лучше всего указывает на управляющую ею мудрую руку; нужно слишком уж много исключений, чтобы разубедить меня в этом; теперь же я слишком искренне верю в Бога, чтобы верить в такое число чудес, столь мало его достойных.

Допустим, что какой-нибудь человек обратился к нам с такою

речью: «Смертные, объявляю вам волю Всевышнего; признайте в моем лице пославшего меня. Я приказываю солнцу изменить свое движение, звездам — образоваться иные сочетания, горам — сравняться с землею, волнам — подняться до небес, земле — принять другую форму». Разумеется, как не узнать тотчас же в этих чудесах руку властителя природы? Она ведь не повинуется обманщикам: те совершают свои чудеса на перекрестках, в пустынях, в комнатах — там, где им легко обвести вокруг пальца кучку зрителей, заранее расположенных всему поверить. Кто сможет точно указать мне число очевидцев, потребное для того, чтобы чудо стало достойно веры? Если чудеса, сотворенные в подтверждение вашего учения, сами нуждаются в доказательствах, то к чему они пригодны? Лучше уж было не творить их вовсе.

Остается, наконец, самое важное исследование в данной области: некоторые утверждают, что если Бог творит чудеса на земле, то и дьявол иногда подражает ему в этом, а потому, даже располагая самыми достоверными свидетельствами о чудесах, мы все же ни на шаг не продвинемся вперед; так, жрецы фараона осмеливались в присутствии самого Моисея являть те же знамения, которые он показывал по особому повелению Бога; почему бы им, в его отсутствие, на том же основании не присвоить себе такое же право?! Итак, поверив данное учение чудом, надо еще поверить чудо учением *, из опасения принять дело дьявола за дело божие. Что вы думаете об этой дилемме?

* Это точно установлено во многих местах «Писания», между прочим во «Второзаконии», гл. XIII, где сказано, что если пророк, возвещающий пришествие чужих Богов, подтверждает свои речи чудесами и если его пророчества сбываются, то им не только нельзя придавать значения, но этого пророка следует предать смерти. Ведь язычники предавали же смерти апостолов, возвещающих им о пришествии чужого Бога и подтверждавших свою миссию пророчеством и чудесами, и я не вижу, какие веские доводы можно было бы выдвинуть против них, чтобы они тотчас не обернулись против нас. Но что делать в подобном случае? Только одно: обратиться к доводам рассудка и оставить в покое чудеса, к которым лучше было бы и вовсе не обращаться. К этому призывает их самый обычный здравый смысл, которому противопоставляют множество весьма тонких казуистических ухищрений. Ухищрения в христианстве! Стало быть, Иисус Христос был не прав, когда обещал царство небесное блаженным? Значит, он был не прав, когда самую прекрасную свою заповедь начал с восхваления нищих духом, если от нас требуется такая изощренность ума, чтобы понять его учение и научиться верить в него? Докажите мне, что я должен подчиниться, то все будет хорошо. Но для того, чтобы доказать мне это, говорите со мною моим языком; соразмерьте тонкости ваших рассуждений со способностями нищего духом, или я не признаю в вас истинного последователя вашего владыки, а в ваших словах не услышу его истины.

Если это учение исходит от Бога, оно должно быть отмечено священной печатью Божества; оно не только должно прояснить те смутные представления, какие сформированы нашим рассудком, но должно также предложить нам исповедание веры, морали и правил, соответствующее тем символам, благодаря которым мы познаем его сущность. И стало быть, если бы это учение открывало нам одни лишь нелепые и бессмысленные явления, внушая чувство отвращения к людям и страх к самим себе, если бы оно изображало Бога гневного, ревнивого, мстительного, пристрастного, Бога — человеконенавистника, Бога войны и сражений, карающего нас огнем и мечом, вечно призывающего к мукам и страданиям и угрожающего даже невинным, то мое сердце отринуло бы этого страшного Бога и я остерегся бы покинуть естественную религию и последовать за той, которую проповедует такое учение, мой выбор был бы не в пользу последней. Ваш Бог — не наш, сказал бы я этим сектантам. Если он начинает с того, что делает своим избранником один народ, пренебрегая остальной частью рода человеческого, то не может он быть отцом всех людей, ибо тот, кто обрекает на вечные мучения неисчислимое множество своих творений, тот не является Богом благости и милосердия, который запечатлелся в моем уме.

Что касается догматов, то разум подсказывает мне, что они должны быть ясными, вседоступными, поражающими своею очевидностью. Если естественная религия не удовлетворяет нас, то это оттого, что она никак не освещает великие истины, которые преподает нам; только откровение может позволить человеческому уму глубже проникнуть в эти истины, растолковать их людям, заставить поверить в них. Вера утверждается и укрепляется путем понимания; лучшая из всех религий непреложна и самая ясная; та же, чей культ изобилует всяческими тайнами и противоречиями, никогда не заставит меня поверить в нее. Бог, которому я поклоняюсь, есть Бог света, а не тьмы; он наделил меня разумом не для того, чтобы запретить пользоваться им; и принудить меня ограничить разум — значит оскорбить его Создателя. Служитель истины не должен угнетать разум человеческий, он должен просвещать его.

Мы умолчали о влиянии человеческой личности, а между тем трудно себе представить, как, не прибегая к нему, один человек может убедить другого, проповедуя ему неразумное учение. Предоставим на мгновение этим двум людям возможность высказать свои соображения и посмотрим, что они смогут сказать друг другу, с той резкостью выражений, какая обычно свойственна спорящим сторонам.

Вдохновенный спорщик

Разум учит нас, что целое более велико, нежели его часть; я же утверждаю именем Бога, что отдельные части более велики, чем целое.

Вдумчивый спорщик

Кто вы такой, что осмеливаетесь утверждать, будто Бог противоречит себе; и кому я должен скорее верить: ему, который путем разума внушает мне вечные истины, или вам, возвещающему мне разные нелепицы от его лица?

Вдохновенный

Мне, ибо мое утверждение неоспоримо и я неопровержимо докажу, что это Бог говорит моими устами.

Вдумчивый

Как! Вы собираетесь доказывать, что Бог посылает вас свидетельствовать против него самого? Какого же рода будут ваши доказательства? Как вы будете убеждать меня в том, что Бог действительно говорит со мною вашими устами, а не при посредстве разума, коим он наделил меня?

Вдохновенный

Разумение, которым он вас наделил! Тщеславный и мелкий человек! Как будто вы первый нечестивец, чей разум блуждает в дебрях греха!

Вдумчивый

Служитель божий, да ведь и вы не первый обманщик, выдающий свое высокомерие за доказательство своей высокой миссии.

Вдохновенный

Как! Философы также способны на оскорбления!

Вдумчивый

Иногда, когда святоши подают им в том пример.

Вдохновенный

О, я имею право так говорить; я вещаю именем Бога.

Вдумчивый

Хорошо бы вам доказать ваши права, прежде чем пользоваться своими привилегиями.

Вдохновенный

Мои права неоспоримы. И земля и небеса будут свидетельствовать в мою пользу. Дайте лишь себе труд хорошенько прислушаться к моим рассуждениям.

Вдумчивый

Ваши рассуждения! Как это пришло вам в голову заявлять, будто мой разум меня обманывает; не значит ли это опровергать то, что он мог бы сказать мне вместо вас? Тот, кто отвергает разум, должен уметь убеждать, не опираясь на него. Ибо, предположим, что ваши рассуждения убедили меня; а вдруг это именно мой развращенный грехом разум заставил меня одобрить все, что вы говорили? Впрочем, можете ли вы привести доказательство более очевидное, нежели аксиома, которую оно призвано опровергнуть? То, что хороший силлогизм является ложью, столь же вероятно, как и утверждение, что часть больше целого.

Вдохновенный

Какая разница? Мои доказательства не нуждаются в возражениях. Они входят в разряд сверхъестественного.

Вдумчивый

Сверхъестественного! Что значит это слово? Я его не понимаю.

Вдохновенный

Изменения в природном устройстве, пророчества, чудеса, всякого рода знамения.

Вдумчивый

Знамения, чудеса! Я никогда не видел ничего подобного.

Вдохновенный

Другие видели это за вас. Толпы свидетелей... Свидетельство народов...

Вдумчивый

Разве свидетельство народов относится к разряду сверхъестественных явлений?

Вдохновенный

Нет, но когда оно единодушно, оно неопровержимо.

В д у м ч и в ы й

Нет ничего более неопровержимого, чем принципы разума, и ни одну нелепицу нельзя признать на основании человеческого свидетельства. Повторяю еще раз, приведите другое доказательство сверхъестественного, ибо ссылка на свидетельство людей о чем бы то ни было таковым не является.

В д о х н о в е н н ы й

О, закоснелое сердце! Благодать не осенила вас!

В д у м ч и в ы й

Это не моя вина; ибо, если верить вашим словам, мы должны быть сперва приобщены к благодати, чтобы просить о ней. Начните же, за неимением таковой, говорить со мною сами.

В д о х н о в е н н ы й

Ах, я именно это и делаю, вы же не слушаете меня; но что вы скажете о пророчествах?

В д у м ч и в ы й

Прежде всего знайте, что я слыхал не больше пророчеств, чем видал чудес. Я скажу больше: ни одно пророчество ни на йоту не прибавит мне веры.

В д о х н о в е н н ы й

Приверженец сатаны! Отчего же пророчества не прибавят вам веры?

В д у м ч и в ы й

Чтобы это случилось, нужны три обстоятельства, стечение которых почти невозможно: я должен быть свидетелем пророчества, затем стать свидетелем события и, наконец, быть совершенно уверенным, что совпадение пророчества с событием не случайно; но даже, если бы пророчество оказалось более определенным, более явственным, более верным, нежели геометрическая аксиома, даже если бы это пророчество, сделанное наугад, не исключало бы свершения предсказанного, даже и тогда свершение это не является доказательством точности предсказателя.

Посмотрите же, к чему сводятся ваши самозванные сверхъестественные доказательства, ваши чудеса, ваше пророчество! К тому, чтобы принимать все на веру с чужих слов, подчинять воле человека волю бога, который взывает к моему разуму. Если бы вечные истины,

доступные моему уму, могли претерпеть такое кощунство, у меня не осталось бы никакой уверенности в чуде преосуществления, и, далекий от веры в то, что вы говорите от имени господа, я начал бы сомневаться даже в его существовании.

Вот какие трудности подстерегают вас, дитя мое, и это еще далеко не все. Среди стольких религий, взаимно отвергающих и исключаящих друг друга, только одна может быть настоящей, ежели таковая вообще существует. Чтобы убедиться в этом, недостаточно ознакомиться с одной из них, надо исследовать их все; и, что бы вы ни открыли в этих религиях, нельзя отвергать ни одну из них, не проникнув сперва в ее суть *. Надо уметь сравнивать возражения с доказательствами. Надо знать доводы, которые противники предъявляют друг другу, так же как и ответы на них. Чем более логичным представляется нам какое-либо высказывание, тем глубже нужно исследовать причину, заставляющую стольких людей находить его таковым. Надо быть очень уж глупым, чтобы поверить, будто достаточно выслушать ученых твоего толка для того, чтобы узнать доводы противной стороны. Покажите мне богословов, которые старались бы проявлять благородство по отношению к противнику! Есть ли среди них такие, что не пытаются очернить своих соперников с целью переспорить их? Любой из них блистает в своих рядах, успешно похваляется своими доказательствами среди единомышленников, но, оказавшись среди противников, он может попасть в глупое положение, предъявив те же доводы. Вы хотите узнать их мнение из книг? Но какой широтою взглядов нужно обладать для этого, сколько языков изучить, со сколькими библиотеками познакомиться и какое количество трудов прочесть! Кто возьмется руководить вами при выборе книг? Едва ли вам удастся разыскать лучшие произведения, созданные соперничающей стороною; еще труднее будет собрать ученые труды всех партий на свете. Но, даже если бы таковые и удалось найти, мы очень скоро отвергли бы их сами, ибо отсутствующий всегда не прав, а высказанные с уверенностью плохие доводы легко берут верх над правильными, если эти последние

* Плутарх сообщает ⁸⁶, что стоики, между прочими странными парадоксами, высказывают такой: при наличии противоречивых суждений нет никакой надобности выслушивать обе стороны. Ибо, говорят они, либо одна из них сможет доказать свои слова, либо нет. Если она сумела доказать, то этим все сказано, и противная сторона будет посрамлена; если же нет, стало быть, она не права и незачем продолжать спор. Я нахожу, что метод тех, кто допускает исключительность откровения, очень походит на этот метод стоиков. Если каждая из сторон настаивает на своей правоте, следует выслушать обе стороны, чтобы затем остановиться на каком-нибудь одном мнении, иначе мы поступим несправедливо.

изложены небрежно. К тому же ничто не бывает столь обманчиво, как книги, которые по меньшей мере неточно передают истинные побуждения тех, кто их написал. Если бы вы захотели судить о католической вере по книге Боссюэ ⁸⁷, то, пожив среди нас, убедились бы, как вы далеки от ее понимания. Вы бы увидели, что те положения, которые используются для диспутов с протестантами, сильно отличаются от истин, которые преподносятся народу, и что книга Боссюэ ни в чем не совпадает с проповедями, звучащими с амвонов. Дабы правильно судить о какой-нибудь религии, ее следует изучать не по книгам ее проповедников; ей нужно учиться прямо от них, только тогда вы достигнете желаемого. Каждый из этих людей имеет свои традиции, свой здравый смысл, обычаи, предрассудки, которые лежат в основе исповедуемой религии, и все это следует принять к сведению, дабы иметь возможность судить о ней.

Сколько великих народов вовсе не печатает книг и не читает наших! Как же им судить о наших убеждениях? И как нам судить об их культах? Мы их высмеиваем, они нас презирают; и если наши путешественники называют нелепыми их нравы, то им, чтобы отплатить нам той же монетой, нужно только посетить нашу страну. В любой части света достаточно найдется людей здравомыслящих и искренних в своей вере, честных приверженцев истины, которые стремятся к ее познанию, желая приобщиться к ней. И однако, каждый видит ее лишь в своем культе, находя нелепым религиозные обряды других народов. А между тем чужие культы вовсе не являются такими причудливыми, как нам это кажется, и разумное обоснование нами наших обрядов в данном случае ровно ничего не доказывает.

В Европе существуют три основные религии. Одна из них допускает только одно откровение, вторая — два, третья — три. Каждая из них ненавидит и проклиняет две другие, обвиняя их в ослеплении, глухоте, упорстве и лжи. Какой беспристрастный человек осмелится стать судьей между ними, не взвесив хорошенько предварительно их доводов и не выслушав доказательств? Религия, допускающая одно откровение, является наиболее древней и кажется наиболее надежной. Та, что допускает три откровения, — самая молодая и кажется самой последовательной. Религия, признающая два откровения и отвергающая третье, могла бы быть наилучшей, но она отличается множеством вредящих ей предрассудков и несоответствий, бросающихся в глаза.

Священные книги религии, допускающей три откровения, написаны на языках, неизвестных народам, которые ее исповедуют. Евреи не знают больше древнееврейского языка; христианам незнаком ни

древнееврейский, ни греческий. Турки и персы не понимают арабский язык, да и сами современные арабы не говорят больше на языке Магомета. Вот, не правда ли, удачная находка — проповедовать религию людям, говоря с ними на непонятном им языке? Мне ответят, что эти книги переведены. Прекрасный ответ! Кто меня убедит, что книги эти переведены точно, точный перевод вообще возможен?! И если Бог захочет обратиться прямо к людям, то он обойдется без помощи толмача.

Я никогда не соглашусь с тем, что в книгах заключено все знание, потребное людям, и что человек, которому недоступны эти книги и их толкователи, может быть наказан за свое невольное невежество. Всюду книги! Что за мания чтения! Европейцы смотрят на нее как на должное, потому что Европа наводнена книгами: они читают их, не думая о том, что на трех четвертях земного шара их никогда и не видывали. Разве не все книги написаны людьми? Так ли нужны они человеку, чтобы знать свои обязанности? И каким образом он узнавал о них до того, как люди начали писать книги? Нет, либо он сам научится выполнять свой долг, либо ему и знать о нем не надобно.

Наши католики много шумят об авторитете церкви; но что они от этого выигрывают, если им необходим целый арсенал доказательств для того, чтобы этот авторитет был установлен? В этом наша церковь недалеко ушла от всех прочих, желающих утверждать свое учение. Церковь выносит решение о том, что церковь имеет право решать. Не правда ли, вот прекрасное доказательство ее всевеличия! Освободитесь от него, и снова разгорятся все наши споры.

Много ли вы знаете христиан, что потрудились внимательно исследовать те тексты, с помощью которых иудаизм борется против христианства? Если некоторые из них и сумели кое-что узнать, так только из книг, написанных христианами. Великолепный способ знакомиться с доводами своих противников! Но как быть иначе? Ведь осмелюсь кто-нибудь издать у нас книгу, где открыто отдавалось бы предпочтение иудейству, мы обрушили бы кары и на автора, и на издателя, и на книгопродавца. Подобная мера удобна и надежна, а значит, всегда найдет себе оправдание. Как приятно опровергать мнение людей, не смеющих защищаться! *

* Среди тысяч известных фактов останавливаюсь на одном, не нуждающемся в комментариях. Когда в шестнадцатом веке католические богословы осудили на сожжение все еврейские книги, без разбора, достославный и ученый Рейхлин⁸⁴, к которому обратился за советом по этому поводу, навлек на себя страшные гонения, едва не погубившие его, и это только потому, что он высказался за сохранение нескольких книг, в ко-

Но и те из нас, кто имеет возможность вступать в беседы с евреями, также не много преуспели. Несчастные чувствуют себя в нашей власти; тиранния, проявляемая по отношению к ним, делает их робкими; они знают, что христианскому милосердию ничего не стоит проявить несправедливость и жестокость; что могут они сказать, не рискуя навлечь на себя обвинение в богохульстве? Алчность увеличивает наш христианский пыл, а они слишком богаты, чтобы не быть виноватыми. Кроме того, наиболее ученые и просвещенные из евреев всегда наиболее осмотрительны. Вам, быть может, и удастся обратить в свою веру какого-нибудь бедняка, который за определенную мзду согласится изменить вере отцов; вы заставите вторить вам одного-двух жалких старьевщиков, уступивших, чтобы польстить вам; вы станете торжествовать над их невежеством или трусостью, тогда как их раввины лишь молча улыбнутся вашему недомыслию. Но неужели вы полагаете, что там, где они чувствуют себя в безопасности, их можно дешево купить?

Ясно как день, что в Сорбонне предсказания мессии припишут Иисусу Христу. Амстердамские же раввины, — и это тоже ясно, заявят, что предсказания эти не имеют к нему ни малейшего отношения. Я до тех пор буду считать, что недостаточно глубоко вник в толкование раввинами их учения, пока они не заведут свободное государство, школы и университеты, где они могли бы говорить и спорить, ничем не рискуя. Тогда, и только тогда, мы сможем узнать их истинные мысли.

В Константинополе турки приводят свои доводы, а мы не смеем привести свои; в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если турки требуют от нас такого же почтения к Магомету, в которого мы не верим, какого мы требуем от евреев к Иисусу Христу, в которого они верят не более, чем турки, то виноваты ли турки? Правы ли мы? На какой разумной основе мы разрешим этот вопрос?

Две трети рода человеческого не принадлежат ни к евреям, ни к магометанам, ни к христианам; а сколько миллионов людей никогда и не слыхивали о Моисее, об Иисусе Христе, о Магомете? С этим положением спорят, утверждая, что миссионеры уже проникли повсюду. Легко сказать «повсюду», но разве они проникли в сердце еще не известной нам Африки, куда до сих пор еще не ступала нога европейца? Разве побывали они у татар, разве следовали верхом на лошадях за кочующими ордами, к которым еще никогда не приближался чужеземец и которые не только никогда не слыхали о папе,

торых ни слова не говорилось против христианства и обсуждались вопросы, вовсе не имеющие отношения к религии.

но едва ли что-нибудь знают и о великом Ламе? Добрались ли они до необъятных просторов Америки, где целые народы находятся еще в полном неведении относительно того, что кто-то из обитателей другого мира ступил на их землю? Едут ли они в Японию, откуда их навсегда изгнали и где нарождающимся поколениям рассказывают об их предшественниках, как о лукавых интриганах, лицемерно прикрывающихся пылкими проповедями, дабы втихомолку завладеть империей? Посещают ли они гаремы азиатских властителей, чтобы проповедовать Евангелие тысячам бедных рабынь? Чем так уж провинились женщины этой части света, что ни один миссионер не имеет возможности обратить их в истинную веру? Неужели им всем предстоит попасть в ад только за то, что они были на положении пленниц?

Но даже если и правда то, что евангельское учение распространилось по всей земле, какой в том толк? Накануне того дня, как первый миссионер явился в некую страну, там навсего умер кто-нибудь, кто, таким образом, не смог услышать его проповеди. Так вот, скажите мне, что же будет с этим умершим? Если во всей Вселенной останется хоть один человек, никогда не слышавший проповедей об Иисусе Христе, то не все ли равно, осудить одного этого человека или же целую четверть рода человеческого?

Предположим, что проповедники Евангелия донесли свои голоса до самых отдаленных народов: какое же из их слов могло быть принято на веру, не требуя самой тщательной проверки? — «Вы объявляете мне о Боге, родившемся и умершем две тысячи лет тому назад на другом конце света, в неизвестном маленьком городишке, и утверждаете, будто те, кто не поверит в это таинство, будут прокляты. Не слишком ли необычно это явление, чтобы в него нужно было поверить тотчас же на основании свидетельства одного лишь человека, совершенно мне неизвестного?! Почему это ваш Бог повелел, чтобы события, которыми я должен восхищаться, произошли так далеко от меня? Разве это преступление — не знать, что делается у антиподов? Как я могу догадаться, что на другом полушарии существовал когда-то еврейский народ и город Иерусалим? С таким же успехом от меня могли бы потребовать сведений о том, что творится на луне. Вы говорите, что пришли сюда, дабы возвестить мне это; но почему вы не явились за тем же к моему отцу и за что вы осуждаете этого доброго старика, которому не довелось вас услышать? Отчего же ему суждено нести вечную кару за ваше нерадение, ему, который всегда был так добр, благодетен и привержен правде? Будьте добросовестны и, поставив себя на мое место, скажите: должен ли я, на основании одного только вашего свидетельства, пове-

рить тем невероятным вещам, о которых вы мне сообщили, и примирить столько несправедливостей с понятием о справедливом Боге, коего существование вы мне возвещаете? Окажите милость; покажите мне ту отдаленную страну, где творится столько чудес, невиданных у нас! Объясните мне, почему обитатели этого самого Иерусалима обошлись с Господом как с разбойником. Вы утверждаете, что они не признали его за Бога? А что же делать мне, никогда не слышавшему о нем ни от кого, кроме как от вас? Вы оправдываетесь тем, что они понесли наказание, были рассеяны по всей земле, угнетены, обращены в рабство; что никто из них больше не приближается к этому городу. Несомненно, они вполне заслужили это, но что говорят нынешние жители города о богоубийстве, совершенном их предшественниками? Они отказываются от этого, они также не признают Бога за Бога? Так не проще ли было бы оставить город прямым потомкам тех людей?

Как! в том самом городе, где умер Бог, ни древние, ни современные его обитатели не признавали и не признают Бога! А вы хотите, чтобы я, который родился две тысячи лет спустя и в двух тысячах лье оттуда, признал его?! Неужто вам непонятно, что, прежде чем поверить этой книге, называемой священной, в которой тем не менее я ничего не понимаю, я должен узнать не от вас, а от других, когда и как она была составлена, как сохранилась и дошла до вас; какие доказательства приводят те, что отрицают ее, — отрицают, хотя знакомы с вашим учением так же хорошо, как вы сами. Вам должно быть ясно, что мне совершенно необходимо побывать в Европе, Азии, Палестине, чтобы самому все расследовать; только безумец мог бы принять вашу религию, не сделав этого».

Вот такое рассуждение кажется мне вполне разумным; более того, я утверждаю, что каждый здравомыслящий человек должен рассуждать в подобном случае именно так, отослав подальше миссионера, который, не давая никакого доказательства своих слов, спешит наставить и окрестить бедного грешника. И я настаиваю, что вышеизложенные возражения годны для любой религии так же, как и для христианской. Отсюда следует, что если и существует истинная религия и если каждый человек обязан исповедовать ее под страхом проклятия, то следует всю свою жизнь провести в изучении, углублении, сравнении всех остальных религий и в путешествиях по тем странам, где они возникли. Никто не освобождается от этого первейшего человеческого долга, никто не имеет права полагаться на чужое суждение. Ремесленник, живущий только своим трудом, неграмотный пахарь, нежная и робкая девушка, калека, еле сползающий со своего ложа, — все без исключения должны изучать, размышлять,

оспаривать, путешествовать, разъезжать по свету: не будет больше оседлого народа; по всей земле пойдут пилигримы, решившиеся на далекие странствия; не считаясь ни с большими издержками, ни с длительной усталостью, они будут проверять, сравнивать и исследовать различные культы. И тогда прощай ремесла, искусства, науки людей и все их гражданские обязанности; тогда не будет иных занятий, кроме исследования религии; и едва ли тот, кто пользовался самым крепким здоровьем, умел лучше употребить свое время и разум и прожил больше всех, хотя бы к концу жизни поймет что-нибудь путное, — хорошо еще, если перед смертью он по крайней мере узнает, в какой вере ему следовало жить.

Если же вы согласитесь смягчить этот метод и дадите человеку малейшую возможность проявить свою волю при избрании религии, значит, вы сдали все свои позиции: ведь сын христианина следует религии своего отца, не вдумываясь в ее суть, и, как вы полагаете, он поступает хорошо, так почему же сын турка делает плохо, следуя религии своего отца? Все, кто не терпит иноверия, не ответят на это ничего, что удовлетворило бы здравомыслящего человека.

Под давлением таких доводов одни скорее предпочтут навлечь на Бога обвинения в несправедливости, наказывая невинных за грехи отцов, нежели отказаться от своего варварского догмата. Другие выходят из затруднения, неизменно посылая ангела просветить того, кто, оставаясь непросвещенным в отношении религии, отличался бы в то же время высокой нравственностью. Прекрасная выдумка этот ангел! Им мало того, что они развратили народ всеми этими выдумками, — они и самого господа Бога хотели бы заставить пользоваться ими.

Вы видите, сын мой, до какой нелепости доходит гордость и нетерпимость, когда каждый упорствует в своем мнении и уверен, что из всего рода человеческого он один прав. Беру в свидетели того Творца мира, которому поклоняюсь и которого вам возвещаю, что все мои поиски были искренни. Но, видя, что они были и всегда будут безуспешными и что я погружался в безбрежный океан, я возвратился к самому себе и ограничил свою веру первоначальными своими понятиями. Я не мог никогда поверить, чтобы Бог повелевал мне под угрозой адом быть ученым. Итак, я запер все книги. Одна только книга открыта всем очам, это книга природы. Из этой великой и возвышенной книги я и научаюсь служить и поклоняться своему Божественному Создателю. Никому не извинительно не считаться, потому что она говорит всем людям и языком, понятным для всех умов. Если бы я родился на пустынном острове, если бы я не видал иного человека, кроме себя, если бы я никогда не знал того,

что совершилось в древности в одном уголке мира, я все-таки, упражняя свой разум и развивая его, пользуясь надлежащим образом непосредственными, дарованными мне Богом способностями, сам по себе научился бы познавать Его, любить Его, любить дела Его, желать блага, которого Он желает, и, чтобы угодить Ему, исполнять все свои обязанности на земле. Чему большему научило бы меня и все людское знание?

Признаюсь вам также, что святость Евангелия это такой аргумент, который говорит моему сердцу и против которого мне даже жаль было бы найти какое-нибудь дельное возражение. Посмотрите на книги философов со всею присущею им пышностью; как они ничтожны по сравнению с этой книгою! Возможно ли, чтобы книга, столь возвышенная и в то же время столь простая, была произведением человеческим? Возможно ли, чтобы тот, о ком она повествует, и сам был только человеком? Таков ли тон энтузиаста или честолюбивого основателя секты? Какая кротость, какая чистота в Его нравах! какая трогательная прелесть в Его наставлениях! какая возвышенность в Его правилах! какая глубокая мудрость в Его беседах! какое присутствие духа, какая тонкость и правильность в Его ответах! какое у Него господство над страстями! Где человек, где мудрец, который умеет действовать, страдать и умирать без проявления слабости и без самохвальства? Когда Платон изображает своего воображаемого праведника *, заклеяменного всем позором преступления и достойного всех наград добродетели ⁸⁹, он черта в черту рисует Иисуса Христа; сходство столь поразительно, что все святые Отцы ⁹⁰ чувствовали его, да и нельзя на этот счет ошибиться. Какие предубеждения, какое ослепление нужно иметь, чтобы осмелиться сравнивать сына Софрониска ⁹¹ с Сыном Марии! Какая разница между одним и другим! Сократ, умирающий без боли, без позора, легко выдерживает до конца свою роль; и если бы эта легкая смерть не покрыла почетом его жизнь, можно было бы сомневаться, не был ли Сократ, при всем своем уме, не чем иным, как софистом. Он изобрел, говорят, мораль; но другие раньше него применяли ее на практике: он лишь говорил то, что те делали, он лишь извлекал уроки из их примеров. Аристид ⁹² был справедливым прежде, чем Сократ определил, что такое справедливость; Леонид ⁹³ умер за свою страну прежде, чем Сократ из любви к отечеству создал долг; Спарта была воздержанною прежде, чем Сократ воздал должную похвалу воздержанности; прежде чем он дал определение добродетели, Греция изобиловала добродетельными людьми. Но где у своего народа мог Иисус

* Государство, Диалог, 2.

заимствовать эту возвышенную и чистую мораль, уроки и пример которой он один давал? * Из среды самого бешеного фанатизма провозглашена была самая возвышенная мудрость, и простодушие самых героических добродетелей почтило презреннейший из всех народов. Смерть Сократа, спокойно философствовавшего со своими друзьями, — самая приятная, какую только можно пожелать; смерть же Иисуса, испустившего дух среди мук, поносимого, осмеиваемого и проклиняемого всем народом, — самая ужасная, какой только можно бояться. Сократ, принимая чашу с отравой, благословляет человека, с плачем подающего ее; Иисус, среди ужасного мучения, молится за своих остервенелых палачей. Да, если жизнь и смерть Сократа достойны мудреца, то жизнь и смерть Иисуса суть жизнь и смерть Бога. Скажем ли мы после этого, что евангельская история произвольно вымышлена? Друг мой, вымыслы бывают не таковы; а деяния Сократа, в которых никто не сомневается, менее засвидетельствованы, чем деяния Иисуса Христа. В сущности это значило бы переносить в другое место трудность, а не устранять ее; непостижимым было бы еще более предположение, что несколько человек сообща сфабриковали эту книгу, сюжет для которой доставило всего одно лицо. Иудейские писатели никогда не выдумали бы ни этого тона, ни этой морали; а Евангелие включает в себе столь великие, столь поразительные, столь неподражаемые черты истины, что изобретатель был бы еще более удивительным, чем самый герой. Но при всем том, это самое Евангелие полно вещей невероятных, вещей, которые противоречат разуму и которые невозможно ни одному разумному человеку ни постичь, ни допустить. Что делать среди всех этих противоречий? Быть, дитя мое, всегда скромным и осмотрительным, уважать молча то, чего не можешь ни отвергнуть, ни понять, и смиряться перед Великим Существом, которое одно знает истину.

Вот тот невольный скептицизм, в котором я пребываю, но этот скептицизм несколько для меня не тягостен, потому что он не простирается на существенные для практической жизни пункты и потому что я имею твердо установившийся взгляд на основы всех моих обязанностей. Я служу Богу в простоте своего сердца. Я стремлюсь знать лишь то, что важно для моего поведения. Что касается догматов, которые не оказывают влияния ни на поступки, ни на мораль и над которыми мучаются столько людей, то я несколько о них не беспокоюсь. Я смотрю на все частные религии как на спасительные учреждения, которыми в каждой стране предписывается однообразный способ поклонения Богу путем общественного культа и которые

* Смотрите Евангелие от Матвея, стих 5, V, 21.

все могут иметь для себя основание в климате, правлении, народном характере или в какой-нибудь другой местной причине, делающей одну из них более предпочтительною, чем другая, смотря по времени и месту. Я считаю все их хорошими, если люди при них надлежащим образом служат Богу. Существенное служение Богу — это служение в сердце. Бог не отвергает поклонения, когда оно искренне, под какой бы формой оно ни предлагалось. Призванный на служение церкви в той религии, которую я исповедую, я со всею возможною тщательностью выполнял предписанные мне труды, и совесть моя упрекала меня, если я добровольно манкировал в каком-нибудь отношении своими обязанностями. После долгого запрещения я получил, как вы знаете, благодаря влиянию г. Меллареда, позволение вернуться к исполнению своих обязанностей, чтобы иметь средства для пропитания. Прежде я служил мессу с тем легкомыслием, которое мы постепенно проявляем по отношению к важнейшим вещам, если их выполняем слишком часто; со времени усвоения своих новых принципов я служу ее с бóльшим благоговением: я проникаюсь величием Верховного Существа, мыслю о его присутствии, о недостаточности человеческого ума, который столь мало постигает все относящееся к его Творцу. Не забывая, что я возношу Ему в установленной форме обеты народа, я тщательно слежу за всеми обрядами; я читаю внимательно, стараюсь никогда не пропустить ни одного слова и ни одной обрядности; когда приближается момент освещения даров, я отрешаюсь от всего земного, чтобы совершить его в том настроении, которого требует церковь и величие таинства; я стараюсь уничтожить свой разум перед Верховным Разумением; я говорю себе: «Кто ты такой, что пытаешься измерять бесконечное могущество?» Я произношу с почтением священные слова и читаю в их действии всю ту веру, которая от меня зависит. Что бы ни скрывалось за этою непостижимою тайной, я не боюсь, что в день суда буду наказан за то, что оскорблял ее когда-нибудь в своем сердце.

Будучи удостоен священнослужения, хотя и в низшем сане, я не стану никогда ни совершать, ни говорить ничего такого, что делало бы меня недостойным исполнять высокие обязанности. Я всегда буду проповедовать людям добродетель, буду всегда увещевать их делать добро и, пока буду в состоянии, стану подавать им пример этого. Не в моей власти сделать религию любимой для них, не от меня зависит укрепить их веру в догматах истинно полезных, в таких, которым всякий человек обязан верить; но сохрани меня Бог, если бы я стал когда-нибудь проповедовать им жестокий догмат нетерпимости, если бы я когда-либо заставлял их проклинать своего ближнего, говорить другим людям: «вы будете осуждены», говорить:

«вне церкви нет спасения!» * Если бы я был в сани, более выдающемся, это уклонение могло бы доставить мне много хлопот; но я настолько ничтожен, что мне нечего особенно бояться, и я почти не могу спуститься ниже, чем я теперь. Что бы там ни случилось, я не стану никогда хулить божественную справедливость и не буду лгать на духа святого.

Я долго добивался чести быть приходским священником; я и теперь еще добиваюсь, но уже не надеюсь на это. Я ничего не нахожу, мой добрый друг, прекраснее звания священника ⁹⁴. Хороший священник — служитель добра, как хороший судья есть служитель справедливости. Священнику совершенно незачем делать зло; если он не может сам по себе всегда делать добро, то для него всегда уместное дело — побуждать к этому других, и он часто достигает цели, если умеет внушить к себе уважение. О, если бы у меня был в наших горах какой-нибудь бедный приход, среди добрых людей! Я был бы счастлив; ибо мне кажется, что я составлял бы счастье своих прихожан. Я не делал бы их богатыми, но разделял бы их бедность; я снимал бы с них пятно позора и презрения, более невыносимого, чем самая нужда. Я заставлял бы их любить согласие и равенство, которые часто изгоняют нищету и делают ее всегда сносною. Когда они видели бы, что мне живется ничем не лучше, чем им, и я все-таки доволен жизнью, они научились бы утешаться в своем жребии и жить довольными, как я. В своих наставлениях я держался бы не столько духа церкви, сколько духа Евангелия, где догматы просты и мораль возвышенная, где мало различных обычаев и много дел христианской любви. Прежде чем преподать им, что нужно делать, я всегда старался бы выполнить это на практике, чтобы они хорошо видели, что у меня слова ни в чем не расходятся с мыслью.

Если бы у меня в соседстве или в приходе были протестанты, я не делал бы различия между ними и моими настоящими прихожанами во всем том, что касается христианской любви; я всех их одинаково побуждал бы к взаимной любви, склонял бы смотреть друг на друга, как на братьев, уважать все религии и мирно жить каждому в своей. Я думаю, что побуждать кого-нибудь покинуть ту религию, в которой он родился, — значит побуждать делать зло, а следовательно, и самому его делать. В ожидании большего просвещения станем охранять общественный порядок; станем уважать во всякой стране законы и не будем нарушать культа, который они предписывают:

* Обязанность держаться религии своей страны и любить эту религию не простирается на догматы, противные доброй нравственности, такие, как догмат нетерпимости. Этот именно ужасный догмат и вооружает одних людей на других и делает всех их врагами человеческого рода.

не будем склонять граждан к неповиновению; ибо мы не знаем достоверно, лучше ли для них будет переменять свои убеждения на другие, но очень хорошо знаем, что неповиновение законам есть зло.

Я только что изложил вам, юный друг, мое исповедание веры в том виде, как бог читает в моем сердце; вы первый, перед которым я это сделал: вы, быть может, единственный человек, который будет это знать. Пока остается некоторая добрая вера между людьми, не нужно смущать мирных душ и тревожить верования простых людей трудностями, которых они не в состоянии разрешить и которые тревожили бы их, не просвещая. Но раз все поколеблено, нужно сохранить ствол, пожертвовав ветвями. Совесть волнуемая, нерешительная, почти погасшая и находящаяся в таком состоянии, как была ваша, нуждается в подкреплении и пробуждении; и, чтобы снова дать ей прочную основу в вечных истинах, нужно окончательно вырвать те колебавшиеся столбы, за которые она думает еще удержаться.

Вы в том критическом возрасте, когда ум приучается ценить достоверность, когда сердце получает свою собственную форму и свой характер, когда человек определяется на всю жизнь, будь то в хорошую сторону или в другую. Позднее сущность утрачивается, и новые заимствования уже не заметны. Молодой человек, налагайте на вашу душу, пока еще гибкую, печать истины. Если бы я был более уверен в себе, я принял бы по отношению к вам догматический и решительный тон; но я — человек невежественный, подверженный заблуждению; что я мог делать? Я открыл вам свое сердце без всякой утайки; что я принимаю за достоверное, то и вам я выдал за таковое же; сомнения свои я выдавал вам за сомнения, мнения свои — за мнения; я высказал вам, почему я сомневаюсь и почему верую. Теперь ваше дело — судить; вы потребовали отсрочки; это предосторожность разумная: она внушает мне хорошее мнение о вас. Начните с того, чтобы сделать свою совесть способной желать просвещения. Будьте искренни с самим собою. Усвойте из моих чувствований то, в чем я убедил вас, отбросьте остальное. Вы еще не настолько испорчены пороком, чтобы для вас была опасность сделать дурной выбор. Я предложил бы вам переговорить об этом сообща; но когда вступают в споры, сейчас же является задор; примешивается тщеславие и упорство, и всякое чистосердечие пропадает. Друг мой, никогда не вступайте в споры; ибо спором не просвещают ни себя, ни других. Что касается меня, то лишь после многих лет размышления я принял решение; и я держусь его, моя совесть спокойна, сердце мое довольно. Если бы мне захотелось произвести новое испытание своих чувствований, я не внес бы в него более чистой любви

к истине, и ум мой, уже не столь деятельный, был бы менее способен познавать ее. Я останусь при теперешнем образе мыслей из опасения, чтобы склонность к созерцанию, став праздною страстью, незаметно не охладила моего рвения к исполнению своих обязанностей и чтобы мне снова не впасть в прежний скептицизм, выйти из которого у меня уже не было бы сил. Больше половины моей жизни протекло, и мне едва хватит времени на то, чтобы извлечь пользу из остального и добродетелями загладить свои заблуждения. Если я обманываюсь, то помимо воли. Кто читает в глубине моего сердца, тот хорошо знает, что я неохотно пребываю в ослеплении. При невозможности избавиться от него путем моих собственных познаний, для меня остается единственным средством выйти из него — добрая жизнь; и если даже из камней Бог может породить детей Аврааму, то всякий человек имеет право надеяться получить внутреннее просвещение, когда он делается достойным его.

Если мои размышления приводят вас к тому же образу мыслей, какой имею я, если мои чувствования становятся вашими и вы принимаете такое же исповедание веры, то вот какой я даю вам совет: не подвергайте дольше вашу жизнь искушениям нищеты и отчаяния; не влачите ее с позором, на издвигении иноземцев; перестаньте питаться дешевым хлебом милостыни. Вернитесь в свое отечество, принимайте снова религию своих отцов, держитесь ее в чистоте своего сердца и уже не покидайте; она — самая простая и самая святая; из всех религий, существующих на земле, это, по-моему, такая, мораль которой наиболее чиста и которою больше всего удовлетворяется разум. Что касается издержек путешествия, то не затрудняйтесь этим вопросом: вас снабдят нужным. Не бойтесь также фальшивого стыда по поводу унижительного возвращения; краснеть нужно за промахи, а не за исправление их. Вы еще в таком возрасте, когда все прощается, но когда нельзя уже грешить безнаказанно. Когда вы захотите слушаться своей совести, тысячи пустых препятствий исчезнут по ее голосу. Вы почувствуете, что при той неизвестности, в которой мы находимся, было бы непростительным сомнением исповедовать другую религию, а не ту, в которой мы родились, и было бы криводушием не исполнять искренно предписаний религии, которую исповедуешь. Кто сбивается с пути, тот отнимает у себя важный повод к извинению перед судилищем Верховного судьи. Не простит ли он скорее то заблуждение, в котором мы воспитаны, чем то, которое мы осмелились сами себе выбрать?

Друг мой, пусть душа ваша всегда будет в таком состоянии, чтобы она желала существования Бога, — и вы никогда не будете в этом сомневаться. Впрочем, чью сторону вы ни приняли бы, помните, что

религиозные обязанности независимы от людских учреждений, что праведное сердце есть истинный храм Божества, что во всякой стране и во всякой секте суть нравственного закона заключается в том, чтобы любить Бога выше всего и ближнего своего, как самого себя, что нет религии, которая избавляла бы от нравственных обязанностей, что только эти обязанности истинно необходимы, что внутреннее богопочитание — первая из этих обязанностей и что без веры не существует никакой настоящей добродетели.

Бегите тех, которые под предлогом объяснения природы сеют в человеческие сердца прискорбные учения и наружный скептицизм которых во сто раз положительнее и догматичнее, чем решительный тон их противников. Под высокомерным предлогом, будто они одни просвещены, правдивы и искренни, они властно подчиняют нас своим резким определениям и выдают нам за истинные принципы вещей невразумительные системы, созданные в их воображении. Впрочем, низвергая, разрушая и попирая ногами все, что люди почитают, они отнимают у людей, удрученных горем, последнее утешение в их несчастии, а у могущественных и богатых единственную узду, сдерживавшую их страсти; они вырывают из глубины сердец чувства раскаяния в совершенном преступлении, надежду на добродетель и еще хвастливо выставляют себя благодетелями рода человеческого. Никогда, говорят они, истина не бывает вредною для людей. Я в этом уверен, как и они, и, по моему мнению, это важное доказательство того, что преподаваемое ими учение не есть истина *.

* Обе партии нападают друг на друга с помощью такой массы софизмов, что желание разобрать их все было бы непосильной и безрассудной попыткой; достаточно будет и того, если отметим некоторые из них, по мере того как они представляются. Одним из самых обычных для философской партии софизмов является противоположение предполагаемого народа, составленного из хороших философов, народу, состоящему из дурных христиан, — как будто нацию истинных философов легче создать, чем нацию истинных христиан! Я не знаю, легче ли между отдельными лицами найти одного, чем другого; но я хорошо знаю, что раз речь идет о народах, то нужно предположить и таких лиц, которые без религии будут злоупотреблять философией, подобно тому как наш народ злоупотребляет религией, не зная философии; и этим, мне кажется, значительно изменяется положение вопроса.

Бейль очень убедительно доказал, что фанатизм пагубнее атеизма, — и это неоспоримо; но не менее верно и то, чего он не хотел высказать, именно что фанатизм, хотя бы кровавый и жестокий, есть великая сильная страсть, возвышающая сердце человека, заставляющая его презирать смерть и дающая ему чудесную силу, и что, стоит его лучше направить, и тогда из него можно извлечь самые возвышенные добродетели; меж тем безверие и вообще дух, склонный к умствованию и философствованию, привязывает к жизни, изнеживает, уничижает души, центром всех стра-

Добрый юноша! будьте искренны и правдивы без гордости; умейте быть незнающим, тогда вы не будете обманывать ни себя, ни других. Если когда-нибудь ваши культивированные таланты дадут вам возможность обращаться к людям с речью, говорите им все по

тей делает низкий личный интерес, гнусное человеческое «я», и, таким образом, втихомолку подкапывает истинный фундамент всякого общества; ибо общее в частных интересах настолько ничтожно, что никогда не перевесит того, что есть в них противоположного.

Если атеизм не ведет к пролитию людской крови, то это не столько вследствие миролюбия, сколько вследствие равнодушия к благу; как бы ни шли в мире дела, это мало касается мнимого мудреца — лишь бы ему оставаться покойно в своем кабинете. Его принципы не ведут к убийству людей, но они мешают им нарождаться, так как разрушают нравы, ведущие к размножению людей, отрешают последних от людского рода, сводят все их привязанности к скрытому эгоизму, столько же губительно для народонаселения, как и для добродетели. Философское равнодушие похоже на спокойствие государства под игом деспотизма; это — спокойствие смерти; оно разрушительнее самой войны.

Таким образом, хотя фанатизм по своим непосредственным действиям губительнее того, что теперь называют философским духом, но в своих отдаленных последствиях он гораздо менее губителен. Притом же в книгах легко выставить напоказ прекрасные правила; но весь вопрос в том, основаны ли они на учении, необходимо ли они из него вытекают; а этого до сих пор ясно не обнаруживалось. Остается еще знать, сумеет ли философия, когда она будет при полной свободе и на троне, хорошо повелевать мелким тщеславием, корыстью, честолюбием, мелкими страстями людей и проявит ли на деле то столь нежное человеколюбие, которым хвалится, держа в руке перо.

Со стороны принципов философия не может создать никакого блага, которого не создала бы еще лучше религия, а религия много создает такого, чего философия не может создать.

Со стороны практики — другое дело; но тут нужно еще исследовать вопрос. Ни один человек не следует во всем своей религии, если он имеет ее, — это верно; большинство людей почти не имеют ее и вовсе не следуют той, которой держатся, — это тоже верно; но некоторые ведь все-таки имеют же религию и следуют ей, по крайней мере отчасти, и нет сомнения, что религиозные мотивы часто препятствуют им делать зло и вызывают их на добродетели, на похвальные поступки, которых не было бы без этих мотивов.

Если монах отрицает вклады, то что отсюда следует, как не то, что доверивший их ему был глупцом? Если бы Паскаль⁹⁵ отрицал вклады, это доказывало бы, что Паскаль был лицемером, — и ничего больше. Но монахи!.. Можно ли, значит, о людях, промышляющих религией, сказать, что они веруют? Все преступления, которые совершаются среди духовенства, как и в других местах, доказывают не то, что религия бесполезна, но что очень немногие люди веруют.

Наши современные правительства, бесспорно, обязаны христианству большей прочностью своей власти и малочисленностью революций; оно и самые правительства сделало менее кровавыми; это фактически доказывается сравнением их с древними правительствами. Религиозное просвещение, изгоняя фанатизм, придало больше мягкости христианским

совести, не заботясь о том, одобряют ли они вас. Злоупотребление знанием порождает собою недоверчивость. Всякий ученый пренебрегает обычным чувствованием; каждый хочет чувствовать по-своему. Гордая философия ведет к фанатизму. Избегайте этих крайно-

правам. Это изменение не дело литературы; ибо всюду, где литература процветала, человечность не была в большом почете; об этом свидетельствуют жестокости афинян, египтян, римских императоров, китайцев. Сколько дел милосердия совершено во имя Евангелия! Сколько раз возвращалось отнятое, сколько дано удовлетворений благодаря исповеди, которая практикуется у католиков. Сколько примирений и сколько милостыни вызывается и у нас приближением времени причащения! Как сдерживал еврейский юбилейный год жадность узурпаторов! Сколько бедствий он предупреждал! Основанное на законе братство объединяло всю нацию; среди нее не встречалось ни одного нищего. Их нет также у турков, где благотворительные учреждения бесчисленны: турки гостеприимны, по требованию религии, даже по отношению к врагам своей веры.

«Магометане утверждают,— говорит Шарден,— что после испытания, которое последует за всеобщим воскресением, все тела пойдут через мост, называемый *пуль-серро*, перекинутый над вечным огнем,— мост, который можно назвать, говорят они, третьим и последним испытанием и настоящим страшным судом, потому что там именно произойдет отделение добрых от злых» и т. д.

«Персы,— продолжает Шарден,— очень любят упоминать этот мост; и когда кто-нибудь терпит обиду, за которую никоим образом никогда не мог бы получить удовлетворение, то последним утешением для него бывают слова: «Ну, хорошо же! Клянусь живым богом, ты мне заплатишь за это вдвойне в судный день; ты не пройдешь моста *пуль-серро* ⁹⁶, прежде чем меня не удовлетворишь; я уцеплюсь за край твоей одежды и брошусь к твоим ногам». Я знал многих выдающихся людей, и притом всяких профессий, которые, боясь, чтобы кто-нибудь не закричал им «стой!» при переходе по этому страшному мосту, выпрашивали прощения у тех, кто жаловался на них; это сотни раз случалось со мною самим. Люди знатные, которые пазойливо заставляли меня совершать нежелательные для меня поступки, подходили ко мне, спустя некоторое время, когда полагали, что огорчение мое прошло, и говорили мне: «Прошу тебя, *галал бекон аншисра*», т. е. извини мне это. Иные даже делали мне подарки и оказывали услуги, чтобы я простил им и показал, что делаю это от всего сердца; причиной всего это служило не что иное, как верование, что нельзя будет пройти адский мост, если не заплатишь до последнего гроша тем, кого угнетал» ⁹⁷ (Том VII, с. 50).

Поверю ли я, чтобы мысль об этом мосте, дающем удовлетворение за столько обид, никогда не предупреждала этих последних? Если отнять у персов эту идею, убедив их, что нет никакого *пуль-серро* и ничего подобного, где бы угнетенные мстили по смерти своим тиранам, то не ясно ли, что это дало бы последним полную свободу и избавило бы их от заботы успокаивать этих несчастных? Значит, не правда, что такая философия не была бы вредной; она, значит, не была бы истинной.

Философ, твои нравственные законы очень прекрасны; но покажи мне, сделай милость, чем они санкционируются. Перестанем хоть на один момент молоть вздор, и скажи мне прямо, чем ты замещаешь *пуль-серро*.

стей; оставайтесь всегда твердо на пути истины или того, что вам будет казаться истиной в простоте вашего сердца, никогда не сворачивая с него из-за тщеславия или вследствие слабости. Смело исповедуйте Бога перед философами; смело проповедуйте человечность людям, не терпящим иной веры. Вы, быть может, один будете составлять свою партию; но вы в самом себе будете носить свидетельство, которое избавит вас от необходимости ссылаться на свидетельства людей. Пусть они любят вас или ненавидят, пусть читают или презирают ваши книги, это не важно. Говорите, что истинно; делайте, что благо; исполнять свои обязанности на земле — вот что важно для человека; и, только забывая себя, работают для себя самих. Сын мой, личный интерес нас обманывает, и только надежда на справедливое не обманывает».

Я переписал это сочинение не в качестве образца, которому должны следовать наши чувствования в деле религии, но чтобы показать пример, как можно рассуждать с воспитанником, не уклоняясь от методы, которую я пытался установить. Пока мы не придаем значения ни авторитету людей, ни предрассудкам страны, где мы родились, один естественный свет разума среди условий, данных природой, не может повести нас дальше естественной религии, а этим я и ограничиваюсь по отношению к моему Эмилю. Если он должен иметь другую религию, я не имею уже права быть в этом деле его руководителем; ему одному принадлежит право выбрать ее.

Мы работаем в согласии с природой и, пока она формирует человека физически, пытаемся сформировать существо нравственное; но наши успехи не одинаковы. Тело уже крепко и сильно, в то время как душа еще немощна и слаба; и что бы ни могло сделать человеческое искусство, темперамент всегда предшествует разуму. Сдерживать один и возбуждать другой — вот к чему мы доселе всячески стремились для того, чтобы человек всегда был единым, насколько это возможно. Развивая природные свойства, мы задерживали зарождавшуюся чувствительность; мы ее регулировали, развивая разум; умственные предметы умеряли действие чувствительных предметов. Восходя к началу вещей, мы изъяли своего воспитанника из власти чувств; от изучения природы не трудно было подняться до вопроса о Творце.

Когда мы дошли до этого, сколько приобрели мы новых способов влияния на своего воспитанника! Сколько у нас новых способов обращаться к его сердцу! Только теперь истинный интерес свой он видит в том, чтобы быть добрым, делать добро, вдали от людских взоров и без принуждения со стороны законов, быть справедливым перед Богом и собою, исполнять долг свой, даже жертвуя жизнью,

и носить в сердце добродетель не только из-за любви к порядку, которую всякий ставит всегда ниже любви к себе, но и из-за любви к Творцу своего бытия, любви, которая сливается в одно с этою любовью к себе, — чтобы наслаждаться, наконец, тем прочным счастьем, которое обещает ему в будущей жизни покойная и чистая совесть и созерцание этого Верховного Существа, раз он хорошо воспользуется этою жизнью. Вне этого я вижу лишь несправедливость, лицемерие и ложь между людьми; личный интерес, который при взаимной борьбе необходимо берет верх над всем, учит каждого из них маской добродетели прикрывать порок. «Пусть все прочие люди хлопчут о моем благе в ущерб своему; пусть все делается для меня одного; пусть весь род человеческий умирает, если нужно, в горе и нищете, чтобы избавить меня на минуту от страдания или голода» — вот тайные речи всякого неверующего, пускающегося в рассуждения. Да, я всю жизнь буду держаться того убеждения, что, кто сказал в своем сердце: «Нет Бога», а открыто говорит иначе, тот оказывается лжецом или безумцем.

Читатель, при всем моем старании я чувствую, что мы с вами никогда не будем видеть моего Эмиля в одинаковом свете; вы всегда будете представлять его похожим на ваших молодых людей, всегда нерассудительным, стремительным, ветреным, кидающимся от праздника к празднику, с увеселения к увеселению, никогда не способным ни на чем остановиться. Вам смешно будет видеть, как я из молодого человека, пылкого, живого, горячего, запальчивого, переживающего самый бурный возраст жизни, делаю созерцателя, философа, настоящего богослова. Вы скажете: «Этот мечтатель вечно гоняется за своей химерой; представляя нам юношу, воспитанного на свой образец, он не формирует его, а создает, извлекает из своего мозга и, воображая, что постоянно следует природе, ежеминутно от нее уклоняется». Я же, сравнивая своего воспитанника с вашими, с трудом нахожу, что может быть между ними общего. При столь различном воспитании было бы почти чудом, если б он походил в чем-нибудь на них. Он детство свое провел в полной свободе, которую ваши воспитанники получают лишь в юности; а в юности он начинает подчиняться правилам, меж тем как ваши воспитанники были подчинены им в детстве. Для ваших воспитанников правила эти становятся бичом, они чувствуют ужас перед ними, видят в них продолжительную тиранию учителей и думают, что выходить из детства значит стряхнуть с себя всякое иго *; тогда-то они и вознаграждают себя за долгое принуждение, в котором их держали, подобно тому

* Никто не смотрит на детство с таким презрением, как только что вышедшие из него, подобно тому как и чины с наибольшей тщательностью

как освобожденный от оков узник протягивает, двигает и разгибает свои члены.

Эмиль, напротив, считает для себя честью сделаться человеком и подчиниться игу нарождающегося разума; тело его, уже сформированное, не нуждается теперь в прежних движениях и само собою начинает останавливаться, зато ум его, наполовину развившийся, начинает, в свою очередь, расправлять свои крылья. Таким образом, возраст разума для одних является лишь возрастом своеволия, для другого же он делается порою рассудительности.

Хотите знать, кто из них стоит ближе в этом отношении к естественному порядку,— обратите внимание на разницу, которая наблюдается при большем или меньшем удалении от этого порядка: наблюдайте молодых крестьян и посмотрите, такие ли они не сдержанные, как ваши. «В детстве,— говорит г. Ле Бо *,— дикари постоянно деятельны и непрерывно заняты различными играми, которые приводят в движение их тело; но лишь только достигают юношеского возраста, они становятся спокойными, мечтательными; они занимаются уже почти только серьезными играми или азартными». Эмиль, воспитанный в полной свободе, как крестьянские парни и молодежь у дикарей, подросши, должен, как и они, измениться и успокоиться. Вся разница в том, что он проявлял свою деятельность не исключительно с целью играть или питаться, что в своих трудах и играх он научился мыслить. И вот, дошедши таким путем до этого предела, он оказывается вполне подготовленным и для того пути, на который я его вывожу; вызывающие на размышление предметы, которые я ему представляю, возбуждают его любопытство, потому что они прекрасны сами по себе, совершенно новы для него и потому что он в состоянии их понять. И наоборот, раз вы надоедаете, мучите своими приторными уроками, длинными правоучениями, вечными наставлениями в вере, как после этого вашим молодым людям не отказываться от умственной работы, которую вы сделали скучной для них, от обузы наставлений, которыми не перестают их заваливать, от размышлений о Творце их бытия, которого представили врагом их удовольствий! Все это внушает им лишь отвращение, тошноту, скуку; принуждение отбило у них всякую охоту; возможно ли, чтобы теперь, когда они начинают располагать собою, они стали предаваться этим занятиям? Им может нравиться только новое; им уже не нужно ничего такого, что говорят детям. С моим воспитанником та же история: когда он становится взрослым, я говорю с ним, как со

соблюдаются в тех странах, где неравенство не велико и где каждый всегда болтается, чтобы его не смешали с низшим.

* Приключения г. Ле Бо, парламентского адвоката, т. II, с. 70.

взрослым, и высказываю лишь то, что для него ново; он должен находить эти вещи приятными для себя по той же именно причине, по какой они скучны для других.

Вот каким путем я вдвойне выгадываю для него время, задерживая ход природы в пользу разума. Но действительно ли я задержал этот ход? Нет, я только помешал воображению ускорить его; я уравновесил уроками другого рода те преждевременные уроки, которые молодой человек получает со стороны. Раз его увлекает поток наших учреждений, то отвлекать его в обратную сторону, путем иного воспитания, значит не сталкивать с места, а удерживать на нем.

Наконец, приходит и торжественный момент, начертанный природой: «Ему нужно прийти». Раз человеку необходимо умереть, он должен и воспроизводить себя, чтобы род продолжался и сохранялся мировой порядок. Когда по признакам, о которых я говорил, вы предугадаете критический момент, тотчас же оставьте навсегда ваш прежний тон по отношению к нему. Он еще ваш ученик, он уже не воспитанник ваш. Это — ваш друг, это мужчина; обращайтесь отныне с ним, как с мужчиной.

Как! Отречься от своего авторитета, когда он наиболее мне необходим? Предоставить возмужалого юношу самому себе — в момент, когда он меньше всего умеет руководить собою и делает самые большие промахи? Отказаться от своих прав, когда для него важнее всего, чтобы я пользовался ими? Права ваши! Но кто велит вам отказываться от них? Напротив, теперь-то они и начинают существовать для него. Доселе вы ничего не добивались от него иначе, как силою или хитростью; авторитет, требование долга ему были неизвестны; чтобы заставить вас повиноваться, приходилось принуждать его или обманывать. Но вы видите, каким множеством новых цепей опутали вы его сердце. Разум, дружба, признательность, тысяча привязанностей говорят ему голосом, которого он не может не узнать. Порок еще не сделал его глухим к этому голосу; он способен испытывать пока лишь природные страсти. Главная из них, любовь к себе, предает его в ваши руки; привычка точно так же предает его в вашу власть. Если минутный порыв вырывает его у вас, сожаление тотчас же возвращает его к вам; только то чувство, которое привязывает его к вам, постоянно; все прочие проходят и взаимно изглаживают друг друга. Не позволяйте развращать его — и он всегда будет послушным; он лишь тогда начинает быть непокорным, когда уже развращен.

Признаюсь откровенно, что если вы, очертя голову, броситесь в борьбу с его зарождающимися желаниями и вздумаете отнестись к новым потребностям, которые дают ему себя чувствовать, как к

преступлению, то он недолго будет вас слушаться; но раз вы покидаете мою методу, я ни за что уже вам не ручаюсь. Помните всегда, что вы — орудие природы, и вы никогда не будете ее врагом.

Но какое принять решение? Представляются два исхода — потворствовать его наклонностям или бороться с ними, быть его тираном или сообщником; а то и другое ведет к столь опасным последствиям, что поневоле приходится сильно колебаться в выборе.

Первый способ разрешить затруднение — это поскорее женить его; это самое верное и самое естественное средство. Я сомневаюсь, однако, чтоб оно было наилучшим и полезнейшим. Ниже я приведу свои основания, а пока я соглашаюсь, что действительно нужно женить молодых людей в возмужалом возрасте. Но возраст этот наступает для них раньше времени; мы именно и сделали его преждевременным; его нужно оттянуть до полной зрелости.

Если бы приходилось слушаться только наклонностей и следовать их указаниям, дело было бы очень просто; но между правами природы и нашими социальными законами столько противоречий, что для примирения их приходится беспрестанно лавировать и увертываться; нужно употребить много искусства, чтобы помешать человеку, живущему в обществе, быть совершенно искусственным.

На основании вышеизложенного я полагаю, что помощью указанных мною средств и других подобных можно продлить, по меньшей мере до двадцати лет незнакомство с вожделениями и чистоту чувств; это настолько верно, что у германцев молодой человек, терявший свою невинность до этого возраста, считался обесчестившим себя; а писатели крепость телосложения и многочисленность детей справедливо объясняют воздержанностью этих народов в пору юности ⁹⁸.

Можно даже еще больше продлить эту пору, и несколько веков тому назад это было самым обыкновенным явлением даже во Франции. В числе других известных примеров отец Монтеня, человек добросовестный и правдивый, сильный и хорошо сложенный, клятвенно уверял, что женился невинным 33 лет от роду, прослужив долго в итальянских войсках; а в сочинениях сына можно видеть, какую бодрость и веселость сохранял отец в 60 с лишком лет ⁹⁹. Противное мнение, несомненно, основывается скорее на наших нравах и предрассудках, чем на знакомстве с людским родом вообще.

Я могу, значит, оставить в стороне пример, представляемый нашей молодежью: он ничего не доказывает для того, кто не так воспитан, как она. Принимая в расчет, что природа не поставила тут неизменного предела, который нельзя было бы придвинуть или отдалить, я, думаю, мне, могу, не выходя из ее законов, предположить,

что Эмиль, благодаря моим заботам, остался доселе в своей первобытной невинности, и я вижу, что эта счастливая пора близка к концу. Окруженный опасностями, постоянно возрастающими, он при первом же случае, что бы я ни делал, ускользнет от меня; а случай этот не замедлит представиться; он последует за слепым инстинктом чувственности, и можно, на сколько угодно, держать пари, что он погубит себя. Я столько размышлял о нравах людей, что отлично вижу неотразимое влияние этого первого момента на остальную его жизнь. Если я притворюсь и сделаю вид, что ничего не замечаю, он воспользуется моею слабостью; уверенный, что обманывает меня, он станет презирать меня, и я сделаюсь соучастником его гибели. Если я попытаюсь сдерживать его, попытка окажется несвоевременной: он уже не станет слушать меня: я сделаюсь для него неудобным, ненавистным, невыносимым; он не замедлит развязаться со мною. Мне остается поэтому принять единственное разумное решение — сделать его самого ответственным за свои поступки, предостеречь его по крайней мере от нечаянных заблуждений и открыто показать ему опасности, которыми он окружен. Доселе я останавливал его с помощью его же неведения; теперь приходится останавливать его путем знания.

Эти новые наставления весьма важны, и дело следует начать несколько издалека. Это момент, когда приходится отдать ему, так сказать, отчет в своих действиях, указать ему, на что употреблено мое и его время, объявить ему, что такое он и что такое я, что сделал я и что он сделал, чем мы обязаны друг перед другом, показать ему все его нравственные отношения, все обязательства, которые он сам заключил, и все те, которые другие заключили с ним, показать, какого пункта достиг он в развитии своих способностей, какой путь остается ему сделать, какие трудности он встретит, какие существуют средства преодолеть эти трудности, в чем я пока еще могу ему помогать и в чем отныне он может сам себя поддерживать, указать, наконец, в каком критическом положении он находится, какие новые опасности его окружают, и выставить ему на вид все те веские причины, которые должны принудить его внимательно следить за самим собою, прежде чем послушаться своих зарождающихся желаний.

Не забывайте, что для руководства взрослым приходится принимать меры, противные тому, что вы предпринимали для руководства ребенком. Не колеблясь, посвятите его в те опасные тайны, которые вы так долго и с такою заботливостью скрывали от него. Так как нужно же, наконец, чтоб он знал их, то важно, чтоб он узнал не от другого и не сам собою, а от вас одних; так как отныне он вы-

нужден бороться с ними, то, чтобы не быть застигнутым врасплох, ему нужно узнать своего врага.

Никогда молодым людям, которые оказались, сами не зная как, опытными в этих предметах, знание это не проходит даром. Эти нескромные уроки, которые не могут быть преподаваемы с честною целью, по меньшей мере грязнят воображение молодых людей и располагают их к порокам людей, дающих эти уроки. Этого мало; прислуга таким путем вкрадывается в душу ребенка, приобретает его доверие, заставляет его смотреть на воспитателя как на скучного и неносного человека; любимой у нее темой для тайных бесед бывает злословие над воспитателем. Когда воспитанник дошел до этого, наставник может удалиться: ему тут уже ничего не поделать.

Но почему ребенок выбирает себе особых наперсников? — Все благодаря той же тирании руководителей его. Зачем ему было бы скрываться от них, если б он не был вынужден к этому? К чему он стал бы жаловаться, если бы у него не было никакого повода к этому? Очень естественно, что слуги являются первыми его наперсниками; уже по тому, с какою поспешностью он бежит передать им свою мысль, видно, что он, пока не передаст им, считает ее не совсем обдуманной. Но будьте уверены, что, если ребенок не боится с вашей стороны ни правоучений, ни выговоров, он вам всегда скажет все, что ему не посмеют доверять ничего такого, о чем он должен перед вами умолчать, раз будут уверены, что он ничего перед вами не скроет.

И больше всего заставляет меня полагаться на мою методу то обстоятельство, что, следя, насколько возможно, строго за ее результатами, я не вижу в жизни моего воспитанника ни одного положения, которое не оставляло бы во мне приятного впечатления. Даже в тот момент, когда его увлекает ярость темперамента и когда, возмущившись против сдерживающей его руки, он отбивается и готов от меня вырваться, в этих волнениях, в этих порывах я все еще встречаю его первоначальную простоту; сердце его, столь же чистое, как и тело, не знает ни скрытности, ни порока; упреки и презрение не делали его трусливым; низкий страх никогда не учил его лицемерить. Он обнаруживает всю откровенность невинности; он наивен без нерешительности; он еще не знает, к чему служит обман. В его душе не происходит ни одного движения, которого не выдавали бы его уста или взоры, и нередко чувства, им испытываемые, мне скорее делаются известными, чем ему.

Пока он продолжает свободно открывать мне свою душу и с удовольствием высказывать мне свои мысли, мне нечего бояться: опасность еще не близка; но если он становится более робким и сдержан-

ным, если я замечаю в его речах первое замешательство стыда, то, значит, инстинкт уже развивается в нем, и к нему уже начинает присоединяться понятие о зле; тут нельзя уже терять ни минуты, и, если я не тороплюсь научить его, он скоро будет научен помимо воли моей.

Многие читатели, даже принимающие мои идеи, подумают, что здесь сводится все к разговору, наугад затеянному с молодым человеком, и что этим кончается дело. О, не так управляют человеческим сердцем! Слова ничего не значат, если мы не подготовили момента, чтобы сказать их. Прежде чем сеять, нужно вспахать землю; семя добродетели всходит нелегко; нужна долгая подготовка, чтобы укоренить его. Одною из причин, почему проповеди бывают особенно бесполезными, является то обстоятельство, что с ними обращаются безразлично ко всем людям, без толку и выбора. Как можно думать, что одна и та же проповедь годится для стольких слушателей, столь несходных по уму, темпераментам, возрасту, полу, состоянию, мнениям? Говорится всем, но не найдешь, быть может, и двоих, которым бы это одинаково годилось; а все наши душевные движения настолько непрочны, что в жизни каждого человека не бывает и двух моментов, когда одна и та же речь производила бы на него одно и то же впечатление. Посудите сами, время ли слушать серьезные уроки мудрости, когда воспламененные чувства затемняют рассудок и насилуют волю? Не вразумляйте же никогда молодых людей, даже в возрасте разума, если вы предварительно не сделали их способными понимать вас. Большинство речей пропадает даром гораздо скорее по вине учителей, чем по вине учеников. Педант и наставник говорят почти одно и то же; но первый говорит при всяком случае, а второй тогда, когда уверен в их действии.

Как лунатик, блуждая во сне, спящим ходит по краям пропасти, в которую упал бы, если бы вдруг проснулся, так и Эмиль мой во сне невинности избегает опасностей, которых не замечает; если я внезапно разбужу его, он погиб. Постараемся прежде удалить его от пропасти, а потом мы разбудим его, чтобы показать ему ее несколько издали.

Чтение, уединение, праздность, изнеженная и сидячая жизнь, общество женщин и молодых людей — вот опасные для его возраста тропинки, которые постоянно держат его на краю опасности. Я направляю его чувства на другие чувственно воспринимаемые предметы; намечая иное течение его жизненным силам, я отвращаю их от того, которое они начали было принимать; упражняя тело утомительными работами, я останавливаю деятельность воображения, его увлекающего. Когда руки много работают, воображение отдыхает;

когда тело сильно утомлено, сердце не разгорячается. Самая сподручная и самая легкая предосторожность — это вырвать его из опасности, сопряженной с местом. Я прежде всего увожу его вон из городов, вдаль от предметов, способных его искушать. Но этого недостаточно: в какой пустыне, в каком диком убежище спасется он от образов, его преследующих? Пустое дело — удалять предметы опасные, если я не удаляю от него и воспоминания о них; если у меня не хватает искусства отдалить его от всего, если я не отвлекаю его от его же собственной личности, то все равно было бы оставить его там, где он был.

Эмиль знает ремесло, но не ремесло это будет здесь нашим средством; он любит земледелие, но земледелия нам недостаточно; знакомые запрятия обращаются в рутину; если он предается им, то это все равно, что ничего не делает; он думает совсем о другом, голова и руки работают отдельно. Ему нужно занятие новое, которое интересовало бы его своею новизной, которое не давало бы ему вздохнуть, правилось бы, поглощало внимание, упражняло его, к которому он пристрастился бы, отдавшись ему всецело. А единственное занятие, соединяющее, мне кажется, все эти условия, — это охота. Если охота бывает когда невинным удовольствием, если когда она прилична человеку, то теперь именно следует обратиться к ней. У Эмиля есть все, что нужно для успеха в ней; он силен, ловок, терпелив, неустойчив. Ему, несомненно, придется по вкусу это упражнение; он вложит в него весь пыл своего возраста; он избавится, по крайней мере на время, от опасных склонностей, зарождающихся от неги. Охота и сердце закаляет так же, как тело; она приучает к крови, к жестокости. Длану создали враждебную любовь, и эта аллегория очень верна: любовные томления зарождаются лишь среди сладкого покоя; сильное упражнение заглушает нежные чувства. В лесах, среди сельских видов, любовник и охотник столь различно бывают настроены, что одни и те же предметы дают им совершенно различные образы. Прохладная тень, рощицы, сладкие убежища для первого представляются другому лишь притонами дичи, логовищами; где один слышит свирели, соловьев, щебетанье, там другому чудится звук рогов и лай собак; один рисует воображением лишь дриады и нимфы, другому представляются лишь доезжкие, своры, кони. Прогуляйтесь по полям с людьми того и другого сорта; по их речи вы сейчас узнаете, что земля имеет для них не одинаковый вид и что оборот их мыслей столь же различен, как и выбор удовольствий.

Для меня понятно, как соединяются друг с другом эти вкусы и как находят, наконец, время на все. Но страсти юности не перемещиваются подобным образом: дайте ей одно занятие, которое она лю-

бит, и скоро все остальное будет забыто. Разнообразие желаний происходит от разнообразия познаний; первые удовольствия, с которыми знакомишься, долго остаются единственным предметом стремлений. Я не хочу, чтобы вся юность Эмиля проходила в умерщвлении зверей, и не имею даже намерения во всем оправдывать эту свирепую страсть; с меня достаточно, если она настолько задержит другую, более опасную страсть, что даст возможность хладнокровно выслушать мои речи об этой последней и даст мне время обрисовать эту страсть, не возбуждая ее.

Есть эпохи в жизни человеческой, которые на то и созданы, чтобы никогда о них не забывать. Такова для Эмиля эпоха тех наставлений, о которых я говорю; она должна повлиять на всю остальную его жизнь. Постараемся же так запечатлеть ее в памяти его, чтоб она никогда не изгладилась. Одно из заблуждений нашего века заключается в том, что мы пускаем в дело один сухой рассудок, как будто бы у людей ничего, кроме ума, и не было. Пренебрегая языком знаков, говорящих воображению, мы лишаем себя самого энергичного из способов выражаться. Впечатление, производимое словом, всегда слабо, и к сердцу гораздо лучше обращаться с помощью глаз, чем с помощью слуха. Желая все основать на рассуждении, мы сводим свои наставления к пустословию и нисколько не влияем на действия. Рассудок сам по себе не деятелен; он тормозит иной раз деятельность, редко возбуждает ее и никогда не совершает ничего великого. Вечно рассуждать — это мания мелких умов. У сильных душ совершенно иной язык; этим-то языком они убеждают и вызывают на деятельность.

Я замечаю, что в новейшие века люди влияют друг на друга больше всего путем силы и материального интереса, так как древние гораздо больше действовали убеждением, настроением души, потому что они не пренебрегали языком знаков. Все договоры совершались торжественно, чтобы таким путем сделать их более ненарушимыми; прежде чем водворилась сила, судьями рода человеческого были боги; пред их-то лицом люди и заключали свои трактаты, союзы, произносили свои обещания; поверхность земли была книгою, в которой содержались эти документы. Утесы, деревья, груды камней, освященные этими актами и ставшие предметом почтения для этих варварских людей, были листами этой книги, постоянно открытой для всеобщего обозрения. Колодезь клятвы, «источник Живого видящего», старая «дубрава Мамре», гора «Иегова-ире»¹⁰⁰ — вот каковы были грубые, но величественные памятники, хранившие святость договоров; никто не осмелился бы посягнуть святотатственной рукой на эти памятники, и добросовестность людей была более обес-

печена ручательством этих немых свидетелей, чем теперь, при всей тщетной суровости законов.

Величавой пышностью царской власти правительства внушали уважение народам. Знаки достоинства — трон, скипетр, пурпуровая одежда, корона, повязка — были для этих последних священными вещами. Эти почетные знаки делали в их глазах достойным почтения и человека, которого они видели украшенным ими; без солдат, без угроз он встречал повиновение, лишь только начинал говорить. А теперь, когда нарочно стараются изъять из употребления эти знаки *, что из этого выйдет? Царственное величие изглаживается из всех сердец; государи внушают повиновение лишь с помощью войск; уважение подданных поддерживается лишь страхом наказания. Короли избавлены от неудобства носить свою диадему, а вельможи — знаки своего достоинства; но зато приходится иметь сто тысяч рук, всегда готовых принудить к исполнению их приказаний. Хотя это им кажется, быть может, лучшим, но легко видеть, что в конце концов эта замена не приведет их к добру.

Изумительны результаты ¹⁰², которых древние достигали красноречием; но это красноречие заключалось не в одних красивых, искусно составленных речах; наибольшее действие оно производило тогда, когда оратор говорил очень мало. Что живее всего трогало, то выражалось не словами, а знаками — люди не говорили, а показывали. Предмет, выставляемый на глаза, потрясает воображение, возбуждает любопытство, держит умы в ожидании того, что скажут, — и часто одним этим предметом было все сказано. Не убедительнее ли это было всяких длинных речей, когда Фрасибул и Тарквиний срезывали маковые головки ¹⁰³, когда Александр прикладывал свою печать к устам своего любимца ¹⁰⁴, когда Диоген прохаживался перед Зеноном ¹⁰⁵? Какой оборот слов мог бы передать так хорошо те же мысли? Дарий, забравшийся в Скифию ¹⁰⁶ со своей армией, получает от скифского царя птицу, лягушку, мышь и пять стрел ¹⁰⁷. Посланный отодвигает этот подарок и возвращается, не сказав ни

* Римское духовенство очень искусно сохранило их, а по его примеру и некоторые республики, между прочим и Венецианская. Поэтому-то венецианское правительство, несмотря на упадок государства, пользуется еще, под прикрытием своего древнего величия, всею привязанностью, всем обожанием народа; и после папы, украшенного своею тиарой, нет, быть может, короля, властителя или иного человека в мире, более уважаемого, чем венецианский дож, лишенный власти и авторитета, но ставший священным, благодаря своей пышности, и носящий под своей герцогской шляпой женский головной убор. Церемония с буцентавром ¹⁰¹, над которой так смеются глупцы, могла бы заставить венецианскую чернь пролить всю свою кровь для поддержания своего тиранического правительства.

слова. В наши дни этого человека приняли бы за безумного. Это устрашающее приветствие было понято, и Дарий поторопился вернуться как можно скорее в свою страну. Замените эти знаки словами; чем больше в последних было бы угрозы, тем меньше они устрашали бы; они оказались бы лишь пустой похвальбой, над которой Дарий насмеялся бы.

Как внимательны римляне к языку знаков! Разнообразные одеяния, сообразные с возрастами и состояниями, тоги, военные плащи, претексты, буллы, латиклавы, курульные кресла, ликторы, связки прутьев, топоры, золотые венки, венки из трав, из листьев, овации, триумфы ¹⁰⁸ — все у них было пышно, представительно, церемониально, все производило впечатление на сердца граждан. Для государства было важно, собирался ли народ в том, а не ином месте, видел ли он перед собою Капитолий ¹⁰⁹ или не видел, стоял ли лицом к сенату или нет, обсуждал ли он дела в такой-то или в иной день. Обвиняемые надевали особую одежду, кандидаты ¹¹⁰ также, воины не хвалились своими подвигами — они показывали раны свои. Я представляю себе картину, как, по смерти Цезаря, какой-нибудь из наших ораторов, желая тронуть народ, стал бы перебирать все общие места, обычные в этом искусстве, с целью дать патетическое описание его ран, крови, трупа; Антоний, хотя и красноречив был, не говорил ничего подобного — он велел принести тело ¹¹¹. Вот это риторика!

Но это отступление незаметно заводит меня, как и многие другие, далеко от моего предмета; а мои отступления настолько часты, что если они длинны, то становятся невыносимыми; итак, возвращаюсь к предмету.

Не пускайтесь никогда в сухие рассуждения с молодежью. Облекайте рассудок в тело, если хотите сделать его доводы чувствительными для нее. Чтоб язык ума сделался понятен, заставьте его проходить через сердце. Повторяю, холодные аргументы склоняют к известным мнениям, но не к действиям, заставляют нас так или иначе думать, но не действовать; ими доказывают, что нужно думать, а не то, что нужно делать. Если это справедливо относительно всех людей, то тем более относительно молодежи, которая находится еще во власти чувств и мыслит лишь настолько, насколько работает воображением.

Итак, даже после тех подготовлений, о которых я говорил, я ни за что не пошел бы, ни с того, ни с сего, в комнату Эмиля, чтобы произнести перед ним тяжелую и длинную речь о предмете, насчет которого хочу его просветить. Я прежде всего затрону его воображение; выберу время, место, обстановку наиболее благоприятную

для желаемого впечатления; призову, так сказать, всю природу в свидетели нашей беседы; призову имя Вечного Существа, создавшего ее, в подтверждение истинности моей речи,— пусть Оно будет судьей между Эмилем и мною; я укажу на место, где мы находимся, на окружающие нас скалы, леса, горы как на свидетельство его и моих обязательств; я вложу в свои взоры, в свой тон и жесты весь тот энтузиазм и жар, который хочу ему внушить. Тогда-то я заговорю с ним, и он станет слушать; я расчувствуюсь, и он будет тронут. Проникшись святостью своих обязанностей, я сделаю для него более священными и его собственные обязанности; силу рассуждения я одушевлю образами и фигурами; я буду не распространяться многоречиво в холодных правоучениях, а изливать свои бьющие через край чувства; рассудок мой будет степенен и поучителен, но сердце мое будет не в состоянии наговориться. Тогда-то, указывая ему все, что я сделал для него, я в то же время покажу ему, что я это делал для самого себя: в моей нежной привязанности он увидит основание всех моих забот. В какое изумление, в какое волнение я повергну его, сразу изменив речь! Вместо того чтобы стеснять его душу, вечно твердя ему об его интересе, отныне я буду говорить ему лишь о своей собственной выгоде,— и я этим больше трону его; я воспламеню его юное сердце всеми чувствами дружбы, великодушия, признательности, которые я зародил уже и которые так приятно поддерживать. Я прижму его к своей груди, проливая над ним слезы умиления; я скажу ему: «Ты — мое добро, ты — мое дитя, мое создание; от твоего счастья я жду своего; если ты обманешь мои надежды, ты украдешь у меня двадцать лет моей жизни, ты сделаешь меня несчастным во дни моей старости». Таким-то образом можно заставить молодого человека выслушать себя и глубоко запечатлеть в его сердце воспоминание о всем сказанном.

Доселе я старался показывать на примерах, как воспитатель должен наставлять своего ученика в трудных случаях. Я покушался было сделать то же самое и в данном случае; но после многих попыток я отказываюсь от этого, убедившись, что французский язык настолько жеманен, что в письменном изложении совершенно не передает этой живой непосредственности, присущей первым представлениям по поводу известного рода предметов.

Французский язык, говорят, самый целомудренный из языков¹¹²; я же, напротив, считаю его самым непристойным; ибо мне кажется, что целомудренность языка должна состоять не в том, чтобы заботливо избегать неприличных оборотов, а в том, чтобы не иметь их действительно. Чтобы избегать их, нужно подумать о них; а нет языка, на котором было бы трудней говорить ч и с т о, во всех смыслах

слова, чем на французском. Читатель, всегда более искусный в отыскании непристойного смысла, чем автор — в умении избегать подобных слов, негодует и всего пугается. Как могут не заразиться грязью слова, воспринимаемые развращенным слухом? Наоборот, народ, отличающийся добрыми нравами, имеет пригодные для всякой вещи выражения, и термины его всегда пристойны, потому что они пристойно употребляются. Невозможно представить себе более скромного языка, чем язык Библии, именно потому, что там все выражено с наивною простотой. Достаточно перевести эти места на французский язык, и они станут нескромными. То, что я должен сказать Эмилю, будет совершенно пристойно и целомудренно для его слуха; но чтоб это показать таковым же и при чтении, для этого нужно было бы иметь сердце столь же чистое, как и у него.

Я думаю даже, что рассуждения об истинной целомудренности речи и о ложной деликатности порока могли бы занять полезное место в тех беседах о нравственности, к которым приводит нас этот предмет; ибо, изучая язык приличий, он должен изучить и язык нравственной скромности, нужно же, чтобы он знал, почему эти два языка столь различны. Как бы то ни было, я утверждаю, что, если вместо пустых наставлений, которыми до срока прожужжат молодежи уши и над которыми она насмехается в том возрасте, когда они были бы своевременны, мы станем выжидать, подготавливать момент для выслушивания их; если с наступлением этого момента изложим юноше законы природы во всей их истинности, укажем ему, как на доказательство непреложности этих знаков, на те физические и нравственные бедствия, которые навлекают на себя виновные в нарушении их; если, говоря ему о непостижимой тайне рождения, мы с идеей привлекательности, которую Творец природы придал этому акту, соединим идею исключительной привязанности, делающей его пленительным, идею долга верности, целомудрия, связанную с ним и удваивающую его прелести при достижении своей цели; если, рисуя ему брак не только как самое приятное из общений, но и как самый ненарушимый и священнейший из всех договоров, мы ярко представим все основания, в силу которых этот столь священный союз делается почетным в глазах всех людей и всякий, кто осмелится осквернить его чистоту, навлекает ненависть и проклятия; если мы нарисуем ему поражающую и верную картину разврата и сопровождающего его тупого скотства и укажем, как по незаметной покатости первое бесчинство ведет за собою и все другие и, наконец, приводит к гибели того, кто предается им; если, говорю я, покажем ему с полною очевидностью, каким образом с целомудрием связаны здоровье, сила, мужество, добродетели, самая любовь и все истинные блага

человека, — я утверждаю, что после всего этого мы это самое целомудрие сделаем для него желанным и дорогим и найдем в душе его полную готовность покориться средствам, которые предложим ему для сохранения целомудрия; ибо, пока сохраняют его, к нему питают уважение, а презирают его только тогда, когда лишатся.

Неправда, будто склонность ко злу непреодолима, будто мы не властны побеждать ее, пока еще не приобрели привычки подчиняться ей. Аврелий Виктор ¹¹³ рассказывает, что несколько человек в упоении любви добровольно продали свою жизнь за одну ночь с Клеопатрой, и эта жертва не невозможна при опьянении страстью. Но предположим, что человек, самый неукротимый и менее всего владеющий чувствами, видит орудия казни и уверен, что через четверть часа погибнет в мучениях; человек этот в ту же минуту станет выше всех соблазнов, и для него не составит даже никакого труда противиться им; скоро ужасная картина, сопровождающая эти соблазны, совершенно отвлечет его в сторону, и, постоянно отвергаемые, они, наконец, не станут уже возвращаться. Все наше бессилие порождается единственно слабостью нашей воли, а чтобы сделать то, чего сильно желаем, на это мы всегда сильны: *Volenti nihil difficile* ¹¹⁴. О, если бы мы столь же ненавидели порок, как любим жизнь, мы так же легко воздержались бы от приятного преступления, как воздерживаемся от смертельного яда, предлагаемого в сладком кушанье.

Как это не видят, что если все уроки, даваемые по этому поводу молодому человеку, остаются безуспешными, то это значит, что для его возраста они лишены смысла и что для каждого возраста доводы разума нужно облекать в такие формы, которые заставляли бы полюбить этот последний? Говорите важно, когда это нужно; но пусть ваши слова всегда отличаются привлекательностью, которая побуждала бы его слушать вас. Не проявляйте сухости в борьбе с его вожделениями; не заглушайте его воображения; руководите последним из опасения, чтоб оно не породило чудовищ. Говорите с ним о любви, женщинах, удовольствиях; постарайтесь, чтоб он находил в ваших беседах прелесть, которая ласкала бы его юное сердце; не щадите усилий, чтобы сделаться его поверенным: лишь в этой роли вы истинно будете его руководителем. Тогда уже не бойтесь, что ваши разговоры ему наскучат; он заставит вас говорить больше, чем вы хотите.

Я ни минуты не сомневаюсь, что если, на основании этих правил, я сумел принять все необходимые предосторожности и если речи мои, обращенные к Эмилю, будут соответствовать обстоятельствам, в которые он поставлен ходом жизни, то он сам по себе придет к решению, до которого я хочу его довести, с увлечением отдастся под мою охрану и скажет мне со всем жаром своего возраста, пораженный ок-

ружающими его опасностями: «Друг мой, защитник мой и наставник! Возьмите снова на себя ту власть, которую хотите сложить с себя как раз в то время, когда для меня важнее всего, чтоб она оставалась в ваших руках; доселе вы пользовались ею по моей слабости, теперь я передаю вам ее по своей воле, и она будет для меня еще более священной. Защищайте меня от всех врагов, осаждающих меня, и особенно от тех, которых я ношу в самом себе и которые предают меня; бодрствуйте над своим созданием, чтоб оно всегда было достойным вас. Я хочу повиноваться вашим законам, хочу всегда повиноваться, — вот моя неизменная воля; если я когда не послушаюсь вас, то это произойдет помимо воли моей; возвратите мне свободу, защищая меня против страстей, которые насилуют меня, не давайте мне быть рабом их, принудьте меня стать своим собственным господином и повиноваться не чувствам своим, а разуму».

Когда вы доведете вашего воспитанника до этого решения (а если он не придет к нему, это будет ваша вина), берегитесь слишком быстро ловить его на слове из опасения, чтобы, если когда-нибудь власть ваша покажется ему слишком суровой, он не счел себя вправе свергнуть ее, обвинив вас в том, что вы захватили ее обманом. В этот именно момент особенно уместны сдержанность и важность, и этот тон тем сильнее на него подействует, что он заметит его у вас в первый раз.

Итак, вы скажете ему: «Молодой человек, вы легкомысленно принимаете трудные обязательства; нужно было бы с ними ознакомиться, чтоб иметь право принимать их; вы не знаете, с какою яростью чувственность, под личиной удовольствия, увлекает молодежь, подобную вам, в пучину пороков. У вас не низкая душа, — я это хорошо знаю; вы никогда не нарушите своего слова; но сколько раз вы, быть может, раскаетесь в том, что дали его! Сколько раз вы проклянете человека, любящего вас, когда для того, чтоб избавить вас от угрожающих бедствий, он увидит себя вынужденным раздирать ваше сердце. Подобно Улиссу, который, будучи увлечен пением сирен, кричал своим провожатым, чтоб они отвязали его¹¹⁵, и вы, увлекшись соблазнами удовольствий, захотите разорвать стесняющие вас узы; вы станете приставать ко мне с жалобами, станете упрекать меня в тирании в то время, как я всего нежнее буду за вами ухаживать; заботясь лишь о вашем счастье, я навлеку на себя ненависть с вашей стороны. О Эмиль мой! быть тебе ненавистным — это такое для меня горе, которого я никогда не вынесу; даже твоего счастья я не хотел бы купить за такую дорогую цену. Добрый юноша! разве вы не видите, что, обязываясь повиноваться мне, вы обязываете меня руководить вами, служить вам до самозабвения, не слушать ни ваших жалоб,

ни ропота, бороться беспрестанно с вашими и своими собственными желаниями? Вы налагаете на меня бремя, которое тяжелее вашего собственного. Прежде чем нам обоим принять его на себя, испытаем свои силы; повремените сами, дайте и мне время подумать об этом и знайте, что кто не спешит обещать, тот всегда вернее всех сдержит обещание».

Знайте также и вы, что, чем труднее вы сдаетесь на обязательства, тем больше облегчаете исполнение их. Важно, чтобы молодой человек чувствовал, что он обещает много и что вы обещаете еще больше. Когда момент наступит и он подпишет, так сказать, договор, тогда измените тон и вложите в свою власть столько же кротости, сколько обещали вы строгости. Вы скажете ему: «Юный друг мой! вам не хватает опыта, но я постарался, чтобы вам хватало разума. Вы в состоянии видеть, в чем бы то ни было, мотивы моего поведения; для этого нужно лишь подождать, когда вы будете хладнокровнее. Начинайте дело всегда с повиновения, а потом уже спрашивайте у меня отчета в моих приказах; я буду готов дать вам отчет, лишь только вы будете в состоянии понимать меня, и никогда не побоюсь выбрать вас судьей между мной и вами. Вы обещаете быть послушным, а я обещаю пользоваться этою покорностью лишь для того, чтобы сделать вас счастливейшим из людей. Поручой в исполнении моего обещания служит жребий, которым вы пользовались доселе. Найдите кого-нибудь из сверстников ваших, кто провел бы такую же приятную жизнь, как и вы, — и я не стану после этого ничего вам обещать».

Вслед за установлением моей власти первою моею заботой будет — отклонять необходимость пускать ее в дело. Я употреблю все меры, чтобы постепенно упрочить за собою его доверие, чтобы более и более делаться поверенным его сердца и посредником в его удовольствиях. Вместо того чтобы бороться с наклонностями его возраста, я стану сообразовываться с ним, чтобы быть их властелином; я проникну в его намерения, чтобы управлять ими; я не стану искать для него отдаленного счастья в ущерб настоящему. Я хочу, чтоб он был счастлив не раз, но всегда, если это возможно.

Люди, желающие мудро руководить молодежью, чтобы предохранить ее от сетей чувственности, внушают ей отвращение к любви и охотно вменили бы ей в преступление самую мысль о любви в эти годы, как будто бы любовь создана для стариков. Все эти лживые уроки, опровергаемые сердцем, не убедительны. Молодой человек, руководимый более верным инстинктом, втайне смеется над скучными правоучениями, притворяясь, что соглашается с ними, и ждет лишь момента доказать на деле их неосновательность. Все это противно природе. Следуя противоположному пути, я вернее достигну

той же цели. Я не побоюсь ласкать в нем сладкое чувство, которого он жаждет; я представлю это чувство высшим счастьем жизни, потому что оно и в самом деле таково; рисуя ему картину этого чувства, я хочу, чтобы он предавался ему; давая чувствовать, какую прелесть придает чувственным наслаждениям единение сердец, я внушу ему отвращение к распутству и, заставив влюбиться, сделаю его благоразумным.

Каким нужно быть ограниченным, если видеть в зарождающихся желаниях молодого человека лишь препятствие к урокам разума! Я же вижу здесь истинное средство сделать его внимательным к этим самым урокам. На страсти действуют страстями же; с их тиранией нужно бороться с помощью их же власти; из самой природы всегда нужно извлекать орудия, пригодные для управления ею.

Эмиль не на то создан, чтобы всегда оставаться одиноким: будучи членом общества, он должен выполнять налагаемые им обязанности. Созданный для того, чтобы жить с людьми, он должен узнать их. Он знает человека вообще; остается ему ознакомиться с индивидами. Он знает, что делается в свете; остается посмотреть, как в нем живет-ся. Пора показать ему внешнюю сторону той великой сцены, скрытый механизм которой ему уже известен. Он отнесется к ней не с тупым удивлением юного вертопраха, но с разборчивостью здорового и правильного ума. Страсти, конечно, могут ввести его в заблуждение — когда они не обманывают того, кто им предается? Но по крайней мере он не будет обманут чужими страстями. Если он увидит их, то взглянет на них оком мудреца, не увлекаясь их примером и не соблазняясь связанными с ними предрассудками.

Подобно тому как есть возраст, годный для изучения наук, так есть и возраст, пригодный для усвоения светского обращения. Кто научается этому обращению слишком рано, тот всю жизнь следует ему без разбора, без размышления, хотя самоуверенно, но совершенно не сознавая, что делает. Но кто, изучая его, видит основания, тот следует с большею разборчивостью, а значит, и с большим смыслом и с большею грацией. Дайте мне двенадцатилетнего ребенка, совершенно ничего не знающего, и я на пятнадцатом году обязуюсь возвратить его таким же знающим, как и тот, которого вы обучали с малолетства, — с тою разницей, что знания вашего будут содержаться лишь в памяти, а знания моего — в рассудке. Точно так же введите двадцатилетнего юношу в свет; при хорошем руководстве он в один год станет более милым и рассудительно вежливым, чем тот, которого воспитывали в свете с самого детства; ибо первый, будучи способен сознавать основания всех поступков, составляющих это обращение и соответственных с возрастом, положением, полом, может

обратить эти основания в принципы и распространить их на непредвиденные случаи, тогда как второй, не имея иного руководства, кроме рутинны, совершенно теряется, как только отступает от нее.

Юные француженки все воспитываются до своего замужества в монастырях. Замечено ли чтоб им было трудно, по выходе оттуда, перенять эти манеры, столь новые для них? И можно ли обвинять парижанок в том, что они неуклюжи и растерянны с виду, незнакомы с светским обращением, потому что с детства не были допущены в свет? Предрассудок этот обязан своим происхождением все тем же светским людям, которые, не зная ничего важнее этой ничтожной науки, ложно воображают, что для усвоения ее нужно как можно раньше за нее приниматься.

Правда и то, что не нужно слишком долго ждать. Кто провел всю молодость вдали от большого света, тот в светском кругу до конца жизни будет отличаться смущенным, принужденным видом, вечной бестактностью в речах, неуклюжими и неловкими манерами, от которых уже не отучит его привычка жить в свете и которые вследствие усилия избавиться от них становятся еще более смешными. Для всякого рода обучения есть свое время, которое нужно знать, и особого рода опасности, которых нужно избегать. А при этом обучении особенно много бывает этих опасностей; но ведь для того и я принимаю меры предосторожности, чтобы не подвергать своего воспитанника этим опасностям.

Если моя метода удовлетворяет со всех сторон одной и той же цели, если, устраняя одно неудобство, предупреждает другое, то я вывожу заключение, что она хороша и что я на настоящей дороге. Это именно я и вижу в том средстве, которое в данном случае она мне подсказывает. Если я захочу быть строгим и сухим по отношению к своему ученику, я потеряю его доверие и он скоро станет скрытным по отношению ко мне. Если я хочу быть снисходительным, уступчивым или стану закрывать глаза, то что же ему за польза быть под моим руководством? Я в этом случае только даю ему право на распутство и облегчаю его совесть, в ущерб своей. Если я его введу в свет с единственной целью научить его, он научится большему, чем я желаю. Если я стану до конца удалять его от света, то чему же он научится от меня? Всему, быть может, кроме самого необходимого для человека и гражданина искусства — именно умения жить с себе подобными. Если я имею в виду при этих заботах слишком отдаленную пользу, она не будет иметь в его глазах никакого значения; он дорожит лишь настоящим. Если я ограничусь доставлением ему развлечений, то какая ему от этого будет польза? Он изнежится и ничему не научится.

Не нужно ничего подобного. Мое средство устраняет все затруднения. «Сердце твое, — скажу я молодому человеку, — нуждается в подруге; поищем же такую, которая подходила бы к тебе; мы не легко, быть может, найдем ее — истинное достоинство всегда редко; но не будем торопиться или падать духом. Несомненно, она существует, и мы найдем ее наконец или по крайней мере ближе всего к ней подходящую». Вот с каким заманчивым проектом я ввожу его в свет. Нужно ли мне еще прибавлять что-нибудь? Не видите ли вы, что дело сделано?

Можете себе представить, сумею ли я возбудить его внимание, рисуя ему образ предназначенной для него возлюбленной, сумею ли я сделать приятными и дорогими качества, которые он должен полюбить, сумею ли направить все его чувства на то, чего он должен искать или избегать. Я был бы самым неловким из людей, если б не заставил его заранее влюбиться — неизвестно еще в кого. Нужды нет, что описываемый мною предмет будет воображаемым: достаточно, чтобы он отклонял его от тех, которые могли бы соблазнить; достаточно, если он всюду будет делать сравнения, которые заставляли бы его предпочитать свою химеру действительным предметам, его поражающим; да и что такое сама истинная любовь, как не химера, ложь, иллюзия? Мы гораздо больше любим образ, который создаем себе, чем предмет, в него облакаемый. Если б мы любимый предмет видели точно таким, каков он в действительности, любви не существовало бы на земле. Когда мы перестаем любить, особа, которую любили, ведь остается такою же, как и прежде, но мы видим ее уже не в том свете; завеса очарования падает, и любовь улетучивается. Между тем, представляя воображаемый предмет, я властен над сравнениями, и мне легко помешать очарованию действительными предметами.

Я не хочу все-таки, чтобы молодого человека обманывали, рисуя ему образец совершенства, которого не может существовать; но я сделаю для его возлюбленной такой выбор между недостатками, чтобы они подходили к нему самому, нравились ему и содействовали исправлению его собственных недостатков. Я не хочу также, чтобы ему лгали, уверяя, что описываемый предмет действительно существует; но если ему понравится изображение, он скоро пожелает оригинала. От желания до предположения, что встретил желаемое, переход легкий; для этого достаточно нескольких ловких описаний, которые, придавая этому воображаемому предмету черты более осязательные, сделают его вполне правдоподобным. Я желал бы даже дать ему имя; я сказал бы с улыбкой: «Назовем Софи¹¹⁶ вашу будущую возлюбленную; имя это предвещает много хорошего; если избранная

не будет носить его, то она будет по меньшей мере достойна этого имени; мы заранее можем почтить ее этим именем». Если после всех этих подробностей, не утверждая и не отрицая, отделяться от него отговорками, то подозрения его скоро превратятся в убеждение; он подумает, что предназначаемую супругу от него скрывают и что он ее увидит, когда настанет пора. Раз он пришел к этому заключению и черты, которые нужно ему показать, хорошо подобраны, то все остальное — пустяки; его почти без риска можно вывести в свет; защищайте его только от чувственности, а сердце его в безопасности.

Но олицетворяет он или нет образец, который я сумел сделать для него привлекательным, образец этот, если он удачен, в такой же мере привяжет его ко всему, что похоже на него, и такое же внушит отвращение ко всему непохожему, как это сделал бы действительный предмет. Какое выгодное средство для предохранения его сердца от опасностей, которым должна подвергнуться его личность, для обуздания его чувств с помощью воображения и в особенности для избавления его от тех воспитательниц, которые слишком дорого заставляют расплачиваться за воспитание и приучают молодого человека к вежливости не иначе, как лишая его всякой нравственности! Софи так скромна — какими глазами он станет смотреть на их заискивания? Софи так проста — может ли ему понравиться их жеманство? Его мысли так далеки от его наблюдений, что последние никогда не будут для него опасными.

Все толкующие о руководстве детьми держатся одних и тех же предрассудков и правил, потому что они плохо наблюдают и еще хуже мыслят. Молодежь сбивается с толку не темпераментом, не чувствами, а людским мнением. Если бы здесь речь шла о мальчуганах, которых воспитывают в коллежах, и о девочках, получающих воспитание в монастырях, я показал бы, что это справедливо даже по отношению к ним; ибо первыми уроками, получаемыми теми и другими, единственными, которые приносят плоды, бывают уроки порока, и не природа их портит, а пример. Но оставим воспитанников коллежей, монастырей с их дурными нравами; последние всегда останутся неисправимыми. Я говорю лишь о домашнем воспитании. Возьмите молодого человека, разумно воспитанного в доме отца, в провинции, и посмотрите на него в минуту его прибытия в Париж или вступления в свет; вы найдете у него правильные мысли, направленные на предметы пристойные, и волю столь же здравую, как и рассудок; вы заметите в нем презрение к пороку и отвращение к разврату; при одном имени продажной женщины вы увидите в его глазах негодование невинности. Я утверждаю, что ни один такой юноша не решился бы войти в одиночку в мрачные жилища этих несчастных,

даже если бы знал, для чего они существуют, и чувствовал потребность.

По прошествии шести месяцев взгляните снова на того же самого молодого человека — и вы уже не узнаете его: вольные речи, правила высшего тона, развязные манеры заставляли бы принимать его за другого человека, если бы насмешки его над своею первоначальной простотой, конфуз при напоминании о ней не показывали, что он тот же самый и что он стыдится этого. О, как он развился в короткое время! Откуда в нем такая большая и резкая перемена? От развития темперамента! Но разве темперамент его не так же развивался бы и в отцовском доме? А наверное, он там не усвоил бы ни этого тона, ни этих правил. От первых чувственных наслаждений? Совершенно напротив: кто начинает предаваться им, тот бывает робким, беспокойным, избегает белого света и шума. Первые наслаждения всегда таинственны; целомудрие приправляет и прикрывает их; первая возлюбленная делает не развязным, а робким. Всецело поглощенный столь новым для него положением, молодой человек углубляется в себя, чтобы насладиться им, и постоянно боится потерять его. Если он шумлив, — значит, он не страстен и не нежен; когда он хвастается, он не наслаждается.

Перемена образа мыслей — вот единственная причина этой разницы. Сердце его пока еще одно и то же, но мнения изменились. Чувствования медленнее изменяются, но наконец и они исказятся под влиянием мнений — и вот тогда только он будет истинно развращенным. Едва вступит в свет, он получает уже там другое воспитание, совершенно противоположное первому, научающее его презирать то, что уважал, и уважать, что презирал; на уроки родителей и наставников заставляют его смотреть как на болтовню педантов, а на обязанности, о которых ему проповедовали, как на ребяческую мораль, которой нужно пренебречь, став взрослым. Он полагает, что честь обязывает его изменить поведение; он становится предприимчивым без желаний и фатом из-за ложного стыда. Он смеется над добрыми нравами, прежде чем приохотиться к дурным, и хвастает развратом, не умея быть развратником. Никогда я не забуду признания одного молодого офицера швейцарской гвардии, которому сильно надоедали шумные увеселения его товарищей, но он не смел отказаться от них из опасения быть осмеянным. «Я приучаюсь к этому, — говорил он, — как приучаются к табаку, несмотря на мое отвращение; охота придет с привычкой: нельзя оставаться всегда ребенком».

Таким образом, молодого человека, вступающего в свет, приходится предохранять гораздо более от тщеславия, чем от чувственно-

сти; он больше подчиняется чужим наклонностям, чем своим собственным; а самолюбие создает больше развратников, чем любовь.

Установив это, я спрашиваю: есть ли на всей земле хоть один юноша, лучше моего Эмиля вооруженный против всего, что может затронуть его нравы, чувства, принципы? Есть ли хоть один более способный противостоять потоку? От какого соблазна Эмиль не защищен? Если вожделения влекут его к другому полу, он не находит в нем, чего ищет, а занятое раньше сердце сдерживает его. В чем он станет искать удовлетворения, если его волнуют и обуревают чувства? Отвращение к прелюбодеянию и разврату одинаково удаляет его и от продажных, и от замужних женщин, а распутство молодежи всегда начинается через одну из этих двух категорий женщин. Девушка-невеста может быть кокеткой; но она не будет бесстыдной, не бросится на шею молодому человеку, который может на ней и жениться, если считает ее скромной; к тому же при ней всегда есть кто-нибудь для надзора. Эмиль, со своей стороны, не совершенно будет предоставлен самому себе; у обоих стражами будут по крайней мере робость и стыд, постоянные спутники первых вожделений; сразу они не перейдут к полному их сближению, а без препятствий дойти до нее постепенно у них не будет времени. Поступать иначе он стал бы лишь в том случае, если б уже перенял кое-что у своих товарищей, если б научился у них смеяться над своею сдержанностью, делаться нескромным из-за одного подражания. Но есть ли в мире человек, менее Эмиля склонный к подражанию? И на кого труднее всего действовать насмешливым тоном, как не на человека, у которого вовсе нет предрассудков и который не умест ни в чем уступать предрассудкам других? Я двадцать лет работал над тем, чтобы вооружить его против насмешников; им понадобится далеко не один день на то, чтобы провести его; ибо смешное, в его глазах, есть лишь довод глупцов, а менее всего чувствителен к насмешке тот, кто стоит выше людского мнения. Не вышучиванием он убеждается, а разумными доводами, и, пока он таков, мне нечего бояться, как бы юные безумцы не похитили его у меня; за меня стоят совесть и правда. Если уж неизбежно вмешательство предрассудка, то и двадцатилетняя привязанность тоже что-нибудь да значит; его никогда не уверят, что я надоедал ему пустыми уроками; а в прямом и чувствительном сердце голос верного и истинного друга сумеет заглушить крики хоть двадцати соблазнительей. Так как все дело здесь в том, чтобы показать ему, что его обманывают и, представляясь, что считают взрослым, в действительности обходятся с ним как с ребенком, то я буду стремиться быть всегда простым, но серьезным и ясным в своих рассуждениях, чтобы он чувствовал, что я-то именно и отношусь к нему как к взрослому.

Я скажу ему: «Вы видите, что речи мои проникнуты исключительно вашим интересом, который вместе с тем является и моим, и никакого другого я не могу иметь. А этим молодым людям почему так хочется убедить вас? Они желают обольстить вас. Они не любят вас, им нет никакого дела до вас; единственным мотивом для них служит тайная досада при виде того, что вы лучше их; они хотят подвести вас под свою ничтожную мерку; упрекая вас в том, что вы позволяете распоряжаться собою, они имеют одну цель — хотят сами управлять вами. Неужели вы можете думать, что с этою переменой вы выиграете что-нибудь? Неужели их мудрость столь необыкновенна? Неужели их привязанность на один день сильнее моей? Чтобы придавать значение их насмешкам, нужно было бы уверовать в их авторитет; а какую опытность они имеют за собою, чтобы ставить свои правила выше наших? Они только подражают другим вертопрахам, как, в свою очередь, и сами хотят быть предметом подражания. Чтобы стать выше мнимых предрассудков отца своего, они подчиняются предрассудкам своих товарищей. Я не вижу, что они этим выигрывают, но я вижу, что они несомненно теряют два важных преимущества — отцовскую привязанность, внушавшую нежные и искренние советы, и отцовскую опытность, которая учит судить о том, что знаем, ибо отцы были детьми, а дети не были отцами.

Но как вы думаете: искренни ли они по крайней мере в своих безумных правилах? Даже этого нет, дорогой Эмиль; они обманывают себя из-за того, чтобы обмануть вас; в них нет согласия даже с самими собою; сердце постепенно изобличает их, и уста часто противоречат им. Иной из них поднимает на смех все, что пристойно, и — был бы в отчаянии, если б жена его держалась таких же мыслей, как он. Иной распространит это равнодушие на нравственность и на нравы будущей жены своей или даже, к довершению позора, на нравы жены, которая уже есть у него; но пойдите дальше, поговорите с ним о матери, и вы увидите, охотно ли он согласится быть плодом прелюбодеяния и сыном женщины зазорного поведения, захочет ли ложно носить чужую фамилию и украсть наследство у законного наследника, наконец, потерпит ли, чтобы с ним обходились как с незаконнорожденным? Кто из них захочет, чтобы бесчестие, которым он покрывает дочь другого, пало на его собственную дочь? Иной из них посягнет даже на жизнь вашу, если вы в отношении к нему приложите на практике все те принципы, которые они силятся внушить вам. Таким-то образом они обнаруживают, наконец, свою непоследовательность, и всякий видит, что никто из них не верит в то, что говорит. Вот мои резоны, дорогой мой Эмиль; взвесьте их резоны, если у них есть, и сравните. Если б я хотел, как они, пустить в дело презрение и насмешку, вы видели бы, что они дают повод к насмешке

над ними столько же, быть может, даже больше, чем я им. Но я не боюсь и серьезного исследования. Торжество насмешников бывает кратковременным; истина остается, а неразумный смех их улетучивается».

Вы не представляете себе, каким образом Эмиль в двадцать лет может быть послушным. Какая разница в нашем образе мыслей! Я не понимаю, как он мог бы быть послушным в десять лет, — ибо какое влияние я мог бы приобрести на него в этом возрасте? Я лишь после пятнадцатилетних забот добился этого влияния. За это время я не воспитывал его, а подготавливал к воспитанию. Теперь же он настолько уже воспитан, что может быть послушным; он узнает голос дружбы и умеет повиноваться разуму. Правда, я предоставляю ему с внешней стороны независимость; но на деле он никогда не был так подчинен, как теперь, ибо теперешнее его подчинение добровольное. Пока я не мог владеть его волей, я старался владеть его личностью и ни на шаг не покидал его. Теперь я иной раз предоставляю его самому себе, потому что не перестаю никогда руководить им. Покидая, я обнимаю его и говорю уверенным тоном: «Эмиль, я доверяю тебя своему другу; я отдаю тебя в распоряжение его честному сердцу; он и будет отвечать мне за тебя».

Не минутное дело — расстроить здоровые привязанности, никогда не подвергавшиеся предварительной порче, и изгладить принципы, непосредственно вытекающие из природного света разума. Если какая перемена и произошла в мое отсутствие, она никогда не будет продолжительной и он никогда не сумеет так хорошо утانشь от меня, чтобы я не заметил опасности прежде наступления бедствия и не успел вовремя принять меры. Так как люди портятся не сразу, то не сразу они научаются и притворству, есть ли человек, столь неопытный в этом искусстве, как Эмиль, которому ни разу в жизни не пришлось пускать его в ход?

Благодаря этим и другим подобным заботам он, думаю, так хорошо предохранен от неподходящих влияний и изменных правил, что я предпочел бы видеть его скорее среди самого дурного парижского общества, чем одиноко сидящим в комнате или в парке и предоставленным всем волнениям его возраста. Как бы то ни было, из всех неприятелей, которые могут напасть на молодого человека, самый опасный и единственный, которого нельзя устранить, — это он сам; этот неприятель однако ж опасен лишь по нашей вине, ибо, как я уже тысячу раз твердил, чувственность пробуждается лишь под влиянием воображения. Чувственная потребность, собственно говоря, не есть потребность физическая; неправда, будто это истинная потребность. Если б непристойная мысль никогда не проникала в

наш ум, то никогда, быть может, эта мнимая потребность и не пробуждалась бы в нас, и мы оставались бы целомудренными, без соблазнов и усилий и не вменяя себе этого в заслугу. Мы не знаем, какое глухое брожение возбуждают в крови молодежи известного рода положения и известного рода зрелища, хотя и сама она не может разобраться в причинах этой первой тревоги, которая нелегко унимается и немедленно же возобновляется. Что касается меня, то, чем больше я размышляю об этом важном кризисе и его причинах, ближайших и отдаленных, тем больше убеждаюсь, что отшельник, воспитанный в пустыне, без книг, без наставлений и без женщин, умер бы там девственником, до какого бы возраста ни дожил.

Но здесь идет речь не о дикаре подобного рода. Воспитывая человека в среде ему подобных и для общества, невозможно и даже неуместно держать его вечно в этом спасительном неведении; самое плохое знание — это знание наполовину. Воспоминания о поразивших нас предметах, приобретенные нами идеи следуют за нами в наше убежище, населяют его, помимо нашей воли, картинами еще более соблазнительными, чем самые предметы, и делают уединение это столь же пагубным для того, кто приносит туда эти картины с собою, сколь оно полезно для человека, вечно остававшегося там в одиночестве.

Бодрствуйте же тщательнее над молодым человеком; он сумеет предохранить себя от всего остального; ваше дело — предохранять его от него же самого. Не оставляйте его в одиночестве ни днем, ни ночью; спите по крайней мере всегда в его комнате; пусть он ложится только тогда, когда сон уже валит с ног, и пусть оставляет постель тотчас же по пробуждении. Не надейтесь на инстинкт, коль скоро вы уже не ограничиваетесь одним инстинктом; он хорош, пока действует один; но он становится подозрительным, лишь только впутывается в людские учреждения; не искоренять его следует, а направлять, а это, быть может, труднее, чем совсем уничтожить. Было бы весьма опасно, если б он дал иное направление чувственности вашего воспитанника и научил его находить иные средства для ее удовлетворения; раз он узнает это заменяющее средство — он погиб. С той поры тело и сердце его будут вечно расслабленными; он будет носить в себе до могилы печальные результаты этой привычки, самой пагубной, какой только может подчиниться молодой человек. Без сомнения, лучше уж было бы... Если ярость горячего темперамента становится непреодолимою, мне жаль тебя, дорогой мой Эмиль; но я ни минуту не стану колебаться, я не допущу, чтобы цель природы была извращена. Если уж нужно, чтобы тебя поработил тиран, то я лучше подчиню тебя тому тирану, от которого могу избавить; что бы

ни случилось, мне легче будет вырвать тебя у женщины, чем у тебя самого.

До двадцати лет тело растет, и ему нужно все его вещество; воздержание в это время — в порядке природы, и если нарушается оно, то в ущерб телосложению. После двадцати лет воздержание есть нравственный долг; оно важно для того, чтобы научиться властвовать над собою и оставаться господином своих вожделений. Но нравственные обязанности имеют свои видоизменения, исключения, свои правила. Когда слабость человеческая делает неизбежным выбор одного из двух, то из двух зол предпочтем меньшее; во всяком случае лучше совершить проступок, чем заразиться пороком.

Помните, что я говорю здесь не о своем воспитаннике, а о вашем. Страсти его, брожение которых вы допустили, берут над вами верх; уступите же им открыто, не маскируя перед ним его победы. Если вы сумеете показать ему эту победу в ее истинном свете, он скорее устыдится, нежели возгордится ею, и вы сэкономите для себя право руководить им в его заблуждении, чтобы избавить его по крайней мере от гибели. Важно, чтоб ученик ничего — даже дурного — не делал без ведома и воли наставника, и в сто раз лучше, если воспитатель одобрит проступок и обманется, чем если будет обманут своим воспитанником и проступок совершится без его ведома. Кто считает нужным смотреть на что-нибудь сквозь пальцы, тот скоро окажется вынужденным на все закрывать глаза; первое допущенное злоупотребление ведет за собой и другое, и эта цепь кончается лишь низвержением всякого порядка и презрением ко всякому закону.

Другим заблуждением, против которого я уже боролся, но от которого никогда не избавятся ничтожные умы, является вечное стремление поддерживать свое учительское достоинство и желание прослыть в глазах ученика человеком совершенным. Этот метод бессмыслен. Как они не видят, что, желая укрепить свой авторитет, они уничтожают его, что, кто хочет, чтобы его слушали, тот должен стать в положение тех, к кому обращается, и что нужно быть человеком, чтобы уметь затронуть человеческое сердце! Все эти совершенные люди не трогают и не убеждают; им всегда можно возразить, что легко бороться со страстями, которых не испытываешь. Покажите воспитаннику свои слабости, если хотите исцелить его от собственных; пусть он видит в вас ту же борьбу, которую испытывает, пусть из вашего примера научится побеждать себя, пусть не говорит, как иные: «Старики эти, с досады, что они уже не молоды, хотят с молодыми людьми обращаться как со стариками; а так как все их желания угасли, то они вменяют нам в преступление наши желания».

Монтень говорит ¹¹⁷, что он спрашивал однажды у г. де Ланже ¹¹⁸,

сколько раз тот во время переговоров в Германии напивался из усердия к королю. Я охотно спросил бы у воспитателя какого-нибудь молодого человека, сколько раз он ходил в известного рода место из усердия к своему воспитаннику. Сколько раз... что я говорю! Если первый же раз не отобьет у развратника навсегда охоту ходить туда, если он не вынесет оттуда стыда и раскаяния, если он не прольет на вашей груди потоков слез, бросьте его сию же минуту: он — чудовище или вы — глупец; вы ни для чего и никогда не будете ему годны. Но оставим эти крайние средства, столь же печальные, как и опасные и не имеющие никакого отношения к нашему воспитанию.

Сколько нужно предосторожностей для молодого человека хорошего рода, прежде чем подвергнешь его соблазну нравов нынешнего века! Эти предосторожности тяжелы, но неизбежны; невниманье к этому пункту и губит всю молодежь; благодаря именно распутству юного возраста люди вырождаются и становятся тем, чем мы ныне видим их. Низкие и подлые даже в пороках своих, они совершенно ничтожны душою, потому что их истасканные тела с ранних пор развращены; у них едва остается силы на то, чтобы двигаться. Их лукавые мысли обнаруживают шаткость их ума; они неспособны чувствовать ничего великого и благородного; у них нет ни простоты, ни силы; будучи гнусными во всех отношениях и низко злыми, они в то же время тщеславны, плутоваты, лживы; они не имеют достаточного мужества даже для того, чтобы быть знаменитыми злодеями. Таковы презренные люди, сформировавшиеся под влиянием разгула юности; найдись между ними хоть один, который умел бы быть воздержанным и трезвым, умел бы среди них предохранить свое сердце, кровь, свои нравы от заражения примером, — он в тридцать лет задавил бы всех этих букашек, и стать их властелином ему было бы легче, чем владеть самим собою.

Если бы происхождение или судьба несколько благоприятствовали Эмилю, он мог бы стать этим человеком, если бы хотел; но он настолько презирал бы их, что не захотел бы подчиняться. Посмотрим теперь, как он вступает в их среду, входит в свет — не с целью первенствовать в нем, но чтобы узнать его и найти в нем достойную себе подругу.

К какому бы классу он ни принадлежал по рождению, в какое бы общество ни вступал, первый выход его будет прост и неблистателен. Боже избави его от несчастья блистать в нем! Качества, поражающие с первого же взгляда, не по его части, он не имеет их и не желает иметь. Он так мало придает цены суждениям людей, что не станет ценить предрассудков и не хлопочет, чтобы его уважали, не успев ознакомиться с ним. Его манера держаться не заискивающая и не

заносчивая, она естественна и искренна; ему незнакомы ни стеснение, ни притворство; в обществе он тот же, каким бывает наедине и без свидетелей. Значит ли это, что он груб, спесив, что он ни на кого не обращает внимания? Совершенно напротив; если наедине он не считает других людей за ничто, то почему же он станет пренебрегать ими, когда будет жить с ними? По манерам его не видно, что он предпочитает их самому себе, потому что этого предпочтения нет в его сердце; но он не выказывает также и равнодушия к ним, которого он далеко не ощущает; если у него нет формул вежливости, зато есть заботливость о людях вообще. Ему неприятно видеть чужие страдания; он не предложит своего места другому из-за простого кривлянья, но он охотно уступит его по доброте, если, видя, что тот забыт, придет к заключению, что это забвение его оскорбляет; ибо моему молодому человеку легче будет добровольно простоять, чем видеть, как другой стоит по принуждению.

Хотя в общем итоге Эмиль не уважает людей, но он не станет выказывать презрения к ним, потому что жалеет их и соболезнует им. Не будучи в состоянии внушить им стремление к действительным благам, он представляет им мнимые блага, удовлетворяющие их, из опасения, чтобы, отнимая эти блага без нужды, не сделать их еще более несчастными, чем прежде. Он поэтому не любит спорить или противоречить; но он также не льстец и не угодник; он высказывает свое мнение, не отвергая ничьих других, потому что выше всего любит свободу, а откровенность — одно из лучших ее прав.

Он говорит мало, потому что почти не хлопочет, чтобы им занимались; по той же причине он говорит лишь о вещах полезных, а иначе что же побуждало бы его вступать в разговор? Эмиль настолько сведущ, что никогда не будет болтуном. Страсть к болтовне происходит непременно или от претензии на ум, о которой я буду говорить ниже, или оттого, что мы придаем много значения пустякам, по глупости думая, что и другие также дорожат ими, как мы. Кто настолько сведущ, что умеет всему придать истинную цену, тот никогда не говорит слишком много, ибо он умеет также оценивать и внимание, ему уделяемое, и знает, насколько его речи могут быть занимательными. Вообще, люди, мало знающие, говорят много, а много знающие мало говорят. Вполне естественно, что невежда все, что знает, находит важным и всем это высказывает. Но просвещенный человек не так-то легко открывает свой запас знаний; ему слишком много пришлось бы говорить, а он видит, что после него еще больше осталось бы невысказанного, и поэтому молчит.

Эмиль не только не оскорбляет своими манерами других, но даже сообразуется с их манерами — не для того, чтобы казаться опытным

в светском обращении или пощеголять тоном вежливого человека, а напротив — из опасения не выделяться с целью избежать общего внимания; ему всего приятнее бывает, когда за ним никто не следит.

Хотя при вступлении в свет он решительно незнаком с его манерами, тем не менее он не застенчив и не робок; если он ступшевывается, то не вследствие замешательства, а вследствие того, что незамеченному лучше наблюдать, ибо он почти не беспокоится о том, что о нем думают, а быть смешным он ничуть не боится. Поэтому-то, будучи всегда спокойным и хладнокровным, он не приходит в смущение от ложного стыда. Смотрят на него или нет, он всегда поступает так хорошо, как только может; сосредоточиваясь в себе, чтобы лучше наблюдать других, он подхватывает их манеры с такою легкостью, которая недоступна рабам людского мнения. Можно сказать, что он потому и перенимает обычаи света, что мало дорожит ими.

Однако ж не обманывайтесь насчет его осанки и не вздумайте сравнивать ее с осанкою ваших юных любезников. Он тверд, но не самодоволен: манеры его свободны, но не презрительны; наглый вид свойствен лишь рабам, независимость не заключает в себе ничего принужденного. Я никогда не видал, чтобы человек, имеющий в душе гордость, выказывал ее в своей осанке; эта аффектация гораздо свойственнее низким и тщеславным душам, которые только этим и могут внушать почтение к себе. Я читал в одной книге ¹¹⁹, как один иностранец явился раз в залу знаменитого Марсея ¹²⁰ и тот спросил, из какой он страны. «Я англичанин», — отвечает иностранец. «Вы англичанин? — возражает танцор. — Вы с того острова, где граждане принимают участие в общественном управлении и составляют часть верховной власти? * Нет, сударь, эта поникшая голова, этот робкий взгляд, эта неуверенная походка возводят мне лишь титулованного раба какого-нибудь избирателя».

Не знаю, обнаруживает ли это суждение большое знакомство с истинными отношениями между характером человека и его внешностью. Что касается меня, то, не имея чести быть танцевальным учителем, я подумал бы совершенно обратное. Я сказал бы: «Этот ан-

* Как будто бы есть граждане, которые не бывают членами государства и не принимают в качестве таковых участия в верховной власти! Но французы, которым заблагорассудилось присвоить себе это почетное наименование «граждан», принадлежавшее некогда членам галльских гражданских общин, до того извратили идею, что под словом этим ничего уже не разумеется. Человек, недавно написавший мне много глупостей, направленных против «Новой Элоизы», украсил свою подпись титулом: «гражданин Пембёва» ¹²¹ — и думает, что великолепно подпутил падо мною.

гличанин не царедворец: я никогда не слышал, чтобы царедворцы ходили с опущенною головой и имели неуверенную походку; человек, застенчивый у танцора, легко может не быть застенчивым в палате общины». Наверное, этот Марсель принимает своих земляков за настоящих римлян.

Когда любишь, то желаешь и быть любимым. Эмиль любит людей и, значит, желает нравиться им. Тем более он желает нравиться женщинам; его возраст, нравственность, планы будущего — все содействует поддержанию в нем этого желания. Я упоминал о нравственности, ибо она имеет здесь большое значение; мужчины, обладающие ею, суть истинные поклонники женщин. Им незнаком, как другим, этот насмешливо любезный жаргон; но они способны на истинное, более нежное, исходящее от сердца увлечение. Возле молодой женщины я между сотнею тысяч развратников узнал бы человека, обладающего нравственностью и повелевающего своей природой. Судите же, каков должен быть Эмиль, при его совершенно нетронутым темпераменте и при таком обилии причин, побуждающих противиться ему! Возле женщины он будет, я думаю, застенчив порой и неловок; но, наверное, эта неловкость не будет им неприятной, и даже наименее плутоватые из них слишком часто будут проявлять свое искусство пользоваться этим замешательством и усиливать его. Впрочем, внимательность его будет заметно изменять свою форму, смотря по положению женщины. С замужними он будет скромнее и почтительнее, при девушках-невестах живее и нежнее. Он не теряет из виду цели своих поисков и наибольшее внимание оказывает тому, что напоминает ему о ней.

Никто не будет относиться строже его ко всем вопросам об уважении, основанном на порядке природы и даже на требованиях общественного благоустройства; но первого рода уважение для него всегда будет важнее второго, и он почтительнее будет к частному человеку, который старше его, чем к должностному лицу одних с ним лет. Поэтому, будучи обыкновенно одним из наиболее юных членов общества, в котором он вращается, он будет всегда и одним из наиболее скромных — не из-за тщеславного желания казаться смиренным, но по естественному, основанному на разуме чувству. Он не будет отличаться развязным «знанием света», свойственным юному фату, который, чтобы повеселить компанию, говорит громче умных людей и перебивает речь старых; он не даст права сказать о нем, что сказал один старый дворянин Людовику XV, спрашивавшему, какой век тот предпочитает, свой или нынешний: «Государь, молодость я провел, уважая стариков, а в старости мне приходится уважать детей».

Обладая нежной и чувствительною душой, но не измеряя ничего по мерке людского мнения, он хотя и любит быть приятным для других, но не слишком станет гоняться за их уважением. Отсюда следует, что он будет более ласков, чем вежлив, что в нем никогда не будет ни чванства, ни жеманства, что его более тронет ласка, чем тысячи похвал. По тем же причинам он не станет пренебрежительно относиться ни к манерам, ни к своей осанке; он даже может проявить некоторую изысканность в наряде — не из желания казаться человеком со вкусом, но из желания сделать фигуру свою более приятною; ему не нужно будет золотой рамы, и вывеска богатства никогда не запятнает его убранства.

Каждый видит, что все это не требует с моей стороны целой кучи правоучений, а является лишь следствием его первоначального воспитания. Светские приличия выдают нам за какую-то великую тайну, как будто в том возрасте, когда эти приличия перенимаются, это делается не само собою, как будто честность сердца не единственная основа главных их законов! Истинная вежливость заключается в изъяснении благосклонности к людям; она без труда обнаруживается, если есть в наличии; у кого ее нет, для того именно и пришлось из внешних ее проявлений создавать особое искусство.

«Самым прискорбным результатом светской вежливости бывает приобретение умения обходиться без добродетелей, которым она подражает. Пусть нам внушат при воспитании гуманность и стремление делать добро — и мы будем отличаться вежливостью или хуже вовсе не будем иметь в ней нужды.

Если у нас не будет вежливости, проявляющейся в грациозном обхождении, зато мы будем отличаться тою, которая характеризует честного человека и гражданина; нам незачем будет прибегать к фальши.

Вместо того чтобы быть хитрым из-за желания поправиться, достаточно будет быть добрым; вместо того чтобы быть лживым из-за желания польстить чужим слабостям, достаточно будет быть снисходительным.

Люди, с которыми подобным образом будут обходиться, не возгордятся этим и не испортятся; они будут лишь признательными и станут лучшими» *.

Мне кажется, что воспитание, план которого я начертил, лучше всего должно порождать ту вежливость, которой требует здесь Дюкло.

Я согласен, конечно, что при столь своеобразных правилах

* Дюкло Размышления о нравах этого века.

Эмиль будет не таков, как все, и не дай бог, чтобы он был когда-нибудь таким же! Но в том, что будет отличать его от других, он не окажется несносным или смешным; различие будет заметно, но не будет неудобным для него: Эмиль будет, если хотите, милым иностранцем. На первых порах ему будут прощать его особенности, говоря: «Он еще сформируется». Впоследствии совершенно привыкнут к его манерам и, видя, что не изменяется, по-прежнему станут извинять ему и скажут: «Он так уже создан».

Его не будут приветствовать всюду, как милого человека, но будут любить, сами не зная за что; никто не станет превозносить похвалами его ум, но между умными людьми его охотно будут выбирать посредником: ум его будет отчетливым и будет держаться в известных границах; у него будут здравый смысл и здравое суждение. Никогда не гоняясь за новыми идеями, он не станет хвалиться умом. Я ему дал понять, что все спасительные и истинно полезные людям идеи бывают известны прежде других, что они именно во всякое время и составляют единственную истинную связь общества, а умам превыспренним остается лишь отличать идеями вредными и пагубными для человеческого рода. Этот способ возбуждать удивление почти не трогает его; он знает, в чем должен искать счастья своей жизни и чем может содействовать счастью другого. Сфера его познаний простирается не дальше того, что полезно. Путь его узкий и хорошо намеченный; не покушаясь сойти с него, он остается в толпе тех, кто идет по нему, и не желает ни сбиваться с него, ни блистать. Эмиль есть человек здравого смысла и не хочет быть чем-либо иным; сколько бы ни старались обидеть его этим титулом, он всегда будет считать его почетным.

Хотя желание нравиться не позволяет ему быть решительно равнодушным к мнению других, но он обратит внимание в этом мнении лишь на то, что непосредственно относится к его личности, не заботясь о произвольных оценках, законом для которых бывает мода или предрассудки. У него будет гордое желание все, что делает, делать хорошо и даже лучше других: в беге он захочет быть самым проворным, в борьбе — самым сильным, в работе — самым искусным, в играх, требующих ловкости, — самым ловким; но он мало станет добиваться преимуществ, которые сами по себе неясны и требуют подтверждения со стороны другого, — таких преимуществ, как быть умнее другого, лучше говорить, быть учение и т. п.; еще меньше он добивается тех, которые совершенно не зависят от личности, например, превосходить другого знатностью рода, считаться богаче, влиятельнее, почетнее другого, поражать большею пышностью.

Любя людей, потому что они его ближние, он особенную любовь

будет питать к тем, которые более всего на него походят, ибо он будет чувствовать себя человеком добрым; судя об этом сходстве по совпадению вкусов в вопросах нравственности, во всем, что зависит от доброты характера, он будет находить большое удовольствие в их одобрении. Он не скажет себе: «Как я рад, что меня одобряют»; но скажет: «Как я рад, что одобряют мой хороший поступок; как я рад, что люди, почитающие меня, сами заслуживают почета: пока они будут обладать столь здравым суждением, приятно будет добиться их уважения».

Изучая людей в свете по нравам, подобно тому как перед этим он изучал их в истории по страстям их, он часто будет иметь случаи размышлять о том, что льстит и что претит человеческому сердцу. Таким образом он начинает уже философствовать — об условиях людского вкуса: вот изучение, наиболее подходящее для него в эту пору.

Чем дальше мы идем за определениями вкуса, тем больше сбиваемся с дороги; вкус есть лишь способность судить о том, что нравится или не нравится большинству. Уклонитесь от этого определения — и вы не будете знать, что же такое вкус. Из этого не следует, чтобы людей со вкусом было больше других; ибо хотя большинство здраво судит о каждом предмете, все-таки немногие люди судят о всех предметах так, как это большинство, и хотя стечение наиболее общих вкусов и составляет хороший вкус, все-таки людей со вкусом мало, точно так же как мало бывает красавиц, хотя соединение наиболее обычных черт и составляет красоту.

Нужно заметить, что здесь дело идет не о том, что любят в силу того, что оно полезно, или ненавидят в силу того, что оно вредит нам. Вкус изощряется лишь на безразличных предметах или, самое большее, на предметах забавы, а не на тех, которые связаны с нашими потребностями; чтобы судить об этих последних, не нужно вкуса — достаточно одного позова к ним. Вот почему столь трудны и столь, мне кажется, произвольны решения, основанные на одном вкусе; ибо вне инстинкта, определяющего вкус, не видно иных оснований для этих решений. Кроме того, нужно различать законы вкуса в нравственном мире от его законов в мире физическом. В этом последнем случае основы вкуса кажутся решительно необъяснимыми. Но нужно заметить, что нравственный элемент входит во все то, что связано с подражанием*; таким путем и объясняются те красоты, которые кажутся нам физическими, а в действительности вовсе не таковы.

* Это доказано в «Опыте о происхождении языков», который найдут в собрании моих сочинений.

Прибавлю, что вкус подчиняется местным правилам и, таким образом, в тысяче мелочей становится зависимым от климатов, нравов, образа правления, учреждений, что есть иные вкусы, связанные с возрастом, полом, характером, и что в этом-то именно смысле и не следует спорить о вкусах.

Вкус от природы свойствен всем людям, но не все имеют его в одинаковой мере, не во всех он развивается в одинаковой степени и у всех подвержен изменениям вследствие различных причин. Мера возможного у человека вкуса зависит от чувствительности, которою он одарен, а усовершенствование его и направление зависят от обществ, среди которых мы жили. Для этого, во-первых, нужно пережить в многочисленных обществах, чтобы сделать много сравнений. Во-вторых, требуются общества веселые и праздные, ибо деловые общества берут за правило не удовольствие, а интерес. В-третьих, требуются такие общества, где неравенство было бы не слишком велико, где деспотизм мнения был бы ограничен и где более царила бы страсть к наслаждению, чем к тщеславию; ибо в противном случае мода заглушает вкус, а люди скорее ищут не того, что нравится, а того, что отличает.

В этом последнем случае хороший вкус уже не есть вкус большинства. А почему это? Потому что точка зрения изменяется. Здесь масса не имеет уже своего суждения, а сообразуется со взглядами тех, которых считает просвещеннее себя; она одобряет не то, что хорошо, а то, что они одобрили. Старайтесь, чтобы у каждого человека во всякое время было свое собственное чувство, — и тогда, что всего приятнее само по себе, на стороне того всегда будет большинство голосов.

Люди в своих произведениях создают прекрасное лишь через подражание. Все настоящие образцы вкуса заключаются в природе. Чем больше мы удаляемся от учителя, тем безобразнее наши картины. В этом случае образцы свои мы извлекаем уже из любимых нами предметов; прекрасное, созданное фантазией, подчинено капризу и авторитету и есть уже не что иное, как то, что нравится нашим руководителям.

Руководят нами артисты, вельможи, богачи; а ими руководит личная выгода или тщеславие. Они наперерыв друг перед другом пыскивают средства тратить деньги — одни с целью выставить напоказ свои богатства, другие с целью воспользоваться этим. Таким путем воцаряется чрезмерная роскошь, заставляющая любить то, что трудно достать и что дорого стоит; и тогда мнимое прекрасное, вместо того чтобы подражать природе, считается таковым лишь в силу того, что ей противоречит. Вот каким образом роскошь и дур-

ной вкус оказываются неразлучными. Всюду, где вкус разорителен, он ложен.

Особенно развивается вкус — хороший или дурной — при сношениях между двумя полами; развитие его есть необходимое следствие той цели, которая имеется в виду при этом общении. Но когда желание нравиться ослабляется легкостью пользования, вкус должен искажаться; в этом, кажется мне, и заключается другая существенная причина того, что хороший вкус находится в зависимости от доброй нравственности.

Обращайтесь ко вкусу женщины в материальных вещах и в таких, которые зависят от чувственного суждения, а ко вкусу мужчин — в вопросах нравственных и более зависящих от разума. Когда женщины будут тем, чем они должны быть, они станут ограничиваться вещами, относящимися к их компетенции, и всегда будут хорошо судить; но с тех пор как они водворились судьями в литературу, с тех пор как пришлось судить о книгах и сочинять их изо всех сил, они ничего уже не понимают. Сочинители, обращающиеся за советами к ученым женщинам по поводу своих произведений, всегда могут быть уверены, что получают дурной совет; щеголи, советующиеся с ними насчет костюма, всегда смешно одеты. Я скоро буду иметь случай говорить об истинных талантах этого пола, о способе развития их и о том, в каких вопросах решения их должны быть приняты в расчет.

Вот эти элементарные размышления я и положу в основу рассуждения с Эмилем о предмете, в высшей степени для него интересном среди той обстановки, в которой он находится, и среди поисков, которыми занят. Да и кому этот предмет не интересен? Знание того, что может быть приятным или неприятным для людей, необходимо не только тому, кто имеет нужду в них, но также и тому, кто хочет быть им полезным; даже для того, чтобы услужить им, нужно поправиться; и искусство писать вовсе не есть праздное занятие, когда его употребляют на то, чтобы заставить выслушать истину.

Если бы для развития вкуса у моего ученика мне пришлось делить выбор между странами, где культивирование вкуса еще не начиналось, и другими, где вкус уже извращен, я последовал бы обратному порядку: я начал бы обзор с последних и окончил бы первыми. Этот мой выбор обусловлен был бы тем, что вкус портится от чрезмерной изысканности, делающей человека чувствительным к таким вещам, которых большинство людей не замечает; эта изысканность порождает страсть к спору, ибо чем более предметы утончаются, тем становятся многочисленнее; эта утонченность делает ощущение более деликатным и разнообразным. II вот образуется столько

же вкусов, сколько голов. В спорах о предпочтении развиваются философский дух и знания; и таким образом люди учатся мыслить. Тонкие наблюдения могут быть делаемы только людьми, имеющими очень обширные знакомства, так как наблюдения эти поражают внимание после всех других, а люди, мало привычные к многочисленным обществам, все внимание свое посвящают крупным чертам. В настоящее время нет, быть может, на земле просвещенной страны, где общий вкус стоял бы ниже, чем в Париже. Между тем в этой же столице развивается хороший вкус; и, по-видимому, немного найдешь в Европе достойных внимания книг, авторы которых не приезжали бы за образованием в Париж. Кто думает, что достаточно читать книги, которые здесь пишутся, тот ошибается; из бесед с авторами гораздо более научаешься, чем из книг, да и не сами авторы всего более научают. Дух общества — вот что развивает тупую голову и расширяет взгляды, насколько это возможно. Если у вас есть искра таланта, проведите год в Париже: скоро вы будете всем тем, чем можете быть, или никогда уже ничем не будете.

Можно научиться думать и там, где царит дурной вкус: но для этого нужно не так думать, как думают люди, имеющие этот дурной вкус, а это весьма трудно, особенно если долго остаешься в их среде. С их помощью нужно совершенствовать орудие суждения, но употреблять его нужно не так, как они. Я постараюсь не утончать суждения Эмиля до искажения; и когда ощущение его будет настолько тонко, что он будет чувствовать и сравнивать различные вкусы людей, его собственный вкус я постараюсь сосредоточить на предметах самых простых.

Я еще заранее приму меры для сохранения в нем чистого и здорового вкуса. В вихре развлечений я сумею завести с ним полезные разговоры, и, постоянно направляя их на предметы, которые ему нравятся, я озабочусь сделать эти разговоры столь же занимательными, сколь и поучительными. Вот пора чтения, пора занимательных книг, вот время научить его анализу речи и сделать чувствительным ко всем красотам красноречия и слога. Мало учить языкам ради них самих; употребление их не так важно, как думают, но изучение языков ведет к изучению общей грамматики. Нужно изучать латынь, чтобы хорошо знать французский язык; нужно изучать и сравнивать тот и другой язык, чтобы понять правила искусной речи.

Существует, кроме того, известная простота вкуса, которая трогает сердце и встречается только в сочинениях древних. В красноречии, в поэзии, во всякого рода литературе он найдет у них, как и в истории, изобилие фактов и скупость в суждениях. Наши ав-

торы, напротив, фактов приводят мало, а мнений высказывают много. Постоянно выдавать нам свое суждение за закон — это не есть средство развивать наше суждение. Различие между этими двумя вкусами чувствуется во всех памятниках литературы и даже в надгробных надписях. Наши гробницы покрыты восхвалениями; на гробницах древних читали факты.

*Sta, viator. Heroem calcas*¹²². Если б я нашел эту эпитафию на древнем памятнике, я сразу догадался бы, что она новейшего происхождения; ибо между нами нет ничего обыкновеннее героев, а у древних они были редки. Вместо того чтобы говорить, что человек был героем, они сказали бы, что он сделал такого, чтобы быть им. С эпитафией этого героя сравните эпитафию изнеженного Сарданапала:

«Я построил Тарс и Аихиал в один день, и теперь я мертв»¹²³.

Которая, по вашему мнению, говорит больше? Наш надгробный стиль с его напыщенностью годен лишь на то, чтобы раздувать в героев карликов. Древние показывали людей в натуральном виде, и видно было, что это люди. Ксенофонт, чтобы почтить память нескольких воинов, предательски убитых при отступлении десяти тысяч, говорит: «Они умерли безупречными на войне и в дружбе»¹²⁴. И все. Но посмотрите, как в этой столь краткой и простой похвале сквозит то, чем было переполнено сердце автора. Жалок тот, кто не находит этого восхитительным!

На мраморе у Фермопил были вырезаны такие слова:

«Прохожий, ступай скажи Спарте, что мы умерли здесь, повинаясь ее святым законам»¹²⁵.

Сразу видно, что надпись эту сочиняла не Академия надписей¹²⁶.

Я обманулся, если мой воспитанник, придающий столь мало цены словам, не обратит прежде всего свое внимание на эту разницу и если она не повлияет на выбор его чтения. Увлеченный мужественным красноречием Демосфена¹²⁷, он скажет: «Это оратор»; но читая Цицерона, он скажет: «Это адвокат».

Вообще, Эмилю будут больше по вкусу книги древних, чем наши, — уже по одному тому, что, будучи первыми, древние ближе всего к природе и гений их более самостоятелен. Что бы там ни говорили Ламотт¹²⁸ и аббат Террасон¹²⁹, истинного прогресса разума нет в человеческом роде, потому что все, что с одной стороны приобретается, с другой теряется, потому что все умы отправляются всегда от одной и той же точки; а так как время, употребляемое на то, чтоб узнать, что думали другие, бывает потерянным для приобретения самостоятельного мышления, то в результате является увеличение приобретенных сведений и уменьшение умственной силы. Умы наши, как и руки, привыкли все делать с помощью инструмен-

тов и ничего сами по себе. Фонтенель говорил¹³⁰, что весь этот спор о древних и новейших народах смахивает на вопрос, были ли прежде деревья больше, чем теперь. Если б земледелие подвергалось видоизменениям, то подобный вопрос был бы вовсе не бессмысленным.

Поднявшись таким образом до источников чистой литературы, я покажу Эмилю стоки ее в резервуарах новейших компиляторов — журналы, переводы, словари; он бросит взгляд на все это и потом оставит, чтобы никогда уже не возвращаться к этому. Я дам ему послушать, чтобы позабавить его, болтовню академий; я дам ему заметить, что каждый из членов, их составляющих, отдельно взятый, всегда дороже стоит, чем взятый вместе с собранием; из этого он сам сделает вывод о полезности всех этих прекрасных учреждений.

Я поведу его на зрелища, чтоб изучать — не нравы, а вкус; ибо там он особенно виден для тех, кто умеет рассуждать. «Оставь в стороне нравственные правила и мораль, — скажу я ему, — не здесь нужно их изучать. Театр создан не для торжества истины, а для того, чтобы польстить людям, позабавить их; ни в одной школе так хорошо не научишься искусству нравиться им и заинтересовывать человеческое сердце. Изучение театра ведет к изучению поэзии; цель в том и другом случае совершенно одинакова». Если у Эмиля есть хоть капля вкуса к поэзии, с каким удовольствием он займется языками поэтов — греческим, латинским, итальянским! Это изучение будет для него забавой, без тени принуждения, и тем успешнее пойдет; оно будет усладой для него в том возрасте и при таких обстоятельствах, когда сердце с таким восторгом интересуется всеми родами прекрасного, способного его трогать. Вообразите себе по одну сторону моего Эмиля, а по другую шалуна из коллежа читающими четвертую книгу «Энеиды», или Тибулла¹³¹, или «Пир» Платона: какая разница! Как тронуту сердце одного тем, что на другого не производит даже впечатления! О, добрый юноша! остановись, прекрати чтение! Ты, вижу, слишком взволнован; я, конечно, хочу, чтобы язык любви тебе нравился, но я не хочу, чтоб он сбивал тебя с толку: будь человеком чувствительным, но оставайся и человеком мудрым. Если ты — лишь одно из двух, ты — ничто. Впрочем, покажет он успехи в мертвых языках, в занятии беллетристикой, поэзией или нет, это для меня не важно. Небольшая беда и вовсе не знать всего этого, — говоря о воспитании его, мы подразумеваем не эти пустяки.

Главная моя цель, когда я научаю его чувствовать и любить прекрасное во всех родах его, заключается в том, чтобы сосредоточить на этом прекрасном его привязанности и вкусы, помешать из-

вращению его природных позывов и не допускать, чтоб он когда-нибудь в своем богатстве искал средств быть счастливым — средств, которые он должен найти ближе, при себе. Я сказал в другом месте ¹³², что вкус есть не что иное, как искусство знать толк в мелких вещах, — и это очень верно; но так как от сцепления мелочей и зависит радость жизни, то подобные заботы далеко не излишни; через них мы научимся наполнять жизнь доступными нам благами, поскольку эти блага могут иметь для нас истинное значение. Я разумею здесь не нравственные блага, зависящие от добрых склонностей души, но только то, что касается чувственности, реального наслаждения; предрассудки же и людское мнение оставлены в стороне.

Пусть мне позволено будет для лучшего развития моей идеи оставить на минуту Эмиля, чистое и здоровое сердце которого не может уже служить образцом для кого-либо, и поискать в самом себе примера, более осязательного и подходящего к правам читателя.

Есть звания, которые как бы изменяют природу и переделывают — в лучшую или худшую сторону — людей, к ним принадлежащих. Трус становится храбрецом, поступив в наваррский полк ¹³³. Корпоративным духом заражаются не только на военной службе, и не всегда результаты его проявляются с хорошей стороны. Я сотни раз с ужасом думал, что, если б мне сегодня выпало несчастье занять известного рода должность в известной стране, я завтра неизбежно стал бы тираном, лихоимцем, разорителем народа, вредным для государя, врагом — по своему званию — всякой человечности, всякой правды, всякого рода добродетели.

Точно так же, если б я стал богачом, я делал бы все, что нужно для того, чтобы быть им; я был бы, следовательно, высокомерен и низок, чувствителен и деликатен по отношению к самому себе, немолим и жесток ко всем остальным; я был бы безучастным зрителем бедствий «подлой черни», ибо бедняков я иначе не называл бы, чтобы заставить других забыть, что и я некогда принадлежал к их же классу. Наконец, я обратил бы богатство в орудие для своих удовольствий, которыми единственно и был бы занят. До сих пор я был бы, как и все.

Но вот в чем я сильно отличался бы, думаю, от них: я был бы скорее чувственным и сластолюбивым, чем высокомерным и тщеславным, гораздо скорее предавался бы роскоши изнеженности, чем роскоши чванства. Мне было бы даже несколько совестно слишком выставлять напоказ свое богатство, и мне всегда думалось бы, что завистник, которого я подавлял бы своею пышностью, говорит на ухо своим соседям: «Вот плут, который очень боится, чтобы не узнали его плутней».

Из этого неизмеримого обилия благ, покрывающих землю, я стал бы искать того, что мне приятнее всего и что я легче всего могу себе присвоить. Вследствие этого я воспользовался бы богатством прежде всего для того, чтобы купить себе досуг и свободу, к которым прибавил бы и здоровье, если б оно продавалось; но так как оно покупается лишь воздержанностью, а без здоровья нет истинных удовольствий в жизни, то я из-за чувственности был бы воздержанным.

Я всегда оставался бы возможно ближе к природе, чтобы угодить чувствам, которыми она наделила меня,—будучи вполне уверен, что чем больше будет естественного в моих наслаждениях, тем действительнее они окажутся. В выборе предметов для подражания я всегда ее брал бы за образец; в своих аппетитах я отдавал бы ей предпочтение; в своих вкусах я всегда с нею советовался бы; из блюд я всегда выбирал бы те, которым она служит лучшею приправой и которая проходит через наименьшее число рук, прежде чем попасть на наш стол. Я предупреждал бы мошенническую фальсификацию, я шел бы навстречу удовольствию. Мое глупое и грубое обжорство не обогащало бы метрдотеля; он не продавал бы мне на вес золота яду вместо еды ¹³⁴; стол мой не был бы пышно покрыт великолепною дрянью и привезенной издалека мертвечиной; на удовлетворение своей чувственности я расточал бы свои собственные труды, потому что в этом случае самый труд есть удовольствие, прибавляемое к тому, которого ожидаешь от него. Если б мне захотелось попробовать какого-нибудь заморского блюда, я, как Апиций ¹³⁵, скорее сам отправился бы за ним на край света, чем выписывал его оттуда; ибо и самым изысканным блюдам всегда недостает той приправы, которой не привозят вместе с ними и которой не приготовит никакой повар, именно воздуха страны, произведшей их.

На том же основании я не стану подражать тем, которые, чувствуя себя хорошо там, где их нет, стараются всегда производить путаницу в чередовании времен года и климаты поставить в противоречие с временами года, которые, ища зимою лета и летом зимы, отправляются терпеть холод в Италии и жару на севере, не помышляя о том, что, спасаясь от суровости времен года, они снова встречаются с нею там, где люди не научились предохранять себя от этой суровости. Я же или оставался бы на месте, или поступал бы совершенно наоборот; я захотел бы в каждом времени года насладиться всем, что только есть в нем приятного и в каждом климате всем, что есть в нем особенного. У меня было бы большое разнообразие удовольствий и привычек, непохожих друг на друга, которые всегда были бы в порядке природы; лето я проводил бы в Неаполе, а зиму

в Петербурге; то, полулежа в прохладных гротах Тарента ¹³⁶, вдыхал бы в себя нежный зефир, то отдыхал бы среди иллюминации ледяного дворца, запыхавшись и утомившись удовольствиями бала.

Я желал бы в сервировке стола, в убранстве своего жилища подражать с помощью самых простых украшений разнообразию времен года и из каждого извлекать все его прелести, не захватывая тех, которые следуют позже. В таком нарушении порядка природы, в этом насильственном вырывании у нее продуктов, которые она дает поневоле, среди проклятий, и которые, не имея ни доброкачественности, ни вкуса, не могут ни питать желудка, ни угождать нёбу, виден труд, но не видно вкуса. Нет ничего безвкуснее первых сборов; с большими издержками иной парижский богач при помощи своих печей и теплиц добивается лишь того, что круглый год имеет у себя на столе плохие овощи и плохие фрукты. Если б у меня были вишни, когда на дворе мороз, и ароматные дыни среди зимы, какое мне удовольствие было бы есть их, когда я не ощущаю потребности промочить горло или освежить нёбо? Разве уж очень приятен в летнюю жару труднопереваримый каштан? Неужели вынутый из печи каштан я предпочел бы смородине, землянике, тем прохладительным фруктам, которые без всяких с моей стороны забот предлагает мне земля? Покрывать в январе месяце свой камин насильно выращенной растительностью, бледными цветами без запаха — значит не столько подкрашивать зиму, сколько портить весну; это значит лишать себя удовольствия — сходить в лес за первою фиалкой, подсмотреть развитие первой почки и воскликнуть в порыве радости: «Смертные! вы еще не покинуты, природа еще живет!»

Для того чтобы мне хорошо служили, я держал бы поменьше прислуги; это уже сказано, но хорошо повторить и еще раз. Буржуа получает больше истинных услуг от своего единственного слуги, чем герцог от десяти господ, его окружающих. Я сто раз думал, что если за столом стакан у меня под рукою, то я пью в тот же момент, как вздумаю, тогда как, если б у меня была пышная сервировка, прежде чем я мог бы утолить свою жажду, человекам двадцати пришлось бы повторять: «Вина! Вина!» Что делается с помощью другого, то все исполняется дурно, как бы ни брались за дело. Я не посылал бы в лавки, а ходил бы сам, — ходил бы для того, чтобы люди мои не вошли в сговор с купцами, чтоб иметь возможность лучше выбрать и дешевле заплатить; я ходил бы для приятного упражнения, чтобы немного посмотреть, что делается вне моего дома, — это освежает, а иной раз и поучает; наконец, я ходил бы с целью походить — и это всегда чего-нибудь да стоит. Скука возникает от слишком сидячей жизни; кто много ходит, тот мало скучает. Привратник

и лакеп — плохие посредники; я не хотел бы, чтоб эти люди всегда стояли между мной и остальным светом, не хотел бы всегда пускаться в путь при грохоте кареты, как будто бы я боялся дать к себе доступ. «Лошади» человека, пользующегося своими ногами, всегда готовы; если они устали или больны, он знает об этом раньше всякого другого и не опасается, что ему придется под этим предлогом торчать дома из-за того, что кучеру его вздумалось погулять; в дороге тысяча препятствий не заставляют его изнывать от нетерпения или стоять на месте в тот момент, когда ему хотелось бы лететь. Наконец, раз лучше нас самих никто не может услужить нам, то, будь мы могущественнее Александра и богаче Креза ¹³⁷, мы только тогда должны получать услуги от других, когда не можем справиться сами.

Я не хотел бы иметь жилищем дворец, ибо в этом дворце я занимал бы всего одну комнату; всякое общее помещение не принадлежит никому отдельно, а комната каждого из моих слуг была бы для меня столь же чужою, как и комната моего соседа. Восточные народы хотя очень сладострастны, но все имеют простые жилища и простую обстановку. На жизнь они смотрят как на путешествие, а на дом свой — как на трактир. Это основание, конечно, мало имеет силы для нас — богачей, ибо мы устраиваемся так, чтобы вечно жить; но у меня было бы другое основание, которое приводило бы к тому же результату. Мне казалось бы, что устраиваться с такою обстоятельностью на каком-нибудь месте — значит изгонять себя из всех других мест и создавать, так сказать, в своем дворце тюрьму для себя. Мир — достаточно красивый дворец; разве не все принадлежит богачу, если только он хочет пользоваться? *Ubi bene, ibi patria* ¹³⁸ — вот его девиз; его пенаты там, где все могут деньги; родина его — всюду, куда может проникнуть казна его, подобно тому как Филипп ¹³⁹ считал своею всякую крепость, куда мог войти мул, навьюченный серебром. К чему же окружать себя стенами и воротами как будто с целью никогда не выходить за них! Если эпидемия, война, возмущение гонит меня с одного места, я иду в другое и вижу, что палаты мои прибыли туда еще раньше меня. Зачем мне трудиться над постройкой для себя особого дома, когда по всей Вселенной их строят для меня? Для чего мне, когда я так тороплюсь жить, исподволь подготавливать себе наслаждения, которые я сегодня же могу получить? Невозможно устроить себе приятной доли, если будешь постоянно в противоречии с самим собою. Эмпедокл ¹⁴⁰ упрекал жителей Агригента ¹⁴¹ за то, что удовольствий у них такая масса, как будто им остается всего один день жить, а строятся они так, как будто им никогда не предстоит умереть ¹⁴².

К тому же, для чего мне такое обширное жилище, если мне почти

нечем его населить, а тем более наполнить? Обстановка моя была бы так же проста, как и вкусы мои; у меня не было бы ни галереи, ни библиотеки, в особенности если б я любил чтение и знал толк в картинах. Я знал бы, что такие коллекции никогда не бывают полными и что неполнота их причиняет больше горя, чем полное отсутствие. В этом случае изобилие создает нищету; нет составителя коллекций, который бы этого не испытал. Кто знает в них толк, тот не должен их составлять; у того не бывает кабинета напоказ другим, кто сам умеет им пользоваться.

Игра — вовсе не забава для богатого человека, это удел для праздного человека; а мои удовольствия доставляли бы мне столько хлопот, что у меня на такие пустяки немного оставалось бы времени. Теперь я вовсе не играю, будучи отшельником и бедняком, — разве только в шахматы¹⁴³, да и это лишнее. Если б я был богачом, я играл бы еще меньше и только в самую маленькую игру, чтобы не видеть недовольных и самому не быть таким. Интерес игры, не представляющий побудительного мотива при достатке, в страсть может превратиться только у человека, обиженного умом. Прибыль, которую богач может иметь при игре, для него всегда менее чувствительна, чем потери; а так как характер умеренных игр, поглощающих исподволь барыш, таков, что в общем итоге они ведут скорее к проигрышу, чем к выигрышу, то, здраво рассуждая, нельзя сильно пристраститься к этой забаве, где все шансы имеешь против себя. Кто питает свое тщеславие случайными удачами, тот может искать их в предметах гораздо более пикантных; притом же эти удачи и в мелкой игре обнаруживаются точно так же, как и в самой крупной. Пристрастие к игре, плод жадности и скуки, может зародиться только в пустом уме и пустом сердце; а мне кажется, что у меня было бы достаточно чувства и познаний, так что я мог бы обойтись и без этого занятия. Редко бывает, чтобы мыслители находили большое удовольствие в игре, которая уничтожает привычку мыслить или направляет ее на совершенно бесплодные соображения; таким образом одним из благ, а быть может и единственным, которое порождается охотою к наукам, является некоторое охлаждение этой отвратительной страсти; подобным людям приятнее было бы упражняться в доказательствах полезности игры, чем предаваться ей. Что же касается меня, то, очутившись среди игроков, я стану оспаривать эту пользу, и мне приятнее будет смеяться над ними, видя их потери, чем самому выигрывать у них.

В частной жизни и в светском обществе я был бы совершенно одинаковым. Я желал бы, чтобы мое богатство всюду распространяло довольство и никогда не давало бы другим чувствовать свое нера-

венство. Мишура наряда неудобна в тысяче отношений. С целью сохранять между людьми возможно полную свободу я стал бы так одеваться, чтобы во всех рангах быть на своем месте и чтобы ни в одном не выделяться — чтобы без всякой принужденности, без всяких преобразований в своей личности, быть в загородном кабачке простолудином и в Пале-Рояле приятным собеседником. Располагая вследствие этого большей свободой в своем поведении, я имел бы всегда полный доступ к удовольствиям людей всех званий. Есть, говорят, женщины, которые запирают свою дверь перед людьми в вышитых манжетах и принимают только людей в кружевах; значит, проводить день я отправлялся бы в другое место; но если б эти женщины были молоды и красивы, я мог бы подчас надеть и кружева, чтобы провести у них по меньшей мере ночь.

Единственной связью между моими знакомыми была бы взаимная привязанность, совпадение вкусов, сходство характеров; я заводил бы знакомства как человек, а не как богач, и никогда не потерпел бы, чтобы их прелесть была отравлена материальными соображениями. Если бы достаток мой оставил во мне долю человечности, я далеко распространял бы свои услуги и благодеяния; но вокруг себя я желал бы видеть общество, а не двор, друзей, а не людей, покровительствуемых мною; я был бы не патроном своих гостей, а хозяином дома. Благодаря независимости и равенству связи мои отличались бы полным чистосердечием и доброжелательностью, и, раз в них не были бы замешаны ни долг, ни материальный интерес, единственным условием для них служили бы удовольствие и дружба.

Нельзя купить ни друга, ни возлюбленной. При деньгах легко иметь женщин; но это средство ведет к тому, что никогда не будешь любим ни одной из них. Любовь не только не продается, но неизбежно убивается деньгами. Кто платит, тот, будь он милейшим из людей, уже по одному тому, что платит, не может быть долго любим. Он скоро начнет платить за другого или, скорее, с этим другим будут расплачиваться его же деньгами; и в этой двойной связи, основанной на корысти и разврате, лишенной любви, чести, истинного удовольствия, жадная, неверная и жалкая женщина, с которой получающий подлец точно так же обходится, как и она с дающим дураком, квивается; таким образом, с тем и другим. Приятно было бы выказывать щедрость по отношению к тому, кого любишь, если б это не составляло торга. Я знаю один только способ удовлетворить эту склонность по отношению к своей возлюбленной, не отравляя любви; это отдать ей все и потом быть на ее содержании. Остается

узнать, есть ли такая женщина, по отношению к которой этот поступок не был бы сумасбродным.

Кто говорил: «Я обладаю Лансой, а она мною — нет»¹⁴⁴, тот сказал бессмыслицу. Обладание, если оно не взаимное, ничего не стоит; это, самое большее, половое обладание, а не обладание личностью. А где нет нравственного элемента любви, к чему там так хлопотать об остальном? Найти это — самое пустое дело. В этом отношении погонщик мулов ближе к счастью, чем миллионер.

О, если бы можно было достаточно раскрыть всю непоследовательность порока! Как обманывается он в своем расчете, когда достигает желаемого! Откуда это варварское стремление развратить невинность, сделать своею жертвою юное существо, которое мы должны были бы охранять и которое с первого шага мы неизбежно увлекаем его в пучину нищеты, откуда выведет его лишь смерть? Скотство, тщеславие, глупость, заблуждение — и больше ничего. В этом удовольствии нет даже ничего естественного; оно создано людским мнением, и притом самым подлым мнением, потому что это мнение обусловлено презрением человека к самому себе. Кто чувствует себя последним из людей, тот боится сравнения со всяким другим и хочет прослыть первым, чтобы менее быть ненавистным. Посмотрите, бывают ли когда наибольшими любителями этого мнимого удовольствия милые молодые люди, достойные того, чтобы их любили, — которым извинительнее было бы быть разборчивыми. Нет. Имея приятную наружность, достоинства, чувство, мало боишься опытности своей возлюбленной; с справедливою уверенностью говоришь ей: «Тебе знакомы удовольствия, ну что ж! Мое сердце обещает тебе такие, каких ты никогда не знала».

Но старый сатир, истаскавшийся от разврата, лишенный приятности, беспощадный и неуважительный, потерявший всякую честность, неспособный и недостойный нравиться ни одной женщине, знающей толк в милых людях, думает наверстать все это перед невинной девушкой тем, что воспользуется ее неопытностью и пробудит в ней первое движение чувственности. Последняя его надежда в том, чтобы понравиться благодаря новизне; на это, бесспорно, он втайне и рассчитывает при своей причуде, но он обманывается: внушаемое им отвращение не менее естественно, чем те вожделения, которые он хотел возбудить. Он обманывается и в своем безумном ожидании: та же самая природа заботливо добивается возвращения своих прав; всякая девушка, продающая себя, уже отдавалась; а отдаваясь по своему выбору, она сделала уже сравнение, которого он боится. Он покупает, следовательно, лишь призрак удовольствия и остается после этого не менее противным.

Что касается меня, то, как бы я ни изменился, став богачом, есть все-таки пункт; относительно которого я никогда не изменяюсь. Если у меня не останется ни нравственности, ни добродетели, зато останется по крайней мере некоторый вкус и смысл, некоторая деликатность; а это помешает мне по-дурацки расходовать свое богатство на погоню за химерами, тратить свой кошелек и жизнь на то, чтобы испытывать измены и быть посмешищем ребят. Если б я был молод, я искал бы удовольствий молодости; а так как я желал бы найти в них возможно высшую степень наслаждения, то искал бы их не так, как ищет богач. Если б оставался таким, как теперь, тогда другое дело: я благоразумно ограничился бы удовольствиями моего возраста, я усвоил бы вкусы, которые могу удовлетворить, и подавил бы те, которые составляли бы для меня одно мучение. Я не пошел бы с своей седой бородой искать насмешливого пренебрежения молодых девушек; я не перенес бы вида, как мои отвратительные ласки возбуждают в них омерзение, не допустил бы их составлять на мой счет смешные рассказы, фантастично описывать гнусные удовольствия старой обезьяны в отместку за то, что они вынесли сами. Если же, вследствие неудачной борьбы с привычками, мои прежние желания снова обратились бы в потребности, я, быть может, стал бы их удовлетворять, но со стыдом, краснея за самого себя. Я у потребности отнял бы характер страсти; подыскал бы себе как можно более подходящую пару и держался бы этого: я не создавал бы из своей слабости занятия для себя и особенно желал бы, чтоб у ней был лишь один свидетель. Жизнь человеческая представляет и другие наслаждения, если недостает этих; тщетно гоняясь за ускользающими удовольствиями, мы лишаем себя и тех, которые остаются при нас. Станем изменять вкусы вместе с годами; не будем перемещать возрастов, как и времен года: нужно быть самим собою во все времена и не бороться против природы, ибо тщетные усилия растрачивают жизнь и мешают нам ею пользоваться.

Простой народ почти не скучает, жизнь его деятельна; если увеселения его не разнообразны, зато они редки; многочисленность трудовых дней ведет к тому, что он с наслаждением пользуется несколькими днями праздников. Непрерывная смена продолжительных трудов и коротких досугов служит вместо приправы к удовольствиям, доступным этому званию. Для богачей скука бывает страшным бичом; среди всех увеселений, приготовленных с большими издержками, среди всей массы людей, наперерыв старающихся угодить им, скука угнетает их и убивает; всю жизнь они только и делают, что бегут от нее и снова настигаются ею; они подавлены ее невыносимым бременем; женщины, которые не умеют ни заняться, ни веселиться,

особенно пожираемы ею — под именем расстройства нервов; она превращается у них в ужасную болезнь, которая подчас отнимает у них разум, а наконец и жизнь. Что касается меня, то участь красивой парижанки я считаю самою ужасною после участи ухаживающего за ней любезника, который, превратившись и сам в праздную женщину, вдвойне, таким образом, удаляется от своего назначения и из-за тщеславного желания быть человеком, имеющим успех у женщин, переносит томительную медлительность самых скучных дней, какие только выпадали когда на долю человека.

Приличия, моды, обычаи, порожденные роскошью и хорошим тоном, вносят в течение жизни самое скучное однообразие. Удовольствие, которым хотят щегольнуть перед другими, потеряно для всех; оно пропадает и для нас *. Смешное, которого предрассудок боится больше всего на свете, всегда стоит с последним рука об руку, чтобы мучить его и наказывать. Смешными люди бывают лишь оттого, что держатся раз установленных форм: кто умеет видоизменять свои положения и удовольствия, тот сегодня изглаживает впечатление вчерашнего дня; он почти не остается в памяти людей, но он наслаждается, ибо всецело отдается каждому часу и каждой вещи. Моим единственным и постоянным образом действия был бы следующий: во всяком положении я был бы занят исключительно им одним, и всякий день для меня был бы сам по себе, независимо от вчерашнего и завтрашнего дня. Как с народом я был бы простолюдином, так в деревне я был бы деревенским жителем, и, когда заговорил бы о земледелии, крестьянин не стал бы надо мной смеяться. Я не стану в деревне строить город и в глубине провинции заводить Тюильри перед своим апартаментом. На склоне какого-нибудь красивого холма, хорошо защищенного от припека, у меня был бы маленький деревенский домик — белый домик с зелеными ставнями; и хотя соломенная крыша лучше других для всякого времени года, я для блеску предпочел бы ей — но не мрачную, аспидную, а скорее черепичную кровлю, потому что у нее более чистый и веселый вид, нежели у соломенной, и потому что на моей родине иначе и не покрывают домов, и это мне напоминало бы несколько счастливое время моей юности. Вместо двора у меня был бы скотный двор,

* Две светские дамы, чтобы показать, что они очень много веселятся, поставили себе за правило никогда не ложиться раньше пяти часов утра. В суровую зиму люди их проводят ночь на улице в ожидании их, принимая всяческие меры, чтобы как-нибудь не замерзнуть. Раз вечером или, лучше сказать, утром входят в комнату, где эти две особы, столь преданные удовольствиям, проводили свое время, не считая часов: оказывается, что они совершенно одни и снят каждая в своем кресле.

вместо конюшни — хлев с коровами, чтобы можно было иметь молочные продукты, которые я очень люблю. Вместо цветников у меня был бы огород, а вместо парка прекрасный фруктовый сад, вроде того, о котором будет сказано ниже. Плоды, предоставленные в распоряжение гуляющих, не были бы подсчитаны и не собирались бы садовником; скупая роскошь не выставляла бы напоказ великолепных шпалер, цветников, до которых едва смеют дотронуться. А эта маленькая щедрость не была бы убыточной, потому что убежище себе я выбрал бы в какой-нибудь отдаленной провинции, где мало видят денег и много жизненных припасов, где царят изобилие и бедность.

Там собирал бы я общество, отборное, но не многочисленное, друзей, любящих удовольствие и знающих в них толк, женщин, способных покинуть свое кресло и предаться сельским играм, взять иной раз, вместо челнока и карт, в руки удочку, силки, грабли для уборки сена и корзину для сбора винограда. Там было бы забыто все городское чванство, и, став в селе поселянами, мы очутились бы среди кучи разнообразных увеселений, которая каждый вечер ставила бы нас в затруднение вопросом, что выбрать для следующего дня. Упражнение и деятельная жизнь создали бы нам новый желудок и новые вкусы. Все наши обеды были бы пиршествами, на которых услаждало бы изобилие более, чем изысканность. Веселье, деревенские работы, резвые игры — первые повара в мире, и тонкие соусы очень смешны для людей, не имеющих покоя с восхода солнца. В сервировке не было бы ни особенного порядка, ни щегольства, столовая отыскивалась бы всюду: в саду, в лодке, под деревом, а иной раз и подальше, возле бьющего ключа, на зеленой и свежей траве, под купами ольховника и орешника; длинная вереница веселых гостей несла бы с песнями принадлежности пира; лужок служил бы вместо стола и стульев, берега родника были бы буфетом, и десерт висел бы на деревьях. Блюда подавались бы без порядка, аппетит освобождал бы от церемоний; каждый, открыто предпочитая себя всякому другому, находил бы естественным, если и всякий другой предпочитает себя самого; эта сердечная и умеренная фамильярность, при полном отсутствии грубости, лживости, принуждения, порождала бы забавные стычки, которые во сто раз прелестнее вежливости и более способны связывать сердца. Тут не было бы докучливого лакея, который подслушивает наши разговоры, критикует втихомолку наше обращение, жадным взглядом считает куски, забавляется тем, что заставляет нас ждать вина, и ропщет на излишнюю продолжительность обеда. Мы сами были бы своими слугами, чтобы остаться господами; каждому прислуживали бы все; время

проходило бы без счёта часов; обед был бы отдыхом и продолжался бы столько же, сколько дневная жара. Если б мимо нас случайно проходил какой-нибудь крестьянин, идущий на работу, с орудиями на плече, я развеселил бы его сердце какою-нибудь шуткою, несколькими глотками доброго вина, чтобы ему веселее было выносить свою нищету; да и самому мне было бы приятно ощущать себя внутренне тронутым и сказать себе втайне: «И я ещё не перестал быть человеком».

Если местные жители собирались бы на какой-нибудь сельский праздник, я явился бы туда одним из первых со своей кучкой знакомых; если по соседству затевались бы какие-нибудь браки, которые здесь более благословенны небом, чем городские, то все знали бы, что я люблю повеселиться, и я был бы приглашен. Я принес бы этим добрым людям несколько подарков, таких же простых, как и они сами, которые содействовали бы веселью праздника; а взамен их я нашел бы неоценимые блага, столь мало известные нашему брату, — откровенность и истинное веселье. Я приятно поужинал бы на конце их длинного стола; я подпевал бы хору, при исполнении старинной сельской песни и в их риге танцевал бы с большим увлечением, чем на балу в Опере.

«Доселе все чудесно, — скажут мне, — но охота? как это — жить в деревне и вдруг не охотиться?» Да, конечно: я хотел иметь лишь ферму — и был неправ. Я предполагаю себя богачом, и, значит, мне нужны удовольствия исключительные — разрушительные удовольствия. Это, конечно, совершенно иное дело. Мне нужны земли, леса, сторожа, оброки, приличные для землевладельца почести.

Отлично. Но у этой земли будут соседи, ревниво оберегающие права свои и выискивающие случая захватить чужие права; наши сторожа будут ссориться, а, может быть, и господа также; начнутся пререкания, жалобы, ненависть и по меньшей мере процессы, это уже не особенно приятно. Моим подданным невесело будет глядеть, как мои зайцы опустошают их хлеб или кабаны — их бобы; каждый, не осмеливаясь убить врага, уничтожающего работу его, захочет по крайней мере прогнать его со своего поля; проработав весь день на полях, ночью придется им сторожить эти поля; они заведут дворняжек, барабаны, рожки, колокольчики: всем этим гамом они не дадут мне ночью покоя. Я поневоле буду думать о нищете этих бедных людей и непременно стану упрекать себя за нее. Имей я честь быть от рождения вельможей, все это меня не очень бы трогало; но я — недавний выскочка, вновь испеченный богач — буду несколько напоминать еще душой простолюдина.

Это не все. Изобилие дичи будет соблазнять охотников, скоро

мне придется наказывать браконьеров; мне понадобятся тюрьмы, тюремщики, полицейские стражи, галеры — все это мне кажется довольно жестоким. Жены этих несчастных станут осаждать мою дверь и надоедать мне своими криками, а иначе придется прогонять их, обижать. Бедные люди, которые не будут браконьерами, но у которых дичь моя потравит жатву, в свою очередь, придут ко мне жаловаться: одни будут наказаны за истребление дичи, другие будут разорены из-за того, что пощадили ее, — какой печальный выбор! Со всех сторон я буду видеть лишь картины нищеты и слышать одни стоны: удовольствие убивать на досуге, почти у себя под ногами, кучи куропаток и зайцев будет, мне кажется, этим сильно отравлено.

Если хотите отделить от удовольствий сопряженную с ними горечь, то отнимите у них характер исключительности: чем более вы сделаете их доступными всем людям, тем чище будет ваше наслаждение. Поэтому я поступлю не так, как только что говорил; не изменяя своих вкусов, стану руководиться тем, который предполагаю наименее убыточным. Я устрою свое сельское жилище в такой стране, где охота доступна всем и где моя забава не встретит затруднений. Дичь будет встречаться реже; но зато надо будет больше ловкости разыскать и приятнее будет настичь ее. Я не забуду, с каким сердечным трепетом отец мой встречал пролет первой куропатки и с какими восторгами радости находил зайца, проискав его целый день. Да, я утверждаю, что когда он, один с своею собакой, навьюченный ружьем, охотничьей сумкой, пороховницей и своей небольшой добычей, возвращался вечером домой, измученный усталостью и исцарапанный терновником, то был довольнее своим днем, чем все ваши модные охотники, которые, сидя на хорошей лошади, с двадцатью заряженными ружьями в запасе, только и делают, что меняют их да стреляют, убивая дичь у себя под ногами, без всякого искусства, без славы и почти без упражнения. Удовольствия, значит, бывает не меньше, а неудобства устранены, если не приходится ни сторожить землю, ни наказывать браконьеров, ни мучить несчастных, а это очень основательная причина для предпочтения. Как бы то ни было, но нельзя бесконечно мучить людей и не получать в то же время никакой от них неприятности; продолжительные проклятия народа рано или поздно сделают дичь горькою на вкус.

Еще раз повторяю, исключительные удовольствия — это конец удовольствию. Истинные увеселения — это те, которые разделяешь с народом; а которые хочешь иметь для себя одного, те уже перестают быть увеселениями. Если стены, воздвигаемые мною вокруг своего парка, создают для меня скучную келью, то я добился лишь того,

что с большими издержками лишил себя удовольствия прогулки; и мне, таким образом, приходится искать этого где-нибудь вдали. Демон собственности заражает все, до чего касается. Богач хочет всюду быть господином и только там чувствует себя хорошо, где нет его: он вынужден вечно бежать от самого себя. Что касается меня, то и в этом случае, среди богатств, я поступал бы точно так же, как в бедности. Теперь я, при чужом добре, богаче, чем был бы при своем собственном; я овладеваю в соседстве всем, что для меня пригодно; нет завоевателя более настойчивого, чем я; я захватываю владения даже у принцев; я без разбора прибираю к рукам все незагороженные места, которые мне нравятся; я даю им имена, одно превращаю в «мой парк», другое в «мою террасу», — и они уже мои; с этой поры я безнаказанно уже гуляю по ним; чтобы удержать во владении, почаще захожу сюда; я пользуюсь почвой, сколько хочу, — расхаживая по ней, и никогда не убедить меня, что формальный собственник присвоенного мною имения извлекает больше пользы из денег, которые оно приносит ему, чем я — из его земли. Станут досаждать мне рвами, заборами — небольшая беда: я беру свой парк на плечи и переносу его в другое место, незанятых мест немало в округе и мне можно будет долго грабить соседей, прежде чем лишусь убежища.

Вот примерный опыт того, как проявлять истинный вкус при выборе приятного досуга; вот в каком духе нужно им пользоваться; все остальное — лишь иллюзия, химера, глупое тщеславие. Кто уклонится от этих правил, у того, как бы он ни был богат, все золото пойдет прахом, и он никогда не узнает истинной ценности жизни.

Мне, без сомнения, возразят, что подобные увеселения доступны всем людям и что для наслаждения ими нет нужды быть богачом. К этому именно я и хотел свести дело. Удовольствие получается, когда желаешь его иметь; одно лишь мнение людское делает все недоступным и гонит счастье прочь от нас; быть счастливым в сто раз легче, чем казаться. Человеку со вкусом и способному истинно наслаждаться с богатством нечего делать, ему достаточно быть свободным и властным над собою. Кто наслаждается здоровьем и не нуждается в необходимом, тот достаточно богат, если он выбросит из головы блага, обусловленные людским мнением; это и есть *aurea mediocritas*¹⁴⁵ Горация. Господа с денежными сундуками! Ищите же какого-нибудь другого употребления для вашего достатка, ибо для наслаждения все это никуда не годится. Эмилю все это будет так же хорошо известно, как и мне; но, имея более чистое и здоровое сердце, он чувствовать это будет лучше меня, а все его наблюдения в свете еще больше подтвердят ему это.

Проводя, таким образом, время, мы все ищем Софи и не находим ее. Важно было, чтоб она не скоро нашлась; поэтому мы искали ее там, где, как я хорошо знал, ее не было *.

Наконец, момент уже близок: пора серьезно приняться за поиски, из опасения, чтобы Эмиль не создал себе другой, которую и примет за настоящую, чтобы не было слишком поздно поправлять свою ошибку. Итак, прощай, Париж — знаменитый город, город шума, дыма и грязи, в котором женщины не верят уже в честь, а мужчины — в добродетель. Прощай, Париж! Мы ищем любви, счастья, невинности, а потому нам нужно как можно дальше убраться от тебя.

* «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов» (Притчи Соломона, XXXI, 10).

26. Вольтер на полях «Эмиля» оставил пометку против этой фразы: «Разумеется, ведь это будет увалень, ничего не ведающий о своем окружении» (см.: *Державин К.* Вольтер — читатель «Эмиля» Руссо. — Известия АН СССР. Отделение общественных наук, 1932, № 4, с. 334).

К н и г а IV

Четвертая книга посвящена воспитанию Эмиля после достижения им 15 лет. Именно с этого возраста, считает Руссо, следует начинать основное в воспитании — учить любить людей.

Четвертая книга «Эмиля» особенно дорога была автору. Когда парламент Парижа решил сжечь издание «Эмиля», Руссо хотел спасти от огня прежде всего эту книгу романа.

1. Бог ветров Эол дал Одиссею (Уллису) мех с заключенными в нем ветрами. Когда во время плавания Одиссей заснул, его спутники развязали мех и выпустили ветры. Поднявшаяся буря унесла корабль Одиссея от родных берегов (см.: *Гомер.* Одиссея, X, 475 и дал.).
2. Перефразированное выражение древнеримского поэта Теренция (194—159 до н. э.): «Я человек, ничто человеческое мне не чуждо» (*Теренций.* Самоистязатель, I, I, 25).
3. Валэс — кантон в Швейцарии.
4. В оригинале: «Одежда из бархата, а в желудке отруби».
5. Цицерон в книге «О природе богов» (I, 44) говорит: «В нашей немощи лежит вся наша склонность и любовь».
6. «Хорошо знакомая с бедой, учусь я в бедах помогать» (*лат.*) (*Вергилий.* Энеида, I, 630).
7. Имеются в виду арабские сказки «Тысяча и одна ночь», французский перевод которых был опубликован в 1704—1717 гг.
8. Руссо намеревался писать продолжение «Эмиля», где герой попадал невольником на галеры в Алжир.
9. *Эпиктет* (ок. 50—138) — греческий философ, рабом привезен был в Рим, затем стал вольноотпущенником.
10. Гревская площадь в Париже была местом публичных казней.
11. Упомянуты романы французского писателя Ла Кальпренеда (1610—1663). Романы отличали вычурность и запутанная интрига.
12. *Генрико Катарино (Давила)* (1576—1631) — итальянский писатель, автор «Истории гражданской войны во Франции».
13. *Гвиччардини Франческо* (1482—1540) — итальянский писатель, автор «Истории войн в Италии», французский перевод которой был опубликован в 1738 г.

14. *Страда Фамиано* (1572—1649) — итальянец по происхождению, иезуитский писатель, автор «Истории Нидерландов».
15. *Солис-и-Рибаденейра Антонио* (1610—1686) — испанский писатель, автор «Истории Мексики».
16. *Макиавелли Николо ди Бернардо* (1469—1527) — итальянский политический деятель, автор трактата «О государстве», «Речей о Тите Ливии» и др.
17. *Де Ту Жак Огюст* (1553—1613) — представитель французского Возрождения, друг Монтеня, политический деятель, автор «Истории» в 138 книгах.
18. *Де Верто Рене Обер* (1655—1735) — французский писатель, автор «Истории Мальтийского ордена», «Истории ордена Госпитальеров», «Революции в Португалии», «Революции в Швеции» и др.
19. См. примеч. 84 к кн. II.
20. *Саллюстий Гай Крисп* (86—35 до н. э.) — римский историк, автор «Жизни Югурты» и «Заговора Катилины».
21. *Тацит Публий Корней* (ок. 55—120) — римский историк, автор «Анналов» и «Истории».
22. *Фукидид* (ок. 460—400 до н. э.) — греческий историк, автор «Истории пелопонесской войны».
23. Речь идет о сочинении Ксенофонта — древнегреческого писателя «Анабазис».
24. Речь идет о «Записках о галльской войне» римского военного и политического деятеля Гая Юлия Цезаря (101—44 до н. э.).
25. Имеется в виду «История» Геродота.
26. *Тит Ливий* (59 до н. э. — 17 н. э.) — древнеримский историк; имеется в виду основной его труд «Римская история» в 142 книгах.
27. См.: *Монтень*. Опыты, II, 10.
28. Имеется в виду *Шарль Дюкло* (1704—1772) — французский писатель, автор «Рассуждений о нравах этого века», где во второй главе затронуты вопросы воспитания. Руссо в 1745—1747 г. был знаком с Дюкло (см.: *Исповедь*, кн. 9, с. 409).
29. *Комин* (1445—1509) — французский писатель, автор исторических «Мемуаров».
30. Речь идет о шутке карфагенского полководца Ганнибала (ок. 247—183 до н. э.), который в ответ на слова своего приближенного Гискона о том, что противостоявшие им войска римлян многочисленны, заметил: «При всей их многочисленности никто среди них не зовется Гисконом» (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: *Фабий Максим*, 31).
31. *Агесилай* (422—358 до н. э.) — царь Спарты (Древняя Греция). Плутарх пишет: «Агесилай вообще очень любил своих детей, и о нем часто рассказывали забавную историю, будто он дома играл со своими детьми, когда они были еще маленькими, и ездил с ними верхом

на палочке» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Агесилай, 25*).

32. Плутарх пишет: «...Когда Цезарь... проезжал мимо бедного городка с крайне немногочисленным и варварским населением и его приятели спросили со смехом: «Неужели и здесь есть соревнование из-за должностей, споры о первенстве, раздоры среди знати?» — «Что касается меня, — ответил им Цезарь, — ...то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Цезарь, 11*).

33. *Помпей* (107—49 до н. э.) — римский военный и политический деятель. Помпей был сначала союзником, а затем соперником Цезаря в борьбе за власть.

34. См. примеч. 22 к кн. II.

35. *Аристид (Справедливый)* (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский государственный и политический деятель. В молодости Аристид участвовал в борьбе за рабовладельческую демократию, позднее примкнул к олигархии.

Когда в Афинах хотели осудить кого-либо, то писали его имя на глиняном черепке. Плутарх рассказывает, что, когда судили таким образом Аристида, один неграмотный крестьянин протянул черепок Аристиду и попросил написать имя Аристида. Тот спросил крестьянина, не обидел ли чем его Аристид, на что крестьянин ответил: «Нет, я даже не знаю этого человека, но мне надоело на каждом шагу слышать «Справедливый» да «Справедливый»» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Аристид, 7*).

36. *Филопмен* (253—183 до н. э.) — древнегреческий военный и политический деятель, возглавлявший вооруженные силы Ахейского Союза. В одном из сражений попал в плен и был казнен.

Приведенный Руссо эпизод есть у Плутарха (см.: *Сравнительные жизнеописания: Филопмен, 2*). Тот же эпизод приводит Монтень (см.: *Опыты, I, гл. 17*).

37. *Тюрени Анри* (1611—1675) — французский военный деятель.

38. *Рамсей* (1686—1743) — воспитатель, а затем биограф Тюренна, написавший «Историю виконта Тюренна» (1735).

39. *Пирр* (319—273 до н. э.) — царь древнего Эпира, убитый во время штурма города Аргоса упавшей с крыши черепицей.

40. *Киней* — приближенный Пирра.

41. См.: *Светоний. Жизнь двенадцати цезарей: Август, 23. Август Октавиан* (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император.

42. *Варр Публий Квинтилиан* (ок. 53 до н. э. — 9 н. э.) — римский полководец, потерпевший поражение от германцев.

43. То есть Марцелл (41—23 до н. э.). Безвременная кон-

- чина Марцелла послужила поводом ряда стихотворений Вергилия (см.: *Вергилий. Энеида*, VI).
44. Руссо имеет в виду одного из усыновленных Августом детей своего зятя Агриппы: Гая (20—2 до н. э.) или Люция (17—4 до н. э.).
45. То есть Агриппа (63—12 до н. э.) — военный и политический деятель Древнего Рима.
46. Подробности, приводимые Руссо относительно смерти «внука» Августа, относятся к Друзу — сыну внучки Августа Агриппины (ум. 33). Заключенный в императорском дворце, Друз скончался от голода.
47. Дочь Августа Юлия Старшая (39 до н. э. — 14 н. э.) за развратное поведение отправлена была в ссылку, где и умерла. Точно так же кончила свою жизнь внучка Августа Юлия Младшая (18 до н. э. — 28 н. э.) (см.: *Тацит. История*, I, 53 и IV, 71).
48. Речь идет о Тиберии (42 до н. э. — 37) — сыне третьей жены Августа Ливии (от ее первого брака), ставшем императором Рима.
49. *Марк Антоний* (83—30 до н. э.) — римский военный и политический деятель.
50. *Траян* (52—117) — римский император, известен как выдающийся организатор и строитель.
51. *Прадон* (1632—1698) — французский писатель, драматург, автор трагедий «Регул», «Пирам и Фисбей». Написал памфлет против Расина «Суждение Аполлона о Федре».
52. *Котен* (1604—1682) — писатель, член Французской академии. Его высмеивали за напыщенный стиль Буало в своих сатирах и Мольер в комедии «Смешные жеманницы».
53. Приписывается *Лутацию Катуллу* (конец II — начало I в. до н. э.) — римскому консулу (см.: *Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Марий*, 80).
54. Панталоне — персонаж итальянской народной комедии, который обычно остается в дураках.
55. См.: *Локк Д. Элементы естественной философии. I часть. Исследование о духах*, § 190.
56. Назван упомянутый в Библии идолопоклонник сириец Лаван.
57. Так называли своих духов-покровителей североамериканские индейцы.
58. «Меланипп» — трагедия Эврипида (480—406/405 до н. э.). До нас не дошла.
59. См.: *Плутарх. О суеверии*, 27.
60. «...По огню я ступаю, который под пеплом коварным сокрыт» (*лат.*). (*Гораций. Оды*, II, I, 9).
61. Руссо рассказывает о себе. Савойский викарий — образ собирательный, в котором есть, в частности, черты встречавшихся на жизненном пути Руссо людей: аббата Гатье и аббата Гувона (см.: *Исповедь*, кн. 3, с. 89 и дал.).

62. *Кларк Самуэль* (1675—1729) — английский теолог, автор трактатов, где пытался обосновать существование бога: «Доказательства бытия и свойств божьих» (1705), «Истинность и достоверность естественной религии и религии откровения» (1705).
63. *Кондамин Шарль* (1701—1774) — французский путешественник, географ и историк, друг Руссо.
64. Излагаемая Руссо теория флогистона оказалась несостоятельной.
65. *Амато Хуан Родриго (Амат Лузитанский)* (род. 1511) — португальский врач, автор ряда медицинских трактатов, написанных по-латыни.
66. *Камилл Юлий* (род. 1479) — средневековый алхимик.
67. *Парацельс Филипп* (1493—1541) — немецкий естествоиспытатель и врач. В трактате «О природе вещей» Парацельс высказывал наряду с передовыми для своего времени научными идеями мистические суждения.
68. *Ньевентит Бернар* (1654—1718) — голландский математик и философ. Книга Ньевентита «Существование бога, доказанное чудесами природы» переведена была на французский язык в 1725 г.
69. См.: *Локк Д.* Опыт о познавательной способности человека, IV, 3, § 6.
70. Подобные мысли высказаны С. Кларком и Гоббсом, что мог иметь в виду Руссо (см., например, трактат Гоббса «О существовании и атрибутах бога», гл. IX).
71. Всеблагой, высочайший (*лат.*).
72. *Брут Марк Юний* (85—42) — римский политический деятель, противник цезарианской диктатуры. После поражения при Филиппах Брут умертвил себя мечом.
73. *Плутарх.* О невозможности для эпикурейца быть счастливым, 59.
74. См.: *Кондильяк.* Трактат о животных, II, 5.
75. Имеется в виду Катон Утический (95—45 до н. э.) — римский политический деятель, противник цезарианской диктатуры. Потерпев поражение при Тапсусе, пронзил себя мечом (см.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: Катон, 60).
76. *Катилина Люций Сергий* (ок. 109—62 до н. э.) — римский патриций, организовавший заговор против римского сената.
77. Отсюда и далее Руссо использовал свои «Письма о морали» (см. второй том настоящего издания).
78. После Платона и особенно аполлогетов христианства суждения о разврате античных богов сделались в европейской литературе общим местом. Руссо утверждает, что разврат античных богов противоречит человеческой морали.

79. *Ксенократ* (396—314) — греческий философ, ученик Платона. Пример воздержания Ксенократа взят из «Опытов» Монтеня (см.: *Монтень*. Опыты, II, 33).
80. Лукреция по преданию обещана сыном царя древнего Рима Тарквиния Гордого (см.: *Ливий Тит*. Римская история, I, 58).
81. Имеется в виду бог Кронос, оскотивший своего отца бога Урана.
82. См.: *Монтень*. Опыты, I, 23.
83. *Протей* — бог древнегреческой мифологии. Согласно мифу, Протей обладал даром предвидения, но, чтобы получить от него предсказание, его надо было поймать и хитростью или силой удержать, так как он принимал разные виды и ускользал.
84. *Орфей* — знаменитый фракийский мифический певец, которому приписывались многочисленные религиозно-мистические стихи.
85. Имеется в виду Шаррон.
86. См.: *Плутарх*. Споры философов-стоиков, 7. Философская школа стоиков — одно из главных течений эллинистической и римской философии. Стоики стремились обосновать внутреннюю независимость и непоколебимость человеческой личности в условиях могущества эллинистического государства и Римской империи.
87. Имеется в виду «Объяснение доктрины католической церкви» Боссюэ (1627—1704) — французского идеолога абсолютизма, епископа, выступившего с богословским обоснованием королевско-абсолютистской власти. Французские просветители XVIII в. во главе с Вольтером доказывали несостоятельность реакционных философско-социологических идей Боссюэ.
88. *Рейхлин Иоганн* (1455—1522) — немецкий гуманист, осудивший предложения ряда католических богословов сжечь все священные книги евреев.
89. Речь идет о Сократе.
90. Имеются в виду Юстин (ум. ок. 165) — автор «Апологии» (I, 5), Клемент Александрийский (ум. ок. 217) — известен его труд «Педагог».
91. *Софрониск* — отец Сократа.
92. См. примеч. 35.
93. *Леонид* (ум. 480 до н. э.) — царь Спарты (Древняя Греция); героически погиб вместе со своим отрядом, защищая от персов Фермопильское ущелье.
94. Вольтер подле этих слов в книге Руссо написал: «Глупец» (см. *Державин К.* Указ. статья, с. 334).
95. *Паскаль Блез* (1623—1662) — французский геометр, физик, религиозный философ, писатель.

96. Пуль-серро — мост, перекинутый через адский пламень.
97. *Шарден Жан*. Дневник путешествий в Персию и Восточные Индии (1711) (см. примеч. 61 к кн. II).
98. Сведения взяты из «Записок о галльской войне» (VI, 21) Цезаря, а также из сочинения Тацита «Германия» (20).
99. См.: *Монтень*. Опыты, II, 2.
100. Названы упомянутые в Библии «святые места». *Мамре* (Маврия) — дубрава, получившая свое название от амореянина Мамрия. *Иегова-ире* (гора-свидетель) названа была так после того, как здесь противники Лаван и Иаков заключили между собой мирный договор. *Источник живого, видящего* — назван так родник в пустыне Сур (Древний Египет), у которого египтянка Агарь увидела ангела. *Колодец клятвы* — вырытый мифическим родоначальником евреев Авраамом колодец, который назван был так после того, как подле колодца заключили союз Авраам и Авимелох — царь филистимлян.
101. Имеется в виду дожившая до XVIII в. традиция, по которой ежегодно дож Венеции бросал с галеры-буцентавра в воду перстень, как бы сочетаясь брачными узами с морем.
102. Здесь и далее Руссо использует фрагменты своего написанного около 1761 г. трактата, полное название которого «Опыт о происхождении языков, а также мелодии и музыкальном подражании» (гл. I).
103. *Фрасибул (Трасибул)* (IV в. до н. э.) — тиран Милета (Древняя Греция), обрезал верхушки хлебных колосьев, а *Тарквиний Гордый* — головки мака в знак необходимости казнить своих противников (см.: *Геродот*. История, V, 92. *Тит Ливий*. Римская история, кн. I, 54).
104. Александр Македонский прикладывал печать к губам своего любимца Эфестнона, чтобы призвать его к молчанию (см.: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: Александр, 71).
105. Диоген-киник прохаживался перед Зеноном из Элеи, чтобы опровергнуть утверждения последнего об ирреальности движения (см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VI, 39).
Диоген из Синопа (ок. 404—323 г. до н. э.) — древнегреческий философ-эклектик, подвергавший умеренной критике идеализм.
Зенон Элейский (род. ок. 500 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.
106. *Дарий I* (ок. 550—486 г. до н. э.) — царь древней Персии. Его поход (ок. 513 г. до н. э.) в Скифию оказался неудачным.

107. Дарию дали понять, что персы погибнут от стрел скифов, если не сумеют превратиться в птиц, мышей и лягушек (см.: *Геродот. История*, IV, 132).
108. *Тога*, *латиклава*, *претекста* — предметы одежды у древних римлян; *булла* — медальон со знаком свободного рожденного гражданина Рима. *Ликторы* — почетная стража в Риме, носили топоры и связки прутьев — символ единства. *Овации и триумфы* (т. е. торжества) в честь полководцев устраивались в Риме по определенному распорядку. Атрибутами этих торжеств могли быть золотые венки или венки из трав и листьев.
109. В Риме на Капитолийском холме стоял храм Юпитера, где заседали сенаторы. Перед храмом обычно проходили народные собрания.
110. Кандидатами в Древнем Риме называли претендентов на различные государственные должности. Кандидаты носили тогу — особую одежду из белой материи.
111. Марк Антоний отдал распоряжение хоронить убитого заговорщиками Гая Юлия Цезаря публично и с возможно более пышными почестями (см.: *Светоний. Жизнь двенадцати цезарей: Юлий*, 84).
112. См.: *Буало. Поэтическое искусство*. II, стих. 175—178.
113. *Аврелий Виктор* (IV в.) — римский писатель, автор книги «О знаменитых мужах».
114. Для желающего нет ничего трудного (*лат.*).
115. Когда Одиссей (Улисс) плыл на корабле мимо сирен, которые своим волшебным пением зазывали и губили мореплавателей, он залепил своим спутникам уши воском, а себя велел привязать к мачте (см.: *Гомер. Одиссея*, XII).
116. Софи в переводе с греческого означает мудрость. Это имя носила графиня д'Удето, в которую одно время был влюблен Руссо.
117. См.: *Монтень. Опыты*, I, 26.
118. *Гильом дю Беллей де Ланже* (1491—1543) — военный и политический деятель в царствование короля Франции Франциска I (1494—1547).
119. Имеется в виду трактат Гельвеция (1715—1771) «Об уме».
120. Марсель — знаменитый учитель танцев в Париже.
121. Пембёв — портовый город на берегу реки Луары. Подпись «Гражданин Пембёва» сделана автором письма к Руссо в пику Руссо, подписавшего свои произведения «Гражданин Женевы».
122. *Стой, путник, героя попираешь ногой* (*лат.*). Эпифания Франсуа де Мерси полководцу из Лотарингии, состоявшему на службе в Германии и погибшему в битве при Нордлингене (1645).

123. Эпитафия Сарданапалу (X—IX вв. до н. э.) — царя древней Ассирии — приводится в урезанном виде. Полный текст эпитафии (см.: *Страбон. География*, XIV, V, 9) следующий: «Сарданапал, сын Анакиндаракса, построил Анхиалу и Тарс в один день. Ешь, пей, веселись, потому что все остальное не стоит этого».
124. См.: *Ксенофонт. Анабазис*, II, 6, 30.
125. См.: *Геродот. История*, VII, 228.
126. Руссо иронизирует по поводу Французской академии по составлению надписей к общественным памятникам.
127. *Демосфен* (384—322 до н. э.) — знаменитый оратор Афин (Древняя Греция).
128. *Ламотт Франсуа Левайе* (1588—1672) — французский философ, поклонник Монтеня. Ламотт был наставником будущего короля Франции Людовика XIV. Основной труд Ламотта — «Пять диалогов в подражание древним».
129. *Террасон Жан* (1670—1750) — историк, писатель, автор нравственно-политического романа «Сетос».
130. *Фонтенель Бернар ле Буйе* (1657—1757) — французский ученый и писатель, автор ряда опер, драматургических произведений и басен. Руссо имеет в виду сочинение Фонтенеля «Рассуждение о множестве миров».
131. *Тибулл* (ок. 54 — ок. 19 до н. э.) — римский поэт, автор «Элегий».
132. В «Письме к д'Аламберу о зрелищах» (1758).
133. Выходцы из Наварры славились отвагой и смелостью в бою.
134. В оригинале игра слов: рыба (*poisson*) и яд (*poison*) звучат на французском языке сходно.
135. *Апиций (Аписмус)* — нарицательное имя чревоугодника в Риме.
136. *Тарента* — город в Италии на берегу залива того же названия.
137. Имя *Креза* (IV в. до н. э.) — царя древней Ливии сделалось нарицательным для обладателей несметных сокровищ.
138. *Где хорошо, там и родина (лат.)* — девиз тех, для кого материальное благополучие превышает патристических чувств.
139. Имеется в виду царь Македонии Филипп II (382—336 до н. э.).
140. *Эмпедокл* (ок. 490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, оратор, поэт.
141. *Агригент* — древнее поселение в Сицилии в IV в. до н. э.
142. См.: *Монтень. Опыты*, II, I.
143. Руссо был неплохим для своего времени шахматистом.

Одно время он даже хотел полностью посвятить себя шахматной игре (см.: Исповедь, кн. 7, с. 252).

144. Данное выражение приписывается Аристиппу (V в. до н. э.) — древнегреческому философу. Аристипп произнес эти слова в ответ на упрек в связи с куртизанкой Лансой (см.: *Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов*, II, 75).
145. *Золотая середина* (лат.) (см.: *Гораций. Оды*, II, 10, 5).

Книга V

Эмиль вступает в ней по периодизации Руссо в «возраст счастья» (от 20—25 лет).

1. *Локк Д.* Мысли о воспитании, § 222.
2. *Юлия Старшая* — дочь римского императора Октавиана Августа.
3. Второзаконие, гл. XXII. «Второзаконие» — пятая книга «Пятикнижия» (составной части Библии).
4. *Фесний* — легендарный царь Беотии; был освобожден Геркулесом от геликонского льва, за что в благодарность посылал Геркулесу пятьдесят ночей подряд по одной из своих дочерей (см.: *Диодор. Историческая библиотека*, IV, 29).
5. Согласно мифу, за невольное убийство своего друга Ифрита Геркулес на три года продан был в рабство лидийской царице Омфале, которая одела его в женскую одежду и заставила вместе с женщинами прясть шерсть. Сама Омфала в это время носила принадлежавшие Геркулесу львиную шкуру и палицу.
6. Имеется в виду рассказ из библейской мифологии о Самсоне и его возлюбленной Далиле. В руки врагов Самсон попал в результате коварства Далилы, которая отрезала Самсону волосы, в которых таилась его сверхъестественная сила.
7. См.: *Платон. Государство*, кн. V.
8. *Фалбалой* пазывались сложенные в мелкие складки обшивки из кружев.
9. Античный миф гласит, что богиня Минерва отказалась играть на флейте из опасения, что во время игры будет выглядеть некрасиво.
10. *Фенелон* (1651—1715) — писатель и педагог в сочинении «О воспитании девиц» замечал: «Обратите внимание на большой недостаток нашего воспитания: приятное совершенно отделяют от неприятного; приятное допускают только в удовольствиях, а все неприятное вынадевает на долю учения. Что же остается делать после этого ребенку, как не ожидать с нетерпением конца этим занятиям и с жадностью стремиться к этим развлечением» (*Фенелон. О воспитании девиц*, гл. V).